



Владимир Файнберг
Словарь для Ники
45 историй







Владимир Файнберг
Словарь для Ники
45 историй





Вступление.

Говоря с тобой, говорю с каждым, кто открыл переплет этой книги.

Она построена так, что ее можно читать хоть с середины. С любого места. Но лучше—с первой страницы.

Помнишь, в самом конце моего сочинения «Навстречу Нике» написано: «Как ты думаешь, о чем будет вторая часть этой Большой книги?»

Тогда тебе—моей дочке Нике было только три года. Я писал «навырост». Честно, как взрослой, ничего не утаивая, рассказывал о том, как Бог вмешивается в мою жизнь.

Окончив ту книгу, я и сам толком не ведал, какой будет вторая часть.

Но вот тебе исполнилось семь лет. Твоя макушка достает мне до сердца.

За годы, пока ты потихоньку взрослала, пошла в школу, я написал несколько совсем других книг. Пришлось многое пережить, о многом подумать.

Особенно—бессонными ночами. Все знают, что такое бессонные ночи, когда отчаяние особенно властно над нами. «Ночью страхи сильнее кажутся—как говорила одна знакомая деревенская бабушка.—Рубаха близко, а смерть еще ближе...»

Иногда я встаю, тихонько прохожу в твою комнату. Вглядываюсь во тьму.

Ты безмятежно спишь на боку, накрытая одеяльцем, положив сложенные ладошки под щеку, как примерная девочка.





Чем, кроме молитвы, я могу защитить тебя от притаившегося за стенами мира?

...Тайна воплощения человека на Земле не разгадана до конца. Откуда прибывают сюда наши души? Словно космонавт, направленный на неизвестную планету ты, пройдя период адаптации, делаешь первые самостоятельные шаги навстречу неведомым существами и стихиям.

Кроме симпатичных котят и жирафов, которых ты так любишь рисовать, тут существуют войны, людская злоба, болезни... Так получилось, что тут, на Земле, человеческое общество имеет свойство гипнотизировать каждого вновь прибывшего, сбивать с пути, навязывать свою волю.

Я не могу дать тебе карту этого мира, подробную инструкцию, как уберечься от гипноза, как вести себя в тех или иных обстоятельствах. Предвидеть их все невозможно.

Но кое-что ты должна знать.

Бессонными ночами твой пapa Володя задумал составить «Словарь для инопланетянина». Какими мы все здесь являемся.





A

АВАНГАРД. Французское слово. Означает передовую воинскую часть.

Так именуются и те, кто считает себя самыми передовыми в литературе, в искусстве.

Обычно это шумная, малоталантливая шушера, выющаяся вокруг одного-двух действительно выдающихся людей.

Так, футуризм дал Владимира Маяковского. Рядом с ним можно вспомнить разве что Хлебникова — смутного, не развернувшегося гения, который предлагал «вскипятить озеро вместе с рыбой, чтобы этой ухой накормить голодных».

На самом деле, Ника, настоящее искусство всегда авангард. Вот прочтешь Гомера, Данте или «Дон Кихота» Сервантеса, увидишь картины древних китайских художников или работы Ван Гога — поймешь, кто был и остался истинным авангардистом.

Настоящее искусство — особый способ познания человека, мира. Подобно астрономии или микробиологии, оно через как будто обычные вещи открывает непостижимую до конца тайну. В которой мы живем.

АВГУСТ ЯХЬЕВИЧ. Не знаю, Ника, как ты объяснишь себе эту загадочную историю.

Примерно лет десять назад какой-то человек узнал, что у меня растут орхидеи. Раздобыл номер телефона, напросился в гости.

Странен был этот звонок незнакомца. Странен оказался он сам. Странновато его имя.

Он пришел вечером с пластиковым горшочком, из которого торчал росток очень красиво цветущей «тигровой» орхидеи одонтоглоссум гранде.





У меня такой не было.

— Вам. — Он сунул подарок мне в руки и принял молча осматривать цветы, подсвеченные люминесцентными лампами.

В замешательстве я отправился на кухню заваривать чай, готовить угощение. И тут, представляешь, до меня доносится:

— Как это вы оставляете незнакомого человека одного в комнате?

...За чаем я смог внимательно его рассмотреть.

Потертость — вот какое слово всплывало в сознании при взгляде на гостя. Потертый был его черный изжеванный костюмчик с мастиштыми рукавами, потертым было лицо с глубокими вертикальными морщинами, даже глаза — какие-то тусклые, потертые.

Даже имя.

— Август Яхьевич, откуда вы будете? — спросил я.

И услышал ответ:

— Из зеков. Отсидел восемнадцать лет за убийство.

Оказалось, его дождалась состарившаяся жена. Теперь он работал дежурным электриком на фабрике и на досуге разводил орхидеи.

— Найдется полметра медной проволоки? — спросил Август Яхьевич в конце чаепития, и я почувствовал, как удавка затягивается на моей шее. — У ваших ламп нет заземления. Может тряхнуть током.

Он заземлил лампы, аккуратно прикрутив конец проволоки к батарее отопления.

С тех пор повадился ко мне приходить. О себе больше ничего не рассказывал. Молчать вместе с ним становилось все тягостней.

Если бы ты знала, как я уставал от бесплодных попыток рассказать ему о Христе, заинтересовать хоть чем-нибудь!





Однажды он напугал меня тем, что притащил все оставшиеся у него орхидеи. Попил чаю с бубликами, которые сам же принес.

И пропал. Навсегда.

Из его орхидей сохранилась лишь одна — та самая «тигровая». Разрослась. До сих пор роскошно цветет.

«АВИАТОР». В рассветных сумерках я выгребал на лодке к середине незнакомого водохранилища. Когда вдалеке проступила серая дуга плотины, вокруг забухали всплески. Широкие круги от них расходились по воде. Какие-то крупные рыбы приступили к утреннему жору — охотились на мальков.

Я немедленно опустил якорь — тяжелый трак — кусок гусеницы от трактора, и мне едва хватило веревки, прежде чем он достиг дна. Нетерпеливо наживил на крючок здоровенного червяка, закинул удочку с красным поплавком. Накануне лодку с якорем, сразу после вселения в местную гостиничку, где стала постоеем наша съемочная киногруппа, мне снял напрокат наш администратор у кого-то из местных станичников.

Пушечные залпы от всплесков продолжались. Я пытался ловить со дна, вполводы, почти с поверхности.

То ли это были судаки, то ли щуки, то ли окунь. Никто не прельщался моим червяком.

Другой наживки у меня не было. Спиннинга с блеснами не было. Я не знал, что делать. Решил сперва попробовать изловить какую-нибудь маленькую рыбешку, чтобы насадить ее на крючок в качестве живца, для чего нужно было оставить на крючке лишь кусочек червя.

Только начал поднимать удочку, чтобы произвести эту операцию, как сзади послышался мерный плеск весел. Я оглянулся.





В приближающемся челноке сидел человек в мятой казачьей фуражке с красным околышем, в стеганом бушлате, из прорех которого торчали ключья ваты. Щетина, похожая на ржавую проволоку, покрывала его горбоносое лицо до самых глаз.

Ты бы испугалась.

Подгребя, он багром — палкой со стальным крюком на конце молча уцепил борт моей лодки, подтянулся со своим челноком вплотную.

— В чем дело? — я увидел, что он вынул нож и собирается перерезать веревку моего якоря.

— Запретка водохранилища, — просипел он. — Отбираю лодку, а то плати штраф. Немедля!

— За что?! Я пока ничего не поймал.

Он поглядел на пустое дно моей лодки и крякнул от досады.

— Вы кто, — инспектор? — спросил я.

— Инспектор... Что ж ты сюда с удочкой? Тут блесну надо вести. С шерстью вонючего козла. Поднимай якорь. Сейчас увидишь. — Он оживился. Суетливо достал со дна челнока, за-валенного рыбой, фанерку с леской и блесной на конце. Возле тройного крючка было намотано что-то мохнатое. — Распусти снасть во всю длину, держи конец в зубах и греби по-тихому.

Так я и сделал.

Недвижно сидя в челноке, он следил за мной, словно горбоносая хищная птица. Минут через десять на блесну с шерстью козла поймались сначала судак, потом щука.

— Видал? — он на миг снял фуражку и вззволнованно пригладил давно не стриженные, побитые сединой патлы. — Теперь будешь знать мой секрет: к блесне приматывай шерсть вонючего козла!

Это напоминание не отравило мне радости от улова, от того, что водная гладь заискрилась от лучей поднявшегося солнца.





—Тикаем к чертовой матери!—сказал он, прислушиваясь к отдаленному рокоту двигателя.—Рыбохрана проснулась.

—А вы кто?—снова спросил я, сматывая снасть.

—Милиция Авиатором кличет... Не знаю, кто я. Понял?—он говорил много, быстро, как измолчавшийся человек.—Не знаю, откуда пришел. Живу на Казаке. Зимой в землянке, летом в шалаше. Даже имени своего не помню... А с тебя хотел слупить денег на опохмелку. Даешь? Покажу у Казака места. Там можно и на уду. И нет запрета.

—Дам... Все же как это с вами случилось?

—Говорят, после армии... До сей поры на голове и ногах шрамы... Кто знает — откудова. Говорят, погон на мне оставался, с крыльышками.

Казак был длинным, на несколько километров, лесистым островом, рассеченым протоками, в которых отлично ловились красноперка, линь и карась.

Иногда после рыбалки я навещал Авиатора в его шалаше. Приносил хлеб, выпивку. Вместе варили уху на костре.

Выяснилось, он понятия не имел о том, что существует смерть.

АВТОАВАРИЯ. Такого нежного апрельского утра, скажу я тебе, не бывает нигде на свете, кроме как в Москве.

Вечером мне неожиданно позвонил из подмосковного дома в Семхозе Александр Мень, попросил встретить его на Ярославском вокзале к девяти утра и повозить по срочным делам. Я спустился на лифте с двумя ведрами теплой воды, вымыл свой «Запорожец», до блеска обтер сухими тряпками. Даже колеса обдал оставшейся водой.

За двенадцать лет вождения автомашины я ни разу не попадал в аварию. Не лез на рожон, не пытался кого-либо обгонять в потоке скрежещущих механизмов. Все равно красноглазые





светофоры останавливали и уравнивали нас всех—и меня, и какую-нибудь зарвавшуюся иномарку. На зеленом кузове моего автомобиля не появилось ни одной вмятины. Даже царинки.

Я выехал заранее вместе с поднимающимся весенним солнышком. В опущенное окно с ветерком влетело отрывистое чириканье воробьев, повсюду на газонах виднелась юная трава.

Уже совсем близко от поворота к площади трех вокзалов остановился перед очередным светофором. Все машины справа, слева и сзади от меня тоже замерли. Улицу начали переходить люди. Среди них—офицер, влекущий за руку мальчонку детсадовского возраста.

И вдруг, представь себе, моя машина, брошенная вперед резким ударом, замирает в сантиметре от не успевшего перепугаться мальца. Офицер подхватывает его на руки.

Выскакиваю наружу.

Зад «Запорожца» вместе с серединой бампера разворочен.

Перевожу взгляд на отползающую серебристую «Ланчу». Сзади нее тревожно сигналят другие автомобили.

—Она раззява!—кричит мне водитель из оконка тронувшегося грузовика.—Сняла ногу с тормоза, а сама стояла на скорости. Вот и долбанула!

Из «Ланчи» выныривает красотка в распахнутом меховом манто. В руке мобильный телефон. Вызывает автоинспектора. И одновременно ощупывает наманикюренным пальцем покореженный передний бампер своей автомашины. Выпрямляется, ядовито шипит мне в лицо:

—Гад! Откуда ты взялся на своей тачке?—Понимает, что лучшая оборона—наступление.—Ты мне заплатишь!

Словно из-под земли появляется тучный, перепоясанный портупеей автоинспектор. И я словно во сне вижу как она





мгновенным движением сует ему заранее приготовленные деньги и как он, не таясь, запихивает их в карман.

Требует у меня документы.

Видит Бог, не я устроил аварию. Моей машиной чуть не убило ребенка. Сейчас начнется разбирательство, где меня сделают без вины виноватым. И вдобавок я опаздываю на встречу с отцом Александром.

— Взяточники! — вырываются из меня. — Оба болеть будете. До смерти!

Они цепенеют.

А я сажусь в машину и уезжаю, думая о том, что у меня нет денег на послеаварийный ремонт.

Вовремя подъезжаю к вокзалу. Вижу отца Александра стоящего на краю тротуара с перекинутой через плечо сумкой, улыбающегося. И в этот момент понимаю, что авария произошла со мной!

Все, что через отца Александра пришло ко мне от Христа, оказалось забыто... Зачем я накаркал тем людям болезнь? Поддался гипнотическому мороку злобы, на миг подчинившему меня своей воле.

АВТОР. Это правда, что каждый писатель всю жизнь пишет, в конечном итоге, одну и ту же книгу. Правда для всех.

Кроме Пушкина.

АДРЕС. За всю жизнь у меня было четыре постоянных адреса.

В Москве — 2-й Лавровский переулок (до войны с фашистами), в Ташкенте — улица Руставели (во время эвакуации). Затем опять в Москве. Двенадцати с половиной лет я появился в коммуналке на улице Огарева, д. 5, кв. 50. А после сорок лет — тот адрес, по которому мы с тобой и мамой живем сейчас, на Красноармейской улице.





Переехав с Огарева на Красноармейскую, я долго не мог привыкнуть к новому району.

Прежде, на Огарева, я жил в самом что ни на есть центре Москвы. Я выходил на Тверскую (тогда улица Горького) словно в продолжение своего коммунального коридора.

...Улица Герцена, Манеж, Пушкинская площадь, Столешников переулок – все это была, так сказать, моя деревня. Бывали времена юности, когда я завтракал в закусочной «Марс» близ Центрального телеграфа, пил кофе в «Национале», записывал сочиненные во время ходьбы стихи, сидя на ступеньках возле колонн Библиотеки им. Ленина. Как-то раз спал на скамейке Тверского бульвара рядом с Литературным институтом, где я учился. Ловил карпиков и карасей на Патриарших прудах.

Даже теперь, глядя из того окна нашей квартиры, которое выходит на кварталы, уходящие за рубеж Красноармейской улицы, к так называемому Тимирязевскому лесу, я испытываю чувство, будто передо мной простираются чужды, негостеприимные земли. Вообще не моя родная Москва, а нечто убийственно серое, обрекающее на одиночество и неудачу.

Не люблю там бывать. Оказаться в тех кварталах для меня всегда травма.

Кажется, за столько лет мог бы привыкнуть к серым переулкам, почему-то всегда безлюдным, к небу, которое там почти всегда серое.

С каким же облегчением я выдираюсь оттуда обратно к нашему дому в районе метро «Аэропорт», прилегающего к оживленному Ленинградскому проспекту. Который все-таки является длиннейшим продолжением моей родной Тверской улицы.

АЗАРТ. Я азартный. Ты, кажется, тоже. В меня. Ужасно не любишь проигрывать ни в «летающие колпачки», ни в домино.





Резким движением сметаешь шашки с доски, если видишь, что проигрываешь партию.

Азарт игрока – это когда очень хочется выиграть, победить судьбу. Особенно если играешь на деньги – в карты, на лошадиных бегах или в рулетку.

Всеми этими способами вытряхивания денег из собственного кармана я растранижирил в молодости еще и невосстановимое количество драгоценного времени.

В конце концов все-таки научился выигрывать на ипподроме. Как? Именно благодаря тому, что там царит сплошное жульничество.

Не лучшая лошадь первой приходит к финишу, а «темная лошадка». О чём заранее сговариваются жокеи и судьи состязаний. На том я и взломал всю их преступную «систему».

Спросишь, как все-таки? Секрет. Никогда никому не скажу.

Периодически получая выигрыши, я постепенно стал ощущать, что из меня испаряется азарт.

Стало противно ходить на бега, как на работу.

Не знаю, поймет ли меня кто-нибудь.

Другой азарт рождался во мне. Совсем другой.

АЗИЯ. Ее пространство на самом деле гораздо обширнее, чем кажется, когда смотришь на глобус или географическую карту.

Мне посчастливилось много раз скитаться по странам Азии. И должен тебе сказать, что ни в кишлаках, ни в мечетях, ни на базарах я не встречал плохих людей. Загадочно: чем беднее и необразованнее казались все эти хлопкоробы, скотоводы, погонщики верблюжьих караванов, тем более интеллигентными они по своей сути были.

Деликатные, немногословные, обожающие детей, они с родственным гостеприимством всегда и везде принимали





меня — незнакомца, от которого никак не зависели, которого видели первый раз.

...Орлы, парящие над горными вершинами, миндаль, цветущий весной по склонам ущелий, сам настоящий на солнце и свежести ледников воздух, пронизанный вскриками стрижей и ласточек...

Еще мальчиком я впервые попал в Азию. Помню, ехал вечером на телеге — скрипучей арбе с двумя огромными деревянными колесами — и был настолько захвачен зреющим крупнозвездного азиатского неба, что престал погонять ослика.

Невдалеке от дынного ломтя месяца явственно было видно созвездие Большой Медведицы, похожее на огромный знак вопроса.

В тишине по обе стороны дороги говорливо бежала в арыках вода. Словно тщилась о чем-то сказать...

АКАДЕМИК. Мы с молодым таджикским ихтиологом Хамидом провели четыре дня на высокогорном искусственном водохранилище. Поднимались туда на белом «жигуле», и я мельком подумал: «Откуда у скромного работника Комитета по охране природы личная автомашин?»

Год назад к водохранилищу завезли цистерну с миллионом мальков форели, выпустили их в рукотворное море. С тех пор Хамид ночей не спал. Найдет ли форель себе пропитание? Не слишком ли ледяная вода? Не пожрут ли мальков другие, хищные рыбы?

Хоть браконьеров в этих диких безлюдных краях можно было не опасаться.

Ника! Ты почувствовала бы себя в зачарованном сне при виде зеркальной глади вод, со всех сторон защищенной от ветра отвесными скалами. С этих вершин сюда на водопой спускаются горные козлы и снежные барсы. Сам видел.





На маленькой моторке мы с Хамидом, нарушая первозданную тишину, избороздили всю многокилометровую акваторию, ловили специальной сетью форель, измеряли ее, взвешивали и отпускали обратно.

Форель набирала вес, росла — прижилась.

Хамид, вольный хозяин высокогорного моря, за эти дни так привязался ко мне, а я к нему, что, когда мы спустились на машине из холодной страны гор на равнину, в жаркий азиатский город, он пригласил меня в гости. Захотел познакомить со своей женой — студенткой местного университета.

В воскресенье вечером я с удовольствием отправился к ним в гости из своей гостиницы. Адрес привел в расположенный у самого центра тенистый парк, где были разбросаны двухэтажные коттеджи.

В одном из них меня ждали Хамид с юной женой Лолой. Ждал чудесный ужин.

Мне было хорошо с ними. Казалось, я знаю этих молодых людей всю жизнь.

Под конец ужина Лола внесла на подносе пузатый чайник с заваренным зеленым чаем, пиалушки, вазу с изюмом и миндалем. С края подноса на пол со звоном упали ложечки.

Из соседней комнаты с закрытой дверью послышался рык.

Лола опустила поднос на стол и кинулась в комнату, Хамид, изменившись в лице, подобрал ложки, шепнул:

— Проснулся ее дедушка.

За дверью слышалась какая-то возня, словно передвигали что-то тяжелое, перетаскивали мебель. Потом появилась Лола.

— Ой, извините! Дедушка хочет познакомиться.

Я глянул на Хамида.

— Говорил ему про вас, — умоляющее сказал он.

Я направился в комнату.





Там, заполнив своим телом стоящее у постели чуть покачивающееся кресло-качалку, восседал бабай в пестром азиатском халате. Ноги его были окутаны пледом.

Я сел рядом у столика с тремя телефонами и кипой каких-то старых журналов, ощетинившихся многочисленными закладками. На диске одного из телефонов бросился в глаза герб СССР. Подобные аппараты бывали только у членов правительства.

— Ты кто? Московский писатель? Что пишешь?

Бабай выслушал мой краткий ответ. С удовольствием изрек:

— Не читал.— Потом подумал и вопросил:— А меня читал?

— Нет. Вообще понятия не имею, кто вы такой.

— Стыдно приезжать в республику и не знать ее академиков... У тебя есть деньги? Богатый?

— Нет.

— Вот видишь! Слушай, наши люди помогали Наполеону завоевывать Египет. Слыхал?

— По-моему, это грузинская конница помогала.

— Наши тоже.— Он был явно сражен моей осведомленностью, переспросил:

— Грузины? Какие еще грузины?

— Мамелюки.

Бабай пожевал губами, прикрыл глаза оплывшими веками. Затем приподнял их и, устремив на меня магический, гипнотизирующий взгляд, изрек, словно заклиная:

— Дам материал. Напишешь книгу о наших людях у Наполеона. Фамилия будет моя, деньги—твои. Аванс получишь сейчас.

— Несерьезно все это, академик.— Встал, повернулся, чтобы выйти, вырваться из-под гнетущего взгляда, самих звуков этого властного голоса.





И увидел в проеме раскрытой двери Хамида. Он стоял испуганный, как ребенок.

— Извините,—шепнул он, когда я закрыл за собой дверь,—зарисим от него, живем в этом доме...

АКВАРЕЛЬ. Помнишь, в книге «Навстречу Нике» я рассказал о том, как старшеклассником держал в руках замечательный портрет работы Маяковского? Мог купить, страстно хотел купить — и не купил. Чтобы сохранились случайно оказавшиеся у меня деньги на побег в Одессу, к Черному морю.

С этого побега начались, что называется, «годы странствий». Одну зиму я прожил в Крыму, в доме-башне на берегу залива у вдовы поэта и художника Максимилиана Александровича Волошина.

Прошло изрядное количество лет.

И вот, представь себе: Москва, осень, моросит ледяной дождик. Я должен встретиться к одиннадцати утра с одним человеком в районе Октябрьской площади. А его все нет и нет. Так и не появился.

В отсыревшем плаще и кепке бреду тротуаром. Чувствую, что подмерз. Решаю зайти хоть вон в то кафе «Шоколадница», выпить чашечку кофе или шоколада. Но по пути, не дойдя до кафе, зачем-то вхожу в антикварный магазин.

Здесь тепло. Горит электрический свет. Сверкают бронзовые статуэтки, золоченые рамы картин.

Скульптуры на стенах, скульптуры фарфоровые вазы на тумбах, слашивые статуэтки пасторальных пастушков и пастушек в застекленных шкафчиках.

Внезапно глаз задевает что-то родное. Подхожу ближе. На стене между картин небольшая акварель. В переливчатых водах окруженной холмами бухты отражаются перламутровые облака; страна холмов, моря, увиденная сверху...





Как ни описывай, не передашь первозданной тишины и гармонии, словно только что созданной Богом.

Я уже узнал эти места, где когда-то бродил с моим другом, дворнягой Шариком. Уже догадался, кто автор бесценной акварели.

Продавщица подтверждает: «Да. Это работа Максимилиана Волошина».

И называет цену. Не фантастически большую, нормальную.

Но у меня в карманах и десятки не наберется.

Уговариваюсь с продавщицей, что она до вечера, до закрытия магазина, акварель никому не продаст, дождется, пока я вернусь с деньгами.

Представь себе, мне не удалось ни целиком, ни по частям назанимать в тот день необходимую сумму. Ну, не было тогда у меня хоть сколько-нибудь состоятельных друзей.

Только через два дня, с утра пораньше, я появился в магазине с деньгами. Акварель, конечно, исчезла со стены. Была продана.

Так вот, Ника, что я тебе скажу: акварель навсегда осталась в моей памяти, несомненно, более яркой и свежей, чем если бы она привычно висела у меня в комнате.

Иногда мысленно вижу в том незабвенном, божественном пейзаже и себя с Шариком.

АКТЕР. Он снимался не в моем фильме. Администрация киногруппы поселила меня — сценариста другой картины — в ялинскую гостиницу, и мы оказались в соседних номерах. Нас, конечно, познакомили.

Он считался самым красивым артистом в Советском Союзе. Молодой, высокий, рослый, он, кроме природной красоты, обладал еще и каким-то природным аристократизмом.



С моей точки зрения, актер он был посредственный, но в те годы популярность его достигала популярности Гагарина. В качестве главного героя романтических историй он снимался из фильма в фильм. Фотографии с его изображением висели во всех киосках Союзпечати. Полчища женщин преследовали предмет своего поклонения повсюду. А одна, самая настырная, куда бы он ни поехал, каждую ночь будила его междугородным телефонным звонком. Шумно вздыхала в трубке: «Я... Это вся я...» И конец монологу.

Он фантастически много зарабатывал. Но все казалось мало. Поэтому в паузах между съемками и пьянством в ресторанах гастролировал по санаториям Крыма с платными выступлениями, завершившимися показом фрагментов из кинофильма с его участием.

Однажды уговорил меня выступить с ним во всесоюзной здравнице «Артек». Раньше в этом месте отдыха привилегированных детей не бывал. Поэтому согласился из любопытства.

За нами прислали целый автобус, и мы вдвоем прибыли к вечеру в мир белых корпусов, обсаженных кипарисами, клумб, расчерченных дорожек, ведущих к морю мимо бесчисленных стендов с нарисованными пионерами, горнами, всяческими лозунгами, призывающими к учебе, труду и борьбе за мир.

Выступление состоялось на открытой эстраде. Мальчики и девочки в аккуратной пионерской форме с красными галстуками, рассаженные на длинных скамьях, сначала чинно сидели перед нами, загипнотизированные строгим приглядом вожатых. Но вскоре, пробужденные моими несколько хулиганскими стихами, очнулись и стали веселыми детьми.

Затем я представил им знаменитого актера, встреченного овацией. По накатанной колее он стал рассказывать о своих творческих успехах, нетерпеливо поглядывая на темнеющее





небо, в котором показались первые звездочки. Теперь можно было приступать к показу отрывков из фильмов на висящем сзади экране.

После этого нас попотчевали отнюдь не пионерским ужином с коньяком, уложили спать в гостевом корпусе. А утром заплатили за выступление денежки и отправили тем же автобусом на экскурсию в Гурзуф, где мы искупались, съели в приморском ресторанчике по шашлыку и осмотрели кипарис, будто бы посаженный Пушкиным.

Актеру подобное времяпрепровождение было не в новинку, а я поеживался... Не знаю, поймешь ли ты меня, Ника... Чувствуешь себя подкупленным какой-то страшной системой, которой ты отныне обязан с благодарностью прислуживать.

Я снова подумал об этом через несколько дней, когда воскресным утром был разбужен в своем гостиничном номере грохотом барабанов, взвизгами горнов, топотом сотен ног по ялтинской набережной и остервенелым скандированием.

Вышел на балкон и увидел колонны пионеров марширующих под руководством вожатых.

«Мы собрались здесь, в «Артеке»,
Представители страны,
Чтобы дать отпор проклятым
Поджигателям войны!»—

орали они свои «речевки», распаляя самих себя.

Кто их погнал в такую рань по улицам мирно спящей Ялты?
Зачем? Какого рожна?

«Три-четыре, три-четыре,
Знаменосец впереди.
Это кто идет не в ногу?
Нам с таким не по пути!»

—Страшное дело,—сказал я актеру, появившемуся на соседнем балконе.





—Идиоты!—зевнул он и добавил:—Гитлерюгенд.

Барабаны, горны и вопли удалялись в сторону порта, в прошлое, в мою память.

Несколько десятков лет я не видел этого актера ни въявь, ни в кино. Поговаривали, что он спился и его стало невозможно приглашать на съемки.

...Как-то московским метельным утром он вдруг объявился по телефону, попросил о срочной встрече «по важному делу» и тотчас приехал.

Когда я шел ему открывать, за дверью послышались добрые звуки чечетки. Так он сбивал налипший снег и только потом вошел в квартиру.

—Вы не на машине?—удивился я.

—Жена давно не дает садиться за руль,—с подкупающей откровенностью ответил он, сильно постаревший, но все такой же элегантный.—Ведь я алкоголик.

Выяснилось, жена, тоже известная актриса, решила подбить его заняться режиссурой. Супруги выпросили у руководства «Мосфильма» и Министерства культуры разрешение на постановку. Все-таки он был «народный артист».

Теперь он спешно сочинял сценарий фильма, где конечно же должна была играть жена и конечно же он сам в заглавной роли героического спасателя из МЧС.

Мне было предложено стать соавтором в написании этой истории.

Не нужно было соглашаться. Но он так просил о помощи, так унижался, говорил, что для него это последний шанс вернуться в кино... Я согласился. Трижды в неделю с неизменной точностью аристократа—ровно к десяти утра он приезжал трезвый как стеклышико, бодро отбивал чечетку у двери.

В процессе нашей работы обнаружилось: он не знает жизни, самых простых вещей. Иллюзорный мир псевдороманти-





ческих советских фильмов, интрижки с воздыхательницами да пьянство — вот и весь жизненный опыт человека, чью красоту беспощадно использовало кино. А когда красота облезла — вышивырнуло.

Такова судьба большинства смазливых актеров во всем мире.

Я имел жестокость поделиться с ним этими соображениями. — Вы еще не знаете, какова судьба актера! — жалко вздохнул он. — А стоять пьяным после банкета на коленях перед учитом и блевать желчью? А терпеть побои от жены за то, что перестал зарабатывать?

Мы еще не закончили сценарий, как он сорвался: пьяный, раззванивал начальству днем и ночью о том, что будет гениальный фильм.

Затею, спохватившись, прикрыли.

АКУПУНКТУРА. В пособиях по иглоукалыванию — акупунктуре можно увидеть изображение найденной археологами древнейшей китайской статуэтки. Металлический человечек почти сплошь покрыт какими-то взбухшими звездочками.

Древние мудрецы утверждали, что это точная карта крупных и мельчайших энергетических центров. Индузы называют их чакрами.

На самом деле они не видны глазу. Не обнаруживаются и анатомически.

Существует система целительства самых разных болезней путем возбуждения этих центров золотыми или серебряными иглами.

Как большинство людей, я не очень-то верил в эти восточные сказки.

Но, как-то случайно попав в крайне неприятную компанию пьянистующих попов, мысленно перекрестился. И тотчас





на моем лбу, груди, правом и левом плечах вспыхнули, горячо зажглись четыре точки.

С тех пор так оно и бывает всякий раз, когда мне приходит-
ся мысленно осенить себя крестным знамением.

Тут что-то есть...

АКЦИИ. К тому времени, когда у нас в России стал сменяться так называемый социализм на так называемый капитализм, я заимел относительно солидный денежный счет в сберега-
тельной кассе: восемь тысяч еще вполне полновесных совет-
ских рублей.

Так случилось, что мне почти одновременно перевели в сбербанк аванс за сценарий художественного фильма и го-
норар за только что опубликованную книгу.

К счастью, половину денег я тут же истратил на неотлож-
ные нужды: сделал косметический ремонт квартиры, отдал в химчистку и в починку кое-что из одежды, набил буфет и хо-
лодильник провизией, а также запасся на будущее тремя пач-
ками писчей бумаги.

После завершения сценария я замыслил осуществить дав-
ний заветный замысел—написать роман «Скрижали». Тот, кто отважно затевает такого рода работу, должен знать, что ее «надо кормить». То есть ты не имеешь права сдохнуть от нищеты и голода, по крайней мере пока ее не закончишь. Движет суровая уверенность в том, что ты обязан донести до людей нечто очень важное. Если такой уверенности нет, не-
чего и браться за перо.

Последние четыре тысячи я оставил на сберкнижке. Хотя приятель советовал пока, не поздно, обменять их на дол-
лары.

Мне претила повсеместно возникшая суетня вокруг денег,
валюты. Кроме того, приятно было непривычное, пусть эфе-





мерное ощущение некоторой надежности: на книжке хранится аж четыре тысячи!

Недолго я чувствовал себя обеспеченным человеком.

Руководители киностудии, заказавшие мне сценарий, вдруг накупили в Сибири несколько буровых установок и переключились на добычу и продажу нефти за границу. Сценарий им стал не нужен.

«Ну и ладно!— подумал я.— Все к лучшему. Судьба уводит от второстепенного. Смогу приступить к главной работе».

И тут, едва поутру я расположился за письменным столом, мне позвонил известный интеллектуал, критик, либеральный деятель. Он был одним из первых, кому я подарил свой недавно опубликованный роман.

— Володя, вы уже растратили гонорар за свою книгу? Не весь? Вы ведь знаете, как хорошо я к вам отношусь. Так вот, сегодня вечером у меня дома соберется группа писателей. Только избранных, таких как вы. Мой брат—президент нового, солиднейшего банка—решил спасти сбережения некоторого количества по-настоящему творческих людей. Вам представится уникальная возможность приобрести привилегированные акции. Номинал каждой из них—тысяча рублей. А вам они обойдутся всего по семьсот! Каждая из этих акций будет приносить ежегодный доход. Сможете безбедно жить и работать. Сколько у вас денег?

— Четыре тысячи.

— Прекрасно. Сможете купить акции! И еще останется... Учтите, рубль падает в цене, девальвируется. Акции же сохранят и приумножат ваш капитал. Итак, берите деньги и приезжайте ко мне в пять вечера.

...Этот неожиданный звонок, эта возможность получать ежегодный доход, возникающий неизвестно из чего... Эта бурная агитация...





Но мне ведь желали добра. Причисляли к избранным. Мои последние подозрения испарились, когда, забрав деньги из сберкассы, точно в пять вечера я примкнул к обществу избранных.

Действительно, это оказались солидные, известные, уважаемые писатели. Больше всего уважающие, конечно, самих себя. Они не выпускали из рук свои портфели и атташе-кейсы, набитые сбережениями.

Избранных было человек двенадцать. Все говорили вполголоса. Царила атмосфера тайного заговора.

В гостиной хозяин предлагал всем чаю. В то же время два молодых, чрезвычайно учтивых банковских клерка по очереди приглашали будущих акционеров в кабинет; здесь производили изъятие денег, оформляли акции, шлепали на них печати.

Мне вручили пять красивых цветных бумажек. Теперь предстояло ждать целый год, чтобы получить прибыль. Так я стал акционером, поддавшись всеобщему сумасшествию.

Короче говоря, год я работал над своим романом. Поглядывая на календарь. Наконец, преисполненный нетерпеливых ожиданий, помчался на такси, отыскал роскошное здание банка, протянул в окошко кассы паспорт, акции...

И получил суммарную годовую прибыль — 7 рублей бо копеек.

Такси обошлось мне гораздо дороже.

Через год повторилось то же самое.

Вскоре по телевизору сообщили, что банк лопнул. Сотни тысяч акционеров разорились, а президент банка сбежал за границу со всем капиталом.

Как ты думаешь, ведал ли великий интеллектуал, подбивавший меня купить акции своего брата, чем все это кончится?

Вот в чем вопрос, как любил говорить Шекспир.





АЛЛИГАТОР. В фойе во время антракта в цирке на Цветном бульваре к тебе подскочил бойкий бородач:

—Девочка, хочешь сфотографироваться с нильским аллигатором?

Я не успел вмешаться, как он уже усадил тебя на стул, водрузил на руки тусклого-зеленого крокодильчика.

Тебе было три года. Я побоялся, что животное тяпнет тебя, но увидел: пасть крокодила заклеена прозрачной лентой скотча.

По окончании циркового представления я уплатил деньги, и мы получили фотографию.

Иногда, глядя на нее, я вспоминаю о вольно текущей реке Нил, о ее поросших высокими пальмами островах, о белых цаплях, голенасто вышагивающих по отмелям.

Несчастный аллигатор с заклеенным ртом смотрит на меня с твоих рук, словно хочет о чем-то спросить...

АЛЫЕ ПАРУСА. Один человек, одинокий, с детства и до смерти бедствовавший, вымечтал сказку.

Человека с измученным лицом вечного узника звали Александр Грин.

Сказка называется «Алые паруса».

Это очень нежное, может быть, одно из самых нежных произведений мировой литературы.

Мама пересказала тебе эту историю. Скоро ты и сама прочтешь.

А я, наверное, уже не смогу ее перечитать.

С некоторых пор между мной и этим любимым произведением встала завеса пошлости. Повсюду стали появляться дрянные кораблики с пластиковыми алыми парусами. Сначала в витринах магазинов, потом в школах, в летних лагерях для детей, затем — на вывесках пивных. С экрана телевизора про алые паруса запели певицы. Жеманно закатывая глазки





и зачем-то вихляя задом, без конца орали припев: «Алые паруса! Алые паруса!...» Словно им в попу выстрелили.

Обратно к первоисточнику сквозь эту завесу дряни мне уже не пробиться.

Недавно увидел в морском заливе виндсерфинг с алым парусом, рвущийся к горизонту. Даже сердце защемило.

АМФОРА. Этот длинный сосуд с широким горльшком пролежал на морском дне среди обломков колонн несколько тысячелетий.

Рождались и умирали поколения людей. Землетрясения и войны потрясали землю.

Амфора покоилась на дне.

Когда подводными течениями изнутри вымывало песок, в ней селились осьминоги, называемые в этих краях октопусами. Снаружи к ее стенкам присасывались колонии моллюсков.

Что хранили когда-то в ней древние греки — неизвестно. Может быть, зерно, может быть, вино. Или оливковое масло. Как амфора очутилась на дне? Думаю, не в результате кораблекрушения. Иначе подобных амфор было бы вокруг нее много. А она лежала в одиночестве.

До тех пор, пока ее не заметил, проплыvав в акваланге, житель прибрежного городка. Ныряльщику стоило большого труда вытянуть из зыбучего песка тяжелое женственное тело амфоры и в объятиях дотащить до дома.

Амфора высохла. Ее поставили в передней у порога. Всунули в горло трости и зонтики.

Прошли годы.

Волею судьбы в этом опустевшем старинном доме поселился я.

Каждый раз, выходя из дома, или входя в него, я видел амфору.





Однажды вечером, когда было особенно одиноко, я вытащил из амфоры зонты и трости, взял ее на руки, перенес в комнату и поставил на стол.

Обнял. Приблизил к глазам.

Разглядел узорчатые шрамы от присосавшихся когда-то к ее телу ракушек, полустертую охру угловатого орнамента на круtyх боках ниже горлышка и остаток какой-то надписи, где можно было разобрать лишь одно слово — хронос. Время.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Так или иначе, приходилось или подыхать с голода, или все-таки заставить себя отыскать магазин, чтобы купить хлеб и другие продукты.

Всю ночь после прибытия на этот греческий остров я листал привезенный с собой из Москвы самоучитель и словарь английского языка. К утру я уже был уверен, что запомнил не сколько десятков слов. В уме составлял из них необходимые фразы.

«Ай вонт ту бай уан батон брэд» — я хочу купить один батон хлеба.

Все же было страшновато выйти из предоставленного в мое распоряжение старинного пустого дома. Первый же день в чужой стране, где говорят на своем, греческом языке и уж конечно на английском, раз они каждое лето обслуживаются туристов. В поисках магазина наугад спускался по крутизне улички. Проклинал судьбу за то, что учил в школе не английский, а немецкий. Некоторые прохожие доброжелательно кивали мне. Один стариk что-то сказал. Невидимая стена отделяла меня от населения этого приморского городка.

«Ай вонт ту бай уан батон брэд», — все повторял я про себя.

Наконец заметил стеклянную витрину, где в плетеных корзинах навалом лежал хлеб. В глубине помещения за прилавком виднелся продавец в белой куртке.





Я робко отворил дверь магазинчика.
Кроме продавца там не было никого. Хмурый, усатый человек в очках вопросительно посмотрел на меня, задал какой-то вопрос.

Я замер. Понял, что забыл свою фразу. И, чтобы скрыть замешательство подошел к прилавку, стал рассматривать выложенные в вазах сухарики и пирожные, судорожно пытаясь вспомнить...

Мое молчаливое присутствие становилось все более неприличным. Продавец забеспокоился, со звоном защелкнул ящичек кассы, где хранятся деньги. Этот звук привел меня в чувство.

—Ай вонт ту бай уан батон брэд... —произнес я, с надеждой вперяясь в подозрительные глаза продавца.

Тот понял. Понял! Снял с полки, протянул батон. Хлеб был свежий, горячий. Чтобы не путаться в разговорах о цене, я подал ему крупную купюру, получил сдачу и вышел счастливый.

Ника! Учи, учи распространившийся по всему миру английский! Не зря мы с мамой снарядили тебя в школу с английским уклоном.

А вообще-то мне больше по душе испанский.

АРЕСТ. Да минует тебя чаша сия!..

Меня она миновала. Хотя, ни в чем не виноватого, в разные годы дважды допрашивали следователи на Лубянке.

Оба раза из меня вроде бы пытались выбрать показания на двух человек, малознакомых, случайных в моей жизни. А на самом деле интересовались мной, поскольку я дружил с Александром Менем.

К счастью, тебе не понять с каким чувством я уходил, спускался широкой лестницей, после того как несколько часов





подряд мне то грозили, стучали вынутым из ящика письменного стола пистолетом, то льстили, то опять угрожали.

...Протягиваешь часовому подписанный на выход пропуск. Переводишь дыхание. Не за себя боялся. В те годы я жил с мамой и папой, старыми, больными. Если бы меня арестовали, они бы умерли от горя.

Умудренные опытом люди загодя приучили меня «чистить перышки». Это означало, что к обыску и аресту нужно быть готовым в любую минуту. Чтобы при изъятии бумаг и записных книжек там не могли найти опасные записи, номера телефонов подозреваемых в инакомыслии людей. Периодически все это полагалось внимательно просматривать и сжигать.

Вот, что такое «чистить перышки».

Также полагалось помнить, что телефон может прослушиваться. Не только когда с кем-нибудь говоришь, но и когда он просто стоит на столе, а ты беседуешь в комнате с друзьями. Конечно, береженого Бог бережет. Но жить в постоянном страхе... Однажды я удивительным образом почему-то перестал бояться. Просто перестал бояться.

АРИЯ. Мы были бедные родственники, они — богатые.

Раз в год мама заставляла меня, школьника, приезжать с ней к ее троюродной сестре Анечке на день рождения.

Дверь всегда открывал муж Анечки — седой человек в костюме, со множеством орденов на пиджаке. На ногах его всегда красовались тапочки. Он был директором какого-то крупного московского завода.

Из передней мы проходили в квартиру с красной мебелью, хрустальными люстрами и одним из первых в стране телевизоров.

Кроме нас, других гостей не было.

Мама вручала подарок величественной имениннице, и нас усаживали за накрытый стол. Директор завода тотчас водру-



жал перед собой газету и набрасывался на еду. Мы же сперва произносили тосты.

В разгар пиршства включали телевизор, и я дивился появлению на его экране то черно-белого диктора, то черно-белого фильма.

—Как это они переносятся по воздуху сюда, в дом? — спрашивал я маму.

Муж хозяйки продолжал изучать газету, на ощупь утаскивая с блюда очередной кусок торта.

Нам же полагалось к этому времени попросить Анечку что-нибудь спеть. Она была оперная актриса на пенсии.

Разодетая дама с огромной грудью и маленькими ручками в кольцах сперва непременно отказывалась, говорила, что не в голосе, но тут же томно соглашалась. Выключала телевизор, и, стоя перед нами, складывала ладошки, прижимала их к груди.

Хозяин вместе с газетой убирался в спальню.

«Отвори поскорее калитку...» — выводила Анечка. Мама потихоньку подталкивала меня, чтобы я хлопал в конце каждого романса.

Когда казалось, что репертуар иссякает, Анечка переходила к оперным ариям.

«Ах, у любви, как у пташки крылья! — белугой ревела она, — Ее не может никто поймать...»

В этот момент мне почему-то становилось стыдно.

И всегда перед нашим отбытием Анечка собирала нам с собой в коробку из-под торта оставшиеся несъеденными сладости и говорила маме:

— Какая ты счастливая! У тебя есть ребенок.

АСТРОНОМИЯ. Как раз сегодня собирался рассказать тебе о дружбе с астрономом, о том, как в станице Зеленчукской





поднимался обсерваторским лифтом в кабину гигантского телескопа. И вот именно сегодня все радиостанции, передают сообщение: в глубинах Галактики обнаружена окруженная кислородной атмосферой планета!

Там вроде бы и углекислый газ присутствует. То есть все, что необходимо для дыхания таких же существ, как мы.

Многие века поколения ученых трудились, изобретали. Верили в наступление этого дня.

Со школьных лет я тоже верил и ждал.

Планета находится невообразимо далеко — 150 миллионов световых лет от нас.

Ничего! Эта непредставимая, головокружительная даль со временем будет преодолена, если при помощи современной техники человеческий глаз смог разглядеть сквозь такое расстояние...

Попомни меня, астрономия превратится из Золушки наук в одну из самых главных, и однажды мы увидим изумленные глаза других разумных обитателей Вселенной. Несомненно, тоже наблюдающих за нами.

АЭРОДРОМ. Ученые в один голос утверждают, Ника, что когда-нибудь, когда-нибудь вся Земля превратится в сплошной аэродром, или космодром.

Со всех сторон нашего обреченного шарика последними рейсами будут спешно взлетать специальные космические аппараты с последними жителями Земли.

Всех-всех увезут на другую, заранее подобранные планеты Солнечной системы. Или еще дальше — на кружящуюся в глубинах Галактики, которую им предстоит осваивать подобно тому, как осваивали европейские колонисты впервые открытый американский континент.

«В доме Отца моего обителей много», — говорит Христос.



Не пугайся! Предсказываемое астрономами катастрофическое столкновение с астероидом может случиться через много веков, даже через миллионы лет.

Но уже теперь я порой воспринимаю нашу родную, поросшую травами твердь как взлетную площадку и заранее пытаюсь представить себе чувства самого последнего пассажира, успевшего бросить последний взгляд...





Б

БАБОЧКА. Ошеломляющий пример чуда Божьего: малоподвижное, довольно-таки неприятное ползучее существо, каким является гусеница, превращается в нечто очаровательное, по вольной легкости полета и красоте превосходящее даже птичку колибри.

Может быть, это волшебное превращение — намек на то, чем станет душа после жизни.

Эти порхающие цветы почему-то любят наслаждаться полетом над синевой моря, довольно далеко от берега.

Не раз уставшая бабочка присаживалась на корме моей шлюпки, и я на время переставал грести, чтобы не вспугнуть ее.

БАР. На ночной улице по обе стороны бульвара Рамбла разноцветно мигали вывески ресторанов и баров. Оттуда доносились звуки музыки. Пока я шел в потоке гуляк мимо освещенных фонарями вековых платанов и работающих цветочных киосков, музыка сменялась: то джаз, то какая-нибудь мелодия, исполняемая на гитаре или на пианино.

Рамбла — лучший бульвар из всех, какие я видел. На длинное зарево его огней я вышел случайно, нашляввшись по улицам и площадям спящей Барселоны. Бульвар принял меня в свою бессонную жизнь, повел к таящемуся где-то неподалеку Средиземному морю.

Не дойдя до него, я почувствовал, что приустал. Вышел с бульвара, пересек опустевшую улицу, толкнулся в первый попавшийся бар.

Он был крохотный. В полутьме за столиками сидели матросы, какие-то парни с девушками; потягивали напитки, слушали доносящиеся из динамиков латиноамериканские песни.





У стойки тоже теснились посетители. Я протиснулся, заказал бармену с серьгой в ухе кофе, апельсиновый сок и увидел рядом с собой бородатого старика. Это был типичный францисканский монах в рясе, подпоясанной веревкой. Он отпивал кофе из чашечки.

Бармен выжал сок из двух апельсинов, перелил его из соковыжималки в высокий бокал, о чём-то спросил.

Я не понял. Тогда бармен зачерпнул серебряной ложкой из вазы с наколотым льдом несколько кусочков, продемонстрировал. Я кивнул.

С этой минуты почувствовал, что монах наблюдает за мной.

Я наслаждался ароматным, обжигающим кофе, запивал каждый глоток ледяным соком и думал о том, что вскоре впервые в жизни увижу Средиземное море, и о том, что оставшихся денег может не хватить на такси, чтобы хоть под утро вернуться в отель «Экспо».

Монах встретился со мной взглядом, тихо произнес по-итальянски:

—Тутто бене. Все хорошо.

И так улыбнулся, что я вышел из бара, унося эту улыбку в сердце. Навсегда.

БАРАБАН. Как эти барабаны называются у них в Нигерии? Там-там?

Франк сидит, зажав между коленями высокий, расписанный цветными узорами африканский барабан, колотит в него черными ладонями с розовыми пальцами, поет христианские гимны.

Он давно, несколько десятилетий живет в Москве. У него русская жена Нина, дочка Лиза.

Не знаю, какие сны ему здесь снятся. Навряд ли слоны и жирафы родины. Скорее всего, и во сне он пытается защитить лицо от напавшей на негра банды.





Он бьет в барабан.

Ника! Мне стыдно за то, что к этому высокому, по-своему элегантному человеку без конца привязываются милиционеры, отнимают честно заработанные деньги. Я боюсь за будущее его смуглой дочери.

Барабан гулко рокочет. Говорит о том, что думает и о чем не рассказывает барабанщик.

Франк любит Россию.

...До меня и сейчас доносится грохот его барабана.

БАРАН. Чем ближе пастухи подгоняли отару к высокой бетонной ограде, тем беспокойнее становились овцы. Они тревожно блеяли, вставали на дыбы.

Когда же перед ними распахнулись широкие ворота, отара остановилась как вкопанная.

И начала пятиться. Пастухи хлопали бичами, но никак не могли сдвинуть ее с места.

И тут навстречу отаре вышел баран. Большой, холеный, с аккуратно расчесанной шерстью. Он пристально посмотрел на овец, несколько раз призывающе проблеял. И тут же все они побежали под его защиту, дружно топоча копытцами.

Ворота закрылись. Пастухи остались снаружи.

Баран, самодовольно подрагивая курдюком, вел отару из большого двора в малый, который вдруг стал сужаться и превратился в длинный коридор под кровлей. Копыта стучали по выбитой, без единой травинки земле.

Коридор вел растянувшуюся отару к зияющему чернотой входу куда-то, откуда пахло кровью и смертью.

Овцы замерли. Потом заметались, заблеяли, все как одна в панике полезли друг на друга, ища дороги назад. Но прочные дверцы за ними были уже заперты.

Баран обернулся. Снова пристально глянул, подал голос.



И все стадо тупо заторопилось за ним. В разделочный цех скотобойни.

Там каждую из овечек ждал сбивающий с ног удар электротока, острый крюк на цепи, вздывающий на высоту конвейерной ленты, под которой с большими ножами орудовали свежеватели в окровавленных kleenчатых фартуках.

А баран уже стоял в своем стойле, пережевывал сочную свежескошенную траву.

БЕДА. С тех пор как я впервые принял участие в похоронах, а позже прочел серию бальзаковских романов под знаменательным названием «Человеческая комедия», я понял: в этой земной жизни все-все наши беды (а также и радости!) временны, преходящи.

Поэтому паническое отношение к любой беде в некотором, высшем смысле — комедия. Особенно если помнить об обещанной Христом после нашей смерти вечной жизни.

Уверенность в том, что так и будет, помогает достойно встретить любую беду.

«Чужую беду рукой разведу», — укорит меня кто-то, кому сейчас плохо; кое-кто наверняка сочтет простаком, поверившим в христианские басни. Там поглядим! После ухода с этого пла-на бытия.

БЕДНОСТЬ. По своему опыту знаю, она схожа с морозом. Мороз может то усиливаться, то слабеть, но гнет его ощущаешь постоянно.

Гениальный художник Ван Гог всю жизнь прожил в жесточайшей бедности. При этом многие его картины полны солнечного тепла. Взгляни хотя бы на «Ветви сирени» или на знаменитые «Подсолнухи».





Даже написанный в один из самых трагических моментов его жизни «Автопортрет с отрезанным ухом»—свидетельство величайшего мужества человека.

В конце концов мороз постоянной бедности убил художника, но не его запечатленную в картинах бессмертную душу.

БЕЗДАРНОСТЬ. Не бывает бездарных людей. Убежден, каждый может проявить себя исключительно талантливым человеком. И стать счастливым. Талант заложен в каждом. У каждого—свой.

Но сколько же вокруг бездарных политиков, проповедников, художников от слова «худо», «певцов» и «певиц»!

Все они в душе глубоко несчастны и всячески стараются это скрыть. Прежде всего от самих себя.

Как часто человек не прислушивается к голосу сердца, а из честолюбия ступает на несвойственный ему путь. Предав свой талант—дар Божий, он становится бездарным.

Подобные люди внешне улыбчивы, приторно любезны и при этом скрытны, злы и мстительны.

Каждую секунду боятся, что их разоблачат. Всплывет, что они занимают не свое место.

А их место остается пусто...

БЕРЕГА. Все мы, так или иначе, обитаем на берегах рек или морей. Даже если наше жилище находится далеко от воды.

Многие позабыли о живом покрове синевы, обнимающем большую часть поверхности земного шара.

Человек с сухопутной психологией обеднен, одномерен. А ведь почти все поселения возникли на берегах рек и морей—водных готовых дорог, которые не нужно ни мостить, ни асфальтировать. Да еще вместо двигате-





лей дармовая сила течения и ветра, надевающего паруса.

«А в городе река была.

Она зимой и летом

полузабытая текла

за низким парапетом».

Ранней весной во время ледохода я подростком шел вдоль берега Москвы-реки, видел, как на кружащихся льдинах проплывают следы чьей-то лыжни, разбросанное сено, поломанная бочка... Свидетельства жизнедеятельности далеких верховьев несло мимо Кремля в сторону Волги.

Быть может, тебе покажется странным, Ника, но именно с тех пор я осознал, что живу на берегу. И стало повеселей. Волнует душу, если с лодки или с борта корабля видишь проплывающие неподалеку края земли.

То эти нависшие над прудом с кувшинками плакучие ивы, то южный обрез Кавказа с его густо поросшими лесом горами, то плавни Днепра с хатками среди высоких камышей, то изрезанные заливами берега материковой Греции, то пролив Екатерины при выходе из Охотского моря в Тихий океан...

Перемещаться в безбрежном пространстве не так волнующе, как в виду берегов.

БЕСПЕЧНЫЙ. Изредка наблюдая его, немного завидую. Действительно бес-печный. Так сказать, без печки, теплого угла, уюта.

И всегда весел.

Формально не имеет никакого образования. И – великолепный знаток кинематографа, оперной музыки, джаза. Может сам отремонтировать квартиру, сшить при помощи швейной машинки одежду, вроде бы из ничего сварганиТЬ вкуснейший обед. Для других. Но не для себя.

Ни о чем заранее не заботится.





Его обожают дети. И уж, конечно, женщины.

Сейчас он постарел, живет в Нью-Йорке, один, в какой-то богоадельне. Иногда звонит по телефону.

У меня есть семья: дочка Ника, жена Марина. Своя квартира, своя работа. Казалось бы, это я должен утешать его. Но каждый раз, окончив разговор, чувствую, как легкое дуновение беспечности приподнимает над сурою прозой жизни.

БЕССОННИЦА. Снова, снова маюсь в темноте комнаты. То покуриваю у окна, то захожу в твою комнату поглядеть, как ты спишь, то опять маячу под открытой фрамугой, глядя на окна спящих кварталов. Редко где светит огонек такого же, как я, бедолаги.

Врачи говорят, с возрастом в организме убывает серотонин — вещество, обеспечивающее нормальный сон.

Может быть. Хотя в свое время, когда я пожаловался на хроническую бессонницу отцу Александру, тот сказал:

— Вместо того чтобы курить и пялиться в окно, приступали бы к работе. Это Бог будит вас, зовет за стол. Ведь нам отпущено так мало времени...

БИБЛИЯ. (Ветхий завет). Кажется, последовательно — до конца Ветхий завет я прочел два раза.

Первый — по настоянию Марии Степановны Волошиной, с большим предубеждением, но и любопытством. Второй — учено обложившись книжками толкователей.

Теперь читаю выборочно.

Всегда приходится преодолевать порог собственной косности, насиливо засаживать себя за это чтение.

Кроме того, между мной и Библией высится невидимая, но трудно прошибаемая стена знакомых людей, которые согласно церковному календарю для спасения души из года в год





пережевывают ветхозаветные наставления. И – не изменяются. Кто пил водку, тот продолжает пьянствовать, кто был скрытен и жаден – продолжает быть таковым, кто ругался с женой – продолжает скандалить.

А еще сонмы священников, жонглирующих одними и теми же дежурными цитатами.

Не знаю, как Бог не пришел от всего этого в отчаяние.

Отец Александр говорил, что к Ветхому завету нужен ключ особых знаний. Даже потрудился написать целый трехтомник в помощь таким олухам, как я.

...Что-то снова толкает снять с полки древнюю книгу, раскрыть ее. Всякий раз поражаешься: вот одна из историй, которую ты вроде бы помнишь, понимаешь ее скрытый смысл, да еще растолкованный отцом Александром. И всегда с изумлением ловишь себя на том, что постигаешь нечто неожиданное, новое, крайне важное для тебя именно в данный момент. (Подобный фантастический эффект еще более характерен для Нового завета – Евангелия).

Словно вычерпанный колодец, со дна которого постоянно подступает свежая, кристально чистая вода, Библия непостижимым образом неисчерпаема.

К тому времени, девочка, когда ты дорастешь до нее, и тебе с избытком достанется этой ключевой воды жизни.

БЛАГОДАРНОСТЬ. Помню многих, кто сделал мне добро. Есть и такие, о которых я ничего не знаю. Эти люди не афишируют, не открывают себя. К примеру, безымянные читатели моих книг.

Или такие, как навсегда оставшийся в памяти некий кавказец. Во время сумасшедшей метели он остановил свою машину рядом с тротуаром и отвез по гололеду до дома. Не взял с меня ни копейки.





Уверен, каждый как драгоценность хранит в своем сердце память о подобных чувствах. Без них невозможно было бы жить.

Способность быть благодарным, к сожалению, довольно редкая вещь. Редко кто подхватывает эстафету добра, любви и служения.

Бескорыстие сделанного тобой добра согревает своим теплом прежде всего тебя самого. В этом довольно-таки морозном мире.

БОГАТСТВО. Однажды держал в руках четыре с половиной тысячи долларов, которые подарил читатель на издание книги «Навстречу Нике».

БОЛГАРИЯ. Теплая страна. Истинная сестра России.

Благодаря давнему другу — художнику Христо Нейкову и его многочисленным приятелям я Болгарию основательно изъездил. Пожил на берегу Черного моря у границы с Турцией, нагостился в Софии, изумляясь тому, как все слои общества, от министра до скромной пенсионерки, гадают на кофейной гуще. Чего мне только тогда не нагадали!

В конце концов Христо и его жена Златка завезли меня в городок Самоков, километрах в семидесяти от Софии, в свой редкостно красивый старинный дом с садом, с грозным на вид и добродушнейшим овчаром Чакыром.

Длился тихий сентябрь болгарской провинции. Мы с Чакыром часто бродили по окрестностям, возвращались к вечеру. Нас ждал запах шашлыка: Христо вращал шампуры в пылающем камине.

Однажды утром Златка позвала меня куда-то познакомить со своими подругами.

Златка — народная художница Болгарии. Она носит сарафан





и кофточки только из домотканых материй, расцвеченных национальным орнаментом, узорами, созданными руками деревенских мастерниц.

Так, шествуя рядом с этим живым цветком, я вошел во двор маленького, очень древнего женского монастыря.

...Аккуратные клумбы, фруктовые деревья, отягощенные грушами и яблоками. Вокруг стволов вьются лозы с гроздьями винограда.

Здесь нас уже ждали три крепкие пожилые женщины, одетые в длинные черные мантии, черные клубки на головах.

При виде монахинь я несколько оробел. Они же расцеловали меня как родного и повели в свои покой угощать нежнейшей брынзой из овечьего молока, тушеными баклажанами и уж конечно крепким кофе, сваренным в джезве.

Сестру-настоятельницу звали Гавриила, вторую сестру — Серафима, третьью — Теодосия.

«Интересно, будут ли они гадать на кофейной гуще?» — только подумал я, как сестра Гавриила произнесла:

— Гадать не положено. К нам часто приезжала Ванга (известная на весь мир ясновидящая), и мы ее исповедовали.

В замешательстве оттого, что она рассыпала мои мысли, я спросил:

— Кто еще приезжал?

Златка с разрешения настоятельницы вынула из шкафчика толстый фотоальбом.

Там были фотографии той же Ванги, известных артистов, спортсменов, писателей. И даже тогдашнего руководителя Болгарии коммуниста Тодора Живкова.

— Да-да, — подтвердила Златка, — он тоже, конечно не как официальное лицо, несколько раз в год тайно приезжал сюда исповедоваться, — и вдруг спросила: — Ты хочешь сейчас исповедаться?

Я был не готов. И потом, не хотелось становиться в заты-





лок Тодору Живкову... Они и так все видели, все обо мне знали, эти три болгарские прозорливые монахини.

На прощание я получил в подарок вышитое ими полотенце — рушник.

БОЛТОВНЯ. Замечено, чем более душевно пуст человек, тем болтливее. Подсознательно тщится заполнить душевный вакуум, а заодно и пустое время своей жизни трепом.

На самом деле с этим потоком слов расходуется огромное количество энергии.

Особенно показательно, если два таких собеседника говорят друг с другом по телефону. Это может длиться часами. Болтовня неминуемо приводит к сплетням, осуждению других людей.

В конце концов, когда они выдохлись и разговор истощился, оба чувствуют себя еще более опустошенными.

Побыть в тишине, прислушаться к самому себе таким пустомелям страшно. Ибо они боятся врачающей правды.

БОТАНИКА. Вот уж кто подает пример молчаливого мужества, так это растения!

Так получилось, что я знаком со многими из них — от скромных полевых васильков, качающихся во ржи, до изысканных орхидей.

Среди растений у меня есть особенно близкие друзья. Например, израненный тополь, который ютится между двух проржавелых гаражей в конце нашего двора; или роскошный, необычно кучерявый кипарис на набережной тунисского города Суз; или мандариновое дерево, ронявшее мне поспевающие плоды почти всю греческую зиму. Не говоря уже о коллекции тропических растений, живущих с нами в московской квартире.





Со временем я научился «слышать» скромные просьбы: «Не поливай меня так часто», «Мне не хватает света», «Добавь в поливку фосфора, и я расцвету».

Если любить растения, как людей, все можно расслышать.

Когда надолго уезжаю, кому бы ни поручил заботу о своих зеленых друзьях, самые нежные из них порой умирают.

Одно из самых волнующих занятий — чтение ботанических книг. Обычно это толстые фолианты-определители со множеством разноцветных рисунков и фотографий. Представь себе, ты получаешь привезенное из дальней страны экзотическое растеньице. Но как оно называется, в какую землю его сажать — неизвестно. И вот начинается поиск. Это куда интереснее, чем читать какой-нибудь высосанный из пальца детектив. Сравниваешь с рисунками цвет и очертания листочек, строение веточек... Кажется, определили. Вот оно!

Сажаешь. Ждешь два или три года, пока оно улыбнется тебе глазами цветов.

БУДНИ. С юности я невзлюбил субботы и воскресенья. А также праздничные даты. Поскольку в эти дни родители не выходили на работу, приходилось все время быть под их контролем.

Настоящие праздники случаются нечасто. Как правило, они не совпадают с календарными датами.

В нерабочие дни недели редко удается остаться одному в тишине, настроиться, чтобы потом рука потянулась к авторучке.

Зато в будни почти ничто не отвлекает.

Садишься за стол в восемь утра, работаешь часов до двух. Порой внезапный телефонный звонок вырывает из совсем другого пространства, иных стран, иных обстоятельств. Теперь, чтобы вернуться, без чашки кофе не обойтись...





Утро будней—драгоценное время, пролетающее невозвратимо быстро.

Знаю, кто-нибудь мрачно подумает: «Ему не приходилось изо дня в день таскаться на работу, уставать, еле дотягивать до субботы и воскресенья».

Отвечаю жестко: если работа в тягость, значит, это не ваша работа. Стоило ли рождаться, чтобы всю жизнь гробить на нелюбимое дело?

БУМАГА. Даже тебе, моей дочке, с неохотой выдаю лист писчей бумаги, когда ты за ним прибегаешь, хотя у тебя есть тетради и альбомы для рисования.

Признаюсь, я до бумаги жаден. Не говоря уже о записных книжках и блокнотах.

Это началось с детства, во времена войны. Обмакнутое в чернильницу стальное перышко увязало в коричневых буграх и ворсинках какой-то оберточной дряни, на которой мы, школьники, писали диктанты и решали задачи.

Через много-много лет в Каире я увидел, как делают папирус по древнеегипетской технологии. Долгая, очень сложная работа.

...Чистый лист в ожидании лежит белым парусом. Смогу ли наполнить его свежим ветром? Чтобы он достиг читателя.

БУРЯ. Как назло, утро выдалось серое, с порывистым ветром.

Мы грохotali по гальке навстречу грохочущему прибою. На дикий пляж во всю его длину накатывали высокие волны, с гребней которых срывались космы пены.

—Три часа добирались... Может, хоть обмакнемся?—предложил кинооператор Игорь.

—Стоит ли? Только подмерзнем,—отозвался старший из нас, Олег Николаевич.





В сорок пятом году, под конец войны, он достиг призывающего возраста, успел попасть на фронт и через день был ранен в ягодицу. Этого ранения он стеснялся: получалось, трус, бежал от фрицев.

Рев бури усиливался. В единственный свободный от съемок день я уговорил их вырваться из высокогорного аула к морю. И вот на тебе!

Я стал раздеваться. Игорь последовал моему примеру.

— Парни, вы с ума сошли,— сказал Олег Николаевич, нерешительно сдергивая вниз молнию на куртке.

— Главное — проторанить первый вал. А там как на качелях! — Игорь первым пошел к воде. За ним, придя снятую одежду галькой, нерешительно двинулся Олег Николаевич.

Я стоял на самом урезе воды, смотрел, как они один за другим преодолевают первые ярусы волн, и мне уже не хотелось лезть в море.

— Не холодно! — донеслись сквозь грохот шторма их вопли. — Иди скорей!

Я сделал шаг вперед, кинулся напролом в нарастающую надо мной водяную стену.

...Мы довольно долго то проваливались в пропасти между волнами, то возносились в соленой водяной пыли к пробивающемуся сквозь тучи солнцу. Чем дальше относило меня, тем легче и веселее, было управляться с бурей.

Внезапно донеслись крики:

— Володя! Володя!

Взлетая на очередной гребень, я увидел уже выбегающих на берег Игоря и Олега Николаевича. Они кричали, указывая на что-то за моей спиной.

Я успел обернуться, увидеть вдалеке толстую, вращающуюся колонну смерча, соединяющего небо и море.

Не было времени снова оглянуться на смерч.





Азарт отчаяния овладел мною. Казалось, я уже чувствую ногами дно, казалось, берег совсем рядом.

Очередной вал обрушился, накрыл с головой. Нечем стало дышать. Меня закрутило и поволокло в пучину.

Всё-таки удалось на миг вырваться, глотнуть воздуха, даже встать на ноги. Но тут с оглушительным грохотом толкнуло в спину, опрокинуло под воду и потащило в глубину, раздирая о гальку.

Я бы не писал сейчас этих строк, если бы руки Игоря и Олега Николаевича не выдрали меня из этой мясорубки волн.

Стоял на берегу. По груди из многочисленных порезов сочилась кровь.

— Цел? — спросил Олег Николаевич.

Вовсю сияло солнце. Витая колонна смерча уходила в сторону открытого моря.

Я был в высшей степени цел.

БЫДЛО. Он ездит по улицам Москвы в японской машине с тонированными стеклами.

Этот русский человек, москвич, уже очень много лет не входил ни в метро, ни в автобус или троллейбус. Один только вид других, малоимущих людей вызывает брезгливую гримасу на его лице, покрытом модной нынче небритостью, оканчивающейся бородкой.

«Быдло», — вырывается у него при виде нищих или беженцев.

Он богат. Хотя в жизни никогда ничего не сделал. Ничего.

Трижды был женат на дочерях состоятельных торговцев. Со всеми по очереди развелся ради четвертой — еще более богатой.

Ухитрился обзавестись званием доктора каких-то наук. Числитяется консультантом какой-то фирмы...

Считает себя интеллектуалом.



...Ты спросишь: что такое быдло?
Запомни, девочка, он это самое и есть.

БЮРО. Эх, Ника, до чего же тянет ранней весной из дома!
Особенно когда ты старшеклассник, когда кажется невозможным снова тащиться в школу.

Снег в Москве еще не весь растаял. Почки на ветках тополей и лип только готовятся брызнуть зеленой листвой. Их раскачивает теплый ветер, прибывший, как сказали радио, с просторов Атлантического океана.

Выходит, этот циклонический ветер прошел над Испанией, Италией, Грецией...

В такое утро невозможно усидеть дома.

Лужи сверкали от солнца. Шлялся без цели, затерянный среди уличной суэты. Меня занесло на площадь, которая теперь называется Театральной. До блеска вымытые экскурсионные автобусы «Интуриста» стояли у гостиницы «Метрополь». Гиды суетливо рассаживали в них иностранцев — венгров, англичан, немцев.

С ревностью смотрел я вслед отъезжающим автобусам. Это был мой город, моя Москва, где я был обречен оставаться вечным пленником.

Двинулся дальше. И вдруг заметил у одной из стеклянных дверей «Метрополя» небольшую вывеску. На ней латинскими буквами было написано:

«ТРЕВЕЛ БЮРО.
БЮРО ДЕ ВОЯЖ».

Это было бюро путешествий! За сверкающей дверью скрывались дальние страны. Открой ее — попадешь в Испанию, Италию, Грецию.

Я стоял, перед заветной дверью, ведущей в иной, сказочный мир. Она была заперта для таких, как я. Казалось, навсегда...





B

ВАЛЕТ. У нас в довоенном московском дворе верховодил пацанвой двенадцатилетний Валет. Такова была его кличка. На самом деле его звали Валька.

Этот вечно голодный, вечно сопливый шкет ютился с матерью-пьяничкой в подвале покосившегося флигеля, стоявшего между дровяным сараем и помойкой.

Именно Валет подбил меня, семилетнего, кинуть «на спор» камень в окно недавно построенного впритык к нашему двору родильного дома. У моей мамы были из-за этого большие не приятности. А мне родители запретили выходить во двор.

Тянуло туда, как пленника на свободу.

Наконец запрет был снят с условием — к Валету не приближаться.

Вся ребятня кучковалась вокруг Валета, даже девчонки. Не мог я оставаться одиноким парием.

Под стеной своего флигеля Валет то и дело организовывал игру в расшибец, выманивая у нас пятаки, а то и гривенники, научил играть в карты, в подкидного дурака. Проигравший получал от Валета щелбаны по кончику носа. Было больно, катились слезы.

Все замирали от восхищения, когда он помногу раз, высоко подбрасывая ногой «лянгу» — кусок свинца с пучком шерсти.

От него мы набирались множеству гадких, матерных слов, блатных песенок вроде такой: «Когда я был мальчишкой, носил я брюки клеш, соломенную шляпу, в кармане финский нож. Я мать свою зарезал, отца свою убил. А младшую сестренку в колодце утопил. Лежит отец в больнице, а мать в сырой земле. А младшая сестренка купается в воде». Полагалось





напевать эту жуткую балладу, лихо сплевывая сквозь зубы. Что я и пытался делать в свои семь лет.

У Валета действительно был складной нож с длинным лезвием. Не раз он заставлял меня класть наземь ладонь с растопыренными пальцами и, приговаривая: «чет-нечет, нечет-чет», с сумасшедшей скоростью втыкал между ними острое лезвие. Я умирал от страха и все-таки подчинялся гипнотической воле своего мучителя. Тем более, он предупреждал: «Нажалуешься – зарежу».

Частенько у дворовых ворот появлялся взрослый дядька с пустым мешком через плечо. Он закладывал в рот два пальца – раздавался пронзительный свист. Валет стрелой кидался со двора, исчезал вместе с дядькой.

Пацаны поговаривали, что Валет, подсаженный своим хозяином, проникает через форточку в чужие квартиры...

Однажды воскресным вечером он притащился во двор в прилипшей к спине окровавленной рубахе. Лицо и плечи его тоже были изрезаны стеклом.

Не добредя до входа в свой подвал, он повалился у сарая. Мой мучитель подыхал.

Я кинулся в дом за мамой.

Мама спасла Валета. Вытащила осколки стекол, обмыла раны, засыпала их стрептоцидом, вызвала «скорую», отправила в больницу.

...Он куда-то исчез перед самой войной. Чувство потери до сих пор терзает меня.

ВАРИАНТ. Если при письме какое-то слово показалось неточным, не трать времени на сомнения. Сразу ищи другой вариант.

Когда мне приходилось останавливаться на развилке двух дорог, и я не знал, по какой из них пойти, решительно пово-





рачивался к ним спиной, прокладывал свой путь по бездорожью. В литературе этот вариант — царский.

ВДОХНОВЕНИЕ. Ты попросила у меня чистый лист бумаги и убежала с ним в свою комнату.

Довольно долго тебя, моей первоклашки, не было слышно. Несколько обеспокоенный, я зашел к тебе.

Ты сидела с авторучкой за своим письменным столом. Бесмысленно, как мне показалось, усеивала поверхность листа многочисленными синими точками. Рядом лежала раскрытая коробка с фломастерами.

— Папа, пожалуйста, подожди. Не мешай.

Я вышел. Часа через два передо мной возникла протянутая тобой картинка. Бросилась в глаза ее необычайность, непохожесть на все твои предыдущие рисунки. Почему-то вспомнил о ярком творчестве художника Миро. Репродукций его картин ты никогда не видела.

...Из прихотливого соединения цветными фломастерами синих точек словно созвездия в небе возникли жираф, мышка, ежик, бабочка, птица, лошадка. Угловатые фигурки были отчетливы и одновременно зыбки, как знаки Зодиака. Самое удивительное, картинка представляла собой законченное цветовое целое.

— Доча моя, доча, доча-балабочка, — растроганно сказал я, обнимая тебя и целуя в макушку. — Долго трудилась. И вышло замечательно!

— Как это долго? Нарисовала за одну минуту!

Не заметила пролетевшего времени — верный признак вдохновения.

ВЕК. Как-то слышал по радио опрос, — «В каком веке вы бы хотели жить?» Отвечающие изгилялись, как могли. Кто хотел





бы жить в галантном восемнадцатом веке, кто — в девятнадцатом, чтобы нанести визит Пушкину.

Я же счастлив тем, что большую часть жизни прожил в своем ужасном XX веке, был свидетелем и порой участником грандиозных катаклизмов. Благодарен судьбе за то, что остался жив и даже с тобой и мамой очутился в теперешнем двадцать первом.

Но это уже не мой — твой век.

Начался он, конечно, не в 2000, а в сентябре 2001 года с того момента, когда мы, включив телевизор, вместе с тобой и миллионами людей бессильно смотрели на экран и видели, как неотвратимо приближается второй самолет-убийца к башням-небоскребам Торгового центра Нью-Йорка.

Розовые надежды населения земного шара на то, что в новом веке, новом тысячелетии повсюду наступят мир и благодать, рушились вместе с башнями-близнецами, тысячами гибнущих жизней.

Впоследствии один из пожарных рассказывал, что увидел на ступеньках разрушенной лестницы стоящую там изящную женскую туфельку, полную крови...

С тех пор эта хрупкая туфелька стоит в моих глазах.

При всем том, девочка моя, тебе суждено взросльть, существовать именно в этом веке. Видит Бог, как я тревожусь за тебя. И все-таки завидую. Как мальчишка, которого не возьмут с собой в захватывающее Приключение.

ВЕРА. Для меня слова «вера в Бога» кощунственно неточны. Я не просто верю. Я знаю.

ВЕСНА. О ней начинаю мечтать загодя, чуть ли не в ноябре. Чем дольше идут мои годы, тем чаще подумываю: доживу хотя бы до марта или нет?





Но когда был совсем маленьким, тоже нетерпеливо дождался весны. Хорошо помню, как лет в шесть впервые сочинил стишок:

«Поднялся из земли стебель тоненький.
По нему уж букашка ползет.
Из берлоги медведик веселенький
Выползает. Он лапу сосет».

Гордясь собой, прочел пацанам нашего двора. И был спра-
ведливо высмеян. Надолго, до седьмого класса, перестал за-
ниматься стихотворством.

Поразительно молчаливое мужество кустов и деревьев,
с которым они переживают морозы и тьму длинных зим. Осе-
нью от этих растений остаются скелеты самих себя. Но вот
весна, и наступает чудо воскрешения—нарастает новая плоть
листвы, побеги.

...Мартовским утром мы с тобой выходим во двор, загадыва-
ем—кто скорей заметит первую травинку, вылезающую рядом
с остатками снега.

И всегда победительницей оказывается ты.

ВЕСТЬ. Каждый ждет, что однажды получит Весть. Грятет
телефонный звонок, почтальон принесет телеграмму...

И все волшебно изменится.

Неслыханная ответственность—быть писателем. Знать,
что читатель с надеждой откроет переплет твоей книги...

ВЗГЛЯД. 3 октября 1956 года, почти половину столетия
назад, дождливым, слякотным вечером я оказался на даче
у Бориса Леонидовича Пастернака. И пробыл там часа два,
потрясенный его внимательностью ко мне—безвестно-
му парню, который от смущения даже стихов своих не про-
чел.



Боясь, что задерживаю его, несколько раз порывался уйти. Но он останавливал меня. А потом попросил немного погодить, поднялся на второй этаж. И пропал.

Оказалось, дожидался, пока высохнут чернила надписи на предназначенном мне в дар «Гамлете» в его переводе.

Борис Леонидович взял с меня слово, что я приеду к нему через год с тетрадью стихов. Тщательно упаковал книгу. Рванулся проводить под ледяным дождем на станцию Переделкино.

Я воспротивился. Тогда он сказал, что будет стоять у раскрытой двери и смотреть вслед.

В романе «Здесь и теперь» я подробно написал об этой встрече. О том, как уходил, оглядывался и видел силуэт Пастернака в проеме освещенной двери.

...Этот взгляд до сих пор держит меня в поле своего луча. И если я порой сбываюсь с пути, он как спасательный трос, натянутый вдоль домов какого-нибудь поселка за Полярным кругом не дает сгинуть во тьме и метели.

ВИНА. Многие церковники, православные и католические, возбуждают и поддерживают в верующих чувство вины.

Человека может поднять только любовь к нему, искреннее участие. Без запугивания и тошнотворных нравоучений.

С тех пор как в Палестине появился, погиб и воскрес Христос, церковное предание донесло до нас Его призыв: «Радуйтесь и веселитесь!»

А что касается вины, то у каждого есть совесть. Каждый сам знает, в чем он виноват. Знает и терзается без подсказки мучителей в рясах и сутанах.

ВИНО. Его интересно пробовать. Но не упиваться.

Когда я жил посередине Эгейского моря на острове Скиа-





тос, мне подарили ящик с гнездами, откуда торчали 12 бутылок лучших греческих вин.

Этого запаса хватило на полтора месяца ежевечерней дегустации. Правда, не считая джина, который я употреблял после утренней рыбалки, сидя в прибрежном кафе-баре «Мифос».

Именно тогда я понял, что всю жизнь притворялся, нахваливая в разных компаниях вслед за знатоками прославленные сухие напитки. Например, французское шампанское-брют, различные рислинги и тому подобную кислятину.

На самом-то деле, Ника, признаюсь тебе, я как пчела люблю только натуральные сладкие или полусладкие вина.

Как-то нам с твоей будущей мамой Мариной официант римского ресторана откупорил к обеду бутылку белого вина. Вкус его был божественным. Мама-то пила мало, только по-пробовала. А я шел потом по Риму в состоянии, похожем на вдохновение. То ли от легкого подпития, то ли от всего сразу—Марины, Рима, солнца.

К сожалению, я не запомнил названия того вина. А может быть, и к счастью—оно оказалось чудовищно дорогим.

Но все-таки самое чудесное на свете—густое черное вино «качиич», изготавливаемое крестьянами близ поселка Каштак на берегу Черного моря.

ВИСЕЛИЦА. Судя по книжным иллюстрациям, она, как правило, похожа на букву «П».

Однажды во время бессонницы мне почему-то пришли в голову такие соображения.

Под буквой «П» виселицы орудует Палач. Готовит Помост и Петлю. Чтобы, если не придет Помилование, Повесить Преступника по Приговору. И затем Предать земле, Похоронить.



Зимний рассвет выдался солнечным. Прикрыв за собой дверь ванной, чтобы тебя не разбудить, я умывался ледяной водой и думал: «Что только порой не образуется в воспаленном бессонницей мозгу... Зачем?»

ВЛАСТЬ. Кажется, у меня никогда не было стремления к власти. Даже над тобой, моей дочкой, не властен.

Раза два в сердцах как-то шлепнул тебя (за дело, между прочим). Обошлось себе дороже. Слезы твои быстро высохли. Все забылось. А я еще много дней и ночей мучился, ненавидел себя.

Я над собой с радостью признавал бы власть своего духовного отца Александра Меня. А он ею не пользовался!

ВЛЮБЛЕННОСТЬ. Возможно, кому-нибудь смешно читать о том, что я уже сейчас с ревностью думаю о предстоящих тебе, семилетней девочке, влюбленностях.

Безответная влюбленность унизительна. С болью думаю о твоих неизбежных слезах, разочарованиях.

С другой стороны, убежден: этими жесткими мерами Бог оберегает от поспешного выбора, для заповеданного свыше человека, который станет частью тебя, за которого ты будешь готова отдать все на свете.

ВНЕШНОСТЬ. Некоторые дамочки разных возрастов значительную часть жизни тратят на то, чтобы обмануть мужчин.

При помощи туши подкрашивают глаза, чтобы они казались большими, приклеивают длинные ресницы, румянятся, выщипывают брови, красят помадой губы, создавая «мишень для поцелуев».

В результате вместо лица получается раскрашенная маска, фальшивка.





Если мошенники за изготовление фальшивых денег караются по закону, то что же сказать об этих дамочках?

Представляю себе ужас и разочарование их мужей наутро после свадьбы! Да еще когда обнаруживаются надутые силиконовые груди и следы операций косметологов.

Лицо — знамя души. Оно должно быть просто чистым, незапятнанным. Именно как знамя.

ВОДА. Что же это такое? Неужели просто соединение водорода и кислорода, в котором я так люблю плавать?

Умеющая фантастически менять свой облик, вода обнимает Землю океанами и морями, падает дождем с небес, может превращаться в лед, в нежное кружево снежинки, в высоченные, яростные волны шторма, в стелющийся над лугами туман...

Материки покрыты пульсирующей сердечно-сосудистой системой родников, ручьев и рек.

Что же такое вода?

Подозреваю, она — одно целое. Сознательное живое существо со своей радостью и печалью.

Убедился в одном: с водой можно говорить, с помощью молитвы и определенного метода обращаться к ней с просьбой вылечить ту или иную болезнь.

И больной, выпив такую воду, выздоравливает.

ВОЗДУШНЫЕ ГИМНАСТЫ. Был период, впрочем, недолгий, когда мне понадобилось ежедневно приходить в цирковое училище, смотреть на тренировки будущих клоунов, жонглеров, канатоходцев.

Была там и группа воздушных гимнастов. Тех самых, что с кажущейся легкостью перелетают под куполом с трапеции на трапецию. Их тренировал знаменитый в прошлом воздушный гимнаст.





Под его наблюдением три парня и девушка отважно летали в воздухе, подстрахованные пристегнутыми к каждому тросиками-лонжами и натянутой над ареной сеткой.

— Нравится? — спросил меня тренер.

— Завидно.

— Не завидуйте. Знаете, на что смотрит публика во время представления в цирке? Втайне ждет и надеется, что кто-нибудь разобьется. Ведь мы там работаем без страховки... Вот зачем она приходит. Честно посмотрите в себя и увидите, что вы и сами такой.

ВОЗРАСТ. Знаешь, Ника, я совсем заблудился в своем возрасте.

Вот тебе сейчас пошел восьмой год. По своему развитию ты несколько опережаешь многих сверстников.

Что касается твоего папы, то по паспорту возраст у меня один, внутреннее ощущение себя другое — точно такое же, как было в 17 лет. При этом в течение одних и тех же суток к вечеру я могу чувствовать себя развалиной, наутро — твоим ровесником. Или даже малым ребенком, впервые увидевшим захватывающее явление — восход солнца.

Каков же мой истинный возраст?

Иногда мне дают понять, что я веду себя несолидно. Наша мама порой начинает оправдываться за меня перед людьми.

Но ведь я не паясничаю. Я такой, как есть. В жизни. И в своих книгах.

ВОЙНА.

Я, между прочим, пережил войну.

Я помню эту тишину,

Что после взрыва бомбы оседает.

Мать молодая, а уже седая.





С ней, наступая на шнурки ботинок,
Бежал я под бомбеккою в夜里.
...Зениток с «юнкерсами» поединок,
прожекторов скрещенные лучи.
XX век...

ВОЛЯ. Этим словом называют чувство неохватной свободы. То самое, какое налетает, когда стоишь перед далью полей и лесов или вдыхая соленый ветер, озирая морской горизонт. Этим же словом обозначают высшую устремленность к цели. Так и говорят — «железная воля». Русский язык таинственно соединил в одно слово раздельную ширь воли и сконцентрированную в кулак волю к действию.

ВОПРОСЫ. Никогда не стесняйся задавать вопросы, спрашивать. Если, конечно, не можешь найти ответ сама.

По тому, как отвечают люди, сразу видно, умен человек или глуп, искренен или нет.

Чаще всего попадаются самодовольные удалцы, которые берутся ответить на любой вопрос.

Уважительное преклонение перед тайной мира заставило в свое время величайшего мудреца Сократа признать: «Я знаю то, что ничего не знаю».

Чем более духовно богат человек, тем менее категоричен он в своих ответах. И тем больше ставит вопросов перед самим собой.

ВОР. Вечером я приехал в недельную командировку в город Днепропетровск. Остановился у собственного дяди Мити.

Утром, не теряя времени, отправился на трубопрокатный завод, изготавливающий корпуса космических ракет. Там после планерки к 11 часам меня ждал главный инженер, чтобы





проводить по цехам, ознакомить с проблемами, о которых я, двадцатипятилетний начинающий журналист, должен был написать очерк для столичной газеты.

Стояла жара.

Бумажник с паспортом, командировочным удостоверением и деньгами, блокнот для записей, авторучка, пачка папирос, спички—все это добро я вынужден был распихать по карманам пиджака. Накинул его на плечи и, стараясь держаться в тени деревьев, неторопливо пошел искать трамвайную остановку.

Одно обстоятельство несколько беспокоило меня: я ничего не понимал в трубопрокатном производстве. Однако с легкомыслием молодости надеялся, что выполню поставленную редакцией задачу и таким образом приобщусь к наступающей космической эре.

Разморенный жарой южный город пил газировку, ел мороженое. Тротуар у трамвайной остановки был засыпан шелухой семечек.

Я дождался нужного номера трамвая, втиснулся в набитый пассажирами вагон, купил билет у кондукторши, узнал, что до завода мне нужно ехать восемь остановок. Ухватившись за свисающую сверху ременную петлю, я боле или менеевольно стоял среди пассажиров до того времени, когда на следующей остановке вагон окончательно заполонила гомонящая толпа людей с сумками и корзинами, видимо, возвращающихся с базара.

Стиснутый потными телами, я старался отстраниться, старался уловить слабое дуновение воздуха, чуть долетавшее из открытых окон трамвая.

Вдруг ощущил—кто-то лазит по карманам моего сползающего с плеч пиджака.

Отпустив петлю, я исхитрился несколько вздернуть его обратно на место. И в этот момент увидел чью-то руку с моим





бумажником. Она принадлежала улыбающемуся мне в лицо высокому человеку с золотым зубом — «фиксой».

Бумажник исчез. Вор продолжал неторопливо шарить по карманам, все так же гипнотизируя меня своей улыбкой.

—Что вы делаете?—стесняясь, спросил я. Хотя и так было понятно, что он делает.

Вор все с тем же доброжелательным выражением лица шепнул:

—Молчи громче...

Я попытался схватить его за руку и понял, что не столько плотная масса людей мешает мне сделать это, сколько страх получить удар ножом.

И все же я закричал: «Граждане, меня грабят!»

Люди отводили взгляд, гомон вокруг смолк. Я понял — никто не поможет, не вступится. Наглое зло торжествовало на глазах у всех. Вор крал у меня веру в человеческую солидарность, и это потрясло меня, как если бы из атмосферы Земли разом исчез кислород. Впервые я осознал, насколько человек может быть одинок среди себе подобных...

На следующей остановке вор первым выскользнул из автобуса.

—Бегите! Бегите за ним! — словно проснувшись, раздвинулись передо мной пассажиры — Зовите милицию!

Я вышел. Тем более, без документов ехать на завод становилось бессмысленно.

Кроме бумажника из пиджака исчезла авторучка, и даже пачка сигарет.

Когда я нашел отделение милиции и меня усадили писать заявление о краже, я обнаружил на руке отсутствие часов.

Прочитав заявление, дежурный спросил:

—Сколько еще предполагаешь быть в нашем городе?

—Неделю.



— Позвони дней через пять. Денег не вернешь. А документы подкинут.

...Документы действительно подкинули. Я получил в милиции паспорт, командировочное удостоверение. И покинул Днепропетровск, так и не разобравшись с проблемами изготавления космических ракет.

ВОРОБЕЙ. Только что над Киевом отшумел летний ливень. И опять засияло солнце.

Из-под навеса кафе «Кукушка» официант принес мне сухой стул, и я сел у одного из пластиковых столиков с поваленной ветром вазочкой, откуда вывалились измокшие салфетки. Ждал, пока принесут кофе и бутерброд с сыром.

Вокруг с высоких кустов и деревьев срывались сверкающие капли. Отсюда, с кручи, далеко внизу в разрывах буйной зелени сверкал Днепр.

От сверкания мокрой листвы, капели, Днепра ломило глаза. Оглушительно чирикали воробы.

...Я пил кофе, начал было есть бутерброд, когда, обдав трепетным ветром крыльышек, мимо лица на столик спланировала стайка воробьев.

Птахи нетерпеливо подпрыгивали, подлетали, чуть ли не ко рту.

Я подумал о том, что они привыкли здесь кормиться, а сейчас, кроме меня, посетителей нет. Разломил остатки бутерброда, бросил им на столик. Самые большие куски ухватили клювиками самые наглые и стремглав полетели с ними кудато в укромные места. Остальные сутились вокруг крошек.

Один их воробышков все подскакивал к корму, но ему ничего не доставалось. И тут, видимо, прознав о дармовом угощении, налетела еще одна банда, чтобы доклевать все подчистую.





Мой воробышек бессильно прыгал по краю столика. Похоже, этот праздник жизни оказался не для него.

Я заказал еще один бутерброд.

Боясь, что воробышок улетит, не поев, торопливо насыпал целую гору крошек поближе к нему.

Захотелось изловить его, унести с собой, кормить и беречь. Поймать птичку не составляло труда. С детства знаю, как ловить воробьев без особых подручных средств. Но воробы неволи не терпят. И потом, я был здесь, в Киеве, в командировке. Одинокий человек в гостиничном номере — куда бы я его дел?

Почему-то не хотелось уходить из кафе, вообще уезжать из Киева. Вспомнил, как колотится сердце воробья, когда его поймаешь, зажмешь в ладони.

Мой воробышок ел, насыщался, попивал воду из лужицы на столе.

...А в это самое время где-то здесь, в этом самом городе, бегала, прыгала, подрастала не очень-то счастливая в семье и в классе одиннадцатилетняя девочка — моя будущая жена и твоя мама Марина.

Как подумаешь сейчас, сколько еще до нее, до встречи с Мариной, оставалось жить...

ВОСПОМИНАНИЕ. ...Ночной ветерок пронизывает ковбойку. Я подмерз, но упрямо торчу рядом с вахтенным матросом на носу пассажирского корабля. Мне пятнадцать лет.

Вахтенный время от времени разворачивает прожектор вправо-влево. Мы вместе вглядываемся в волнующуюся поверхность вод — не показалась ли мина. Совсем недавно кончилась война. Черное море еще полно плавучей смерти.

За ночь в луч прожектора попала только одна мина, и ее расстреляли с капитанского мостика.





...Ощущение начавшейся взрослой жизни, настоящей опасности. Восторг.

ВОССТАНИЕ. Сторонись любых толп, Ника. Близко не подходит!

То ли бактериями безумия, то ли массовым гипнозом кто-то мгновенно заражает скопления людей. Заражает каждого. И вот уже нет отдельного человека, есть безумная масса, готовая слепо ринуться за тем, кто ее поведет...

Так начинаются погромы, поджоги, убийства.

Совсем молодым парнем я остановил в станице Клетской сотенную вооруженную толпу восставших казаков. Не дал совершил расправу над ни в чем неповинными людьми.

Лишь потом сообразил, что и меня могли лишить жизни.

Не сомневаюсь, что подобными восстаниями толп, зараженных бактериями злобы, руководит дьявол.

ВОСТОК. Он заглядывает в мою комнату солнцем.

Это солнце прошло над Тихим океаном, над Индией, над Иерусалимом и осветило растения на подоконнике, часть книжной полки, нашу коллекцию раковин.

Пока встаю, умываюсь, оно уже передвинулось, светит во всей красе в окно твоей комнаты.

Вставай, Ника! Отдергивай штору.

Первое, что ты научилась рисовать, было солнце.

Это не сказка — всего несколько часов назад солнце сверкало в фонтанах китов, в хрустальных ледниках Гималаев. Его приветствовали, вздымая хоботы, добродушные индийские слоны, оно отражалось на верхушках минаретов, на куполах храма Рождества Господня.

Затянуто небо облаками или нет, восток каждое утро направляет к нам солнце.





Недаром в Библии сказано, что нужно молиться, обращаясь лицом на восток.

ВРЕМЯ. Многие помнят, что в Евангелии написано: «Для Господа тысяча лет, как один день».

Загадочно.

Опыт каждого напоминает: день может промчаться мгновенно, а может тянуться бесконечно долго.

Принято считать, что эти явления свидетельствуют просто о психологическом состоянии человека.

Некоторые думают, что время условно измеряется изменениями человеческой жизни, природы; что на самом деле его нет.

А выдающийся ученый профессор Козырев, исследуя при помощи гироскопов эффекты времени, пришел к выводу, что время—особый вид энергии, текущей по направлению к определенной точке Галактики.

Как бы там ни было, сколько же можно переделать, переродумать за один день!

Понимаю, не всегда получается. И мне порой на следующее утро вспомнить-то нечего.

А ведь этих дней, девочка, отпущенено считанное количество...

ВСТРЕЧА. Показалось, он издали приглядывается ко мне. Я тоже обратил на него внимание во время первого же посещения ресторана при нашем туристском отеле «Рояль-палас» на берегу Красного моря.

Этот великолепный экземпляр человека—стройный, высокий господин в лимонного цвета рубахе с воротником-стоечкой, белых брюках всегда двигался чуть позади своего маленького стада из двух женщин в просторных египетских





галабеях — полноватой и худенькой. Сразу было ясно, это жена и дочь. Хотя с запястья одной из его рук всегда свисали четки, он, как ни странно, напоминал Маяковского.

«Скорее всего, мулат», — думал я, глядя на его негритянски смуглое, доиста выбритое лицо с каким-то благородным пепельным оттенком кожи.

В тот вечер я припозднился с купанием в море да еще покурил с вооруженным охранником пляжа Абдуллой. И пока переодевался потом в своем бунгало, пока под фонарями и пальмами дошел до ресторана, расположенного у большого бассейна под открытым небом, там было уже полно ужинающих и гомонящих туристов. Кажется, не оставалось ни одного свободного места.

Старший официант в белой куртке увидел, что я в задумчивости приостановился, издали махнул мне рукой и указал на полускрытый кустом цветущего гибискуса столик.

После моря особенно хочется есть. Я быстро разделся с ужином и уже допивал из фужера прекрасное египетское пиво «Stella», как увидел, что официант ведет к моему столику шествующее гуськом то самое семейство.

На этот раз красавец был в отлично отглаженной белой рубахе, тоже с воротником-стоечкой, и коричневых брюках. Он по-английски спросил у меня разрешения. Они расселись за столиком.

И мне расхотелось уходить в свое бунгало.

— Нравится пиво? — спросил он меня. — В Египте делают только один сорт пива, зато очень хороший.

Он заметил, что я с трудом понимаю английский, спросил:
— Испанец? Француз?

— Еврей, — ответил я. — Фром Раша.

Обе женщины, перестав есть, уставились на меня так, будто впервые увидели живого еврея.





—Фром Раша? Из России?—чудесная детская улыбка озарила лицо этого человека. Он чуть пригнулся ко мне и тихо пропел на почти чистом русском языке: «Когда на улице Заречной в домах погаснут фонари, горят мартеновские печи. И день, и ночь горят они...» Я когда-то учился в Свердловске. Эта песня была гимном нашего курса.

—Вы кто?—в свою очередь спросил я, переходя на родной язык.—Африканец?

—Араб. Живу в Марокко, в Касабланке. Инженер-химик. Это жена, не работает. И наша дочь. Она анестезиолог. Завтра утром возвращаемся домой. Приезжали на машине отдохнуть. Пока здесь опять не началась война.

Он подозвал официанта, попросил принести две бутылки пива, явно дожидаясь, пока я спрошу, о какой войне идет речь. Но мне показалось опасным поднимать эту тему.

—Война между Израилем и всем арабским миром,—сказал он, наливая из открытой официантом бутылки пиво мне и себе.—Подумайте сами, вы еврей, я араб. Вместе пьем пиво. Лично между нами нет крови, нет ненависти. У нас один Бог. Хотя мы, арабы, называем его Аллахом. Нам обоим противен терроризм.

При слове «терроризм» жена, которая явно не понимала по-русски, с тревогой глянула на него так, как смотрят на одержимого.

Он же, все быстрее перебирая пальцами четки, стал убеждать меня в том, что именно такие люди, как мы, могут стать инициаторами конференции; руководители всех стран обязаны будут выслушать представителей террористов. «Почему это с ними нельзя вступать в переговоры?—то и дело вопрошал он.—Разве они не люди? Разве у них нет своей логики?»

Я молча слушал его. Этот человек нравился мне все больше.





—Они такие же люди, как мы, у них тоже есть дети... Неужели вы думаете, что человеку с поясом шахида не горько идти умирать?

—Но что конкретно можем сделать мы с вами?

—Многое! Стать катализатором, началом всего процесса.

Что я мог ему ответить? Как всякий нормальный человек, я тоже не раз думал о том, как спасти мир от раковой язвы терроризма, как всех примирить.

Перед тем как покинуть ресторан, мы обменялись адресами и решили продумать наши первые шаги.

Обнялись на прощание. Прошли месяцы, год. Я не получил от него ни одного письма. Чем больше шло время, тем сильнее я тревожился. На мой запрос никто не ответил.

Запоздало пожалел о том, что мы почему-то не обменялись номерами телефонов.





Г

ГАДАНИЕ. С дорожной сумкой через плечо я шел по пустынной улице к автостанции. В Душанбе стояла такая жара, что не только прохожих, автомобилей не было видно.

Я поспешал, чтобы не опоздать на рейсовый автобус, который должен был отвезти меня в прохладу гор – в Кандару, где находилась опорная станция Ботанического сада.

Вдруг из какой-то подворотни навстречу мне выбежала толпа цыганок в пестрых юбках.

– Дай погадаю! Дай погадаю! Дай погадаю! – оглушительно накинулись они на меня, загородив проход.

– Нет, – я приостановился, чтобы раздвинуть их и пойти дальше.

– Дай погадаю! Дай! – их речитатив оглушал.

...Мир полон бездельников, занимающихся вымогательством под видом гадания. Проникнуть в будущее отчасти возможно. Но вовсе не с помощью изучения линий ладони, кофейной гущи, карт или какой-нибудь астрологии.

Я никак не мог вырваться из обступившей меня наглой толпы. Особенно неистовствовала одна старая цыганка, увшанная бусами и серьгами.

– Дай погадаю! Дай погадаю! Дай погадаю! Дай! – она останавливалася меня, хватала за рукава рубахи, за брюки.

Я опаздывал на автобус.

И тогда, захваченный ритмом их завываний, я скорчил зловещую рожу и громко прорычал ей в лицо, используя пару цыганских слов, смысл которых не очень-то понимал:

– Цыганка! Цыганка!

Кесамп ромале,

Кесамп ромале,





Я сам Бармалей!
Все знаю про людей!
В ужасе они прыснули от меня с воплями:
— Шайтан! Шайтан!
На автобус я все-таки успел.

ГАРЕМ. Когда во время путешествия по Средней Азии мы прибыли в Бухару, местное начальство приставило к нам очкастую экскурсоводшу Таню.

Дело происходило при советской власти. Я подбил поехать со мной в эту длительную командировку Александра Меня. Чтобы не создавать ему лишних неприятностей, всюду представлял его как профессора-историка, знакомящегося с древностями Востока.

Отца Александра действительно интересовали мечети, музеи, археологические раскопки.

«Все это я себе так и представлял!» — с восторгом повторял он, карабкаясь на развалины усыпальниц. Я едва поспевал за ним.

— А вы заметили, наша Таня то и дело украдкой осеняет себя крестным знамением? Сдается, что она брезгует мусульманскими святынями. У нее вид неофитки.

— Стерва! — сказал я и осекся. Отец Александр не любил, когда осуждают других людей.

Коротко стриженная, похожая на постаревшего подростка, угрюмая девица оттарабанивала нам заученные в экскурсионном бюро исторические сведения, бесконечные местные легенды.

Как-то мы пригласили ее отобедать с нами с чайхане. Отец Александр спросил:

— Таня, в вашем арсенале есть история о немце, который в середине девятнадцатого века добрался сюда, в Бухару, через





страны и пустыни, чтобы узнать о судьбе двух пропавших английских офицеров?

Оказалось, нет в арсенале Тани этой подлинной истории.
— Офицерам давно отрубили головы. Нарсулла-хан, тогдашний эмир Бухары, пленил доброго немца и даже прислал к нему палача, чтобы тот заранее продумал, каким способом лучше казнить иноверца. К счастью, бедняге удалось бежать.

Таня перекрестилась и довольно злобно отреагировала:
— Тут все они такие. Нехристи! Никому верить нельзя, не на кого положиться!

— Таня, простите, вы замужем? — как бы невзначай спросил отец Александр.

— Нет. Но у меня ребенок от нелюбимого человека. Мальчик. У него церебральный паралич.

После обеда она повела нас в крепость-музей, где еще возвышался жалкий дворец эмира бухарского.

Там она первым делом показала нам зиндан — яму-тюрьму, накрытую дощатым настилом. Сверху когда-то была конюшня. Испражнения лошадей просачивались сквозь щели на головы узников... В получьи ямы можно было разглядеть манекены арестантов в рваных халатах.

Потом Таня повела нас через дворцовый двор поглядеть на гарем эмира. Во дворе стоял привязанный к столбу печальный верблюд. Возле него хищно дежурил фотограф.

Как мне показалось, отец Александр был не прочь увековечиться с верблюдом, заиметь столь экзотическое фото, но поскольку я решительно отказался фотографироваться, он пошел вместе со мной и Таней во дворец.

Внутренней лестницей мы взобрались наверх и вышли на балкон, откуда стал виден внутренний дворик, обрамленный трехэтажным извилистым зданием со множеством балкончиков.



—Гарем! — с отвращением указала Таня. — Заведовала гаремом мать эмира. Отсюда она с сыном выбирала одну из выходящих на балкончики жен.

— Сколько же их было? — спросил я.

— Несколько сотен. Представляете, какое количество детей...

— Думаю, у библейского царя Соломона было еще больше, — улыбнулся отец Александр. — Тогда это считалось престижным, в порядке вещей.

Вдруг он взглянул на Таню, спросил:

— Как зовут вашего мальчика?

— Миша, — оторопела она.

— Таня, давайте помолимся за Мишу и за вас! Для начала знаете «Отче наш»?

— А вы кто? — испугалась Таня.

— Священник.

...Мы стояли на балконе в одном из центров мусульманского мира, повторяли вслед за отцом Александром: «Отче наш, Который на небесах, да святится имя Твое...»

ГЕОГРАФИЯ. При произнесении этого слова у одних в мозгу возникает пестрая карта, у других — глубокий.

А я вижу каравеллу с тугими от ветра парусами.

Как скучно, что все на земле уже открыто! Если где еще и увидишь туземцев, они будут в джинсах и майках с надписью «кока-кола».

Земные расстояния съедены сверхзвуковыми самолетами, экспрессами железных дорог, скоростными автотрассами.

Притворяться первоходцами, зная по открыткам и документальным фильмам, куда придешь и что увидишь, — дурное занятие. Мир докатился до единого знаменателя глобализации. И там, куда ты пришел, натерев мозоли и отдуваясь, можно увидеть то же самое, что видел дома.



Короче говоря, географии — каюк. Земля изучена, придуман Север—Юг.

Но еще существует другая география. Терра инкогнита — белая карта человеческой души.

ГИТАРА. Испанская гитара в тяжелом футляре лежит высоко на шкафу.

Давно Марина не играла на ней.

Помнишь, как нам с тобой нравилось, когда она доставала ее из футляра, садилась в кресло, перебирала струны и сначала тихо, потом погромче начинала петь песенки, и ты ей подпевала. А я — никогда. Потому что у меня нет музыкального слуха. И еще потому, что с детства петь прилюдно мне почему-то всегда стыдно.

...Солнечное утро в итальянском городе Барлетта. Дон Донато вдруг останавливает автомобиль, в котором мы едем мимо обсаженного пальмами парка. Входит в какой-то магазин. Вскоре появляется оттуда с этой самой гитарой и вручает ее Марине.

Он был счастлив, как ребенок, делая этот дорогой подарок.

Теперь маму Марину, что называется, заела жизнь. Трудно ходить на работу, растить тебя, помогать мне.

Тебе уже восьмой год, и когда ты плещешься в ванной, я замечаю, что твое тельце все больше становится похожим на гитару...

ГНЕЗДО. Майским утром 1990 года я вышел с лейкой в лоджию полить висящие на ее стене орхидеи.

Этим растениям не требуется земля. Они произрастают в смеси измельченной сосновой коры и мха сфагnuma.

Неделю я не поливал их.



Сперва не заметил ничего необычного. Начал поливать разросшийся куст дендробиума нобиле, как вдруг увидел — на висящей повыше бамбуковой корзиночке с катлеей появилось что-то лишнее. Я привстал на цыпочки. Это было изящно сплетенное из надерганного в соседних корзиночках мха окружлое гнездо. И в нем лежало пять голубовато-белых яичек!

Я огляделся, ища глазами хозяев гнезда.

Московский двор был по-утреннему пуст. Возле припаркованных у подъездов машин шаркал метлой дворник. Даже воробьев и голубей не было видно. И только три вороны тяжело перелетали с дерева на дерево.

Я побоялся, что они доберутся до моей лоджии. Спешно полил все орхидеи за исключением той, где покоилось гнездо, убрался в комнату, закрыл за собой дверь и, забыв обо всех делах, стал следить через окно...

Довольно скоро из синевы небес к лоджии подлетела птичка. Совершенно черная, с длинным, как шило, клювиком.

Она спланировала на гнездо и стала невидима с того места, где я стоял.

Я тихонько приоткрыл дверь, выглянул. Из гнезда виднелась черная настороженная головка.

Я снова убрался в комнату. Наверняка это была самочка. С утра, должно быть, улетала куда-то перекусить.

Чтобы облегчить ей жизнь, я взял в кухонном буфете пригоршню пшена, раскрошил ломоть белого хлеба. Потихоньку вынес в мисочке в лоджию, поставил на кафельный пол.

Она не обращала на корм никакого внимания. В течение дня порой решительно выпархивала из гнезда, улетала, и я всякий раз боялся, что она однажды позабудет про отложенные ею яички и не вернется.

Но она возвращалась.





Так прошло два дня. На третий, под вечер, ко мне приехал с ночевкой отец Александр.

Я сразу рассказал ему о том, что происходит в лоджии.

— Покажите! — выдохнул он.

Когда я вывел его в лоджию, птицы на гнезде не было. Все пять яичек лежали на месте.

— Уходим, — тут же шепнул отец Александр.

Едва мы затворили за собой дверь, птичка вернулась.

— Красавица! — шепнул отец Александр. — Как вы думаете, кто это?

— Не знаю.

— И я что-то не узнаю. Нужно будет дома посмотреть в орнитологическом атласе.

За ужином я пожаловался, что птичка пренебрегла моим угощением.

— Значит, это не зерноядный, а насекомоядный вид. Вот она и отвлекается на ловлю разных москвичей. Вы ей помочь не можете. И не суйтесь лишний раз к гнезду. — Он улыбнулся. — Теперь вы, как папа, тоже несете ответственность за судьбу будущих птенцов.

Утром я застал его замершим у застекленной двери в лоджию. Навсегда остался в памяти его силуэт на фоне рассвета.

— Высиживает, — шепнул он. — Давайте помолимся!

Еще через день он позвонил мне из Пушкино, с огорчением сказал, что в его книгах не нашлось изображения нашей птички.

Наутро я застал в гнезде пять глотков с широко раскрытыми клювиками. Птенцы яростно пищали, взывая к матери.

Она то и дело подлетала, кормила их. Бог знает чем, и снова улетала в поисках корма.

Я позвонил отцу Александру поделиться новостью.

— Выберу время, специально приеду! — обрадовался он.





— Очень хочется взглянуть.

Птенцы подрастали на глазах, оперялись. Наступило утро, когда я вышел в лоджию, и гнездо оказалось пусто.

Именно в этот день приехал отец Александр — с фотоаппаратом, спакетиком какого-то корма, купленного в зоомагазине.

— Что ж, улетели... — сказал он со светлой печалью. — Добрый им путь!

Я снял гнездо с орхидеи, подарил отцу Александру.

...А в сентябре он погиб от руки убийцы.

ГОЛОД. Когда нас с мамой не станет, не дай тебе Бог, доченька, быть униженной голодом.

Пока что Господь от него бережет.

Но есть еще непреходящий голод на верного друга, на хорошую книгу, просто на открытую улыбку прохожего...

Верных друзей всегда мало, очень хороших книг на самом деле считанное количество. Что касается встречных людей, пойдешь по улице — взгляни сама...

Этот голод утоляется крайне редко.

ГОЛОС. Старушка осталась совсем одинокой. Внучка давно вышла замуж, уехала в Германию и ждала оттуда, когда бабушка наконец умрет, чтобы продать ее однокомнатную квартиру.

Все знакомые старушки померли. Ей, бывшей учительнице, не с кем было слова сказать. Разве что с кассиршой близайшего продуктового магазина. Кассирша — красотка с длинными, ярко наманикюренными ногтями — грубо швыряла ей сдачу и даже не отвечала на робкое «Добрый день».

Старушка сдачу никогда не пересчитывала, потому что видела так плохо, что и книжки свои не могла перечитывать.





«Такое, деточка, может случиться и с тобой, с каждым», — всякий раз думала она, потихоньку возвращаясь из похода в магазин.

Тянулись дни, месяцы. Никто никогда не звонил. И ей позвонить было некуда. А порой так хотелось услышать человеческий голос! Просто человеческий голос.

У нее был черно-белый телевизор, был радиоприемник «Спидола». Но со временем эти приборы испортились. При ее ничтожной пенсии и думать не приходилось о том, чтобы вызвать мастера, починить их.

Мертвая тишина застоялась в квартире.

Однажды вечером смолк даже тихий ход маятника древних напольных часов. Старушка подтянула гири и, чтобы узнать точное время, подслеповато набрала по телефону цифру юо.

— Точное время двадцать два часа сорок секунд, — произнес четкий, спокойный женский голос.

Старушка еще раз набрала цифру юо.

— Точное время двадцать два часа, одна минута, одиннадцать секунд.

Старушка понимала, что это записанный на пленку, как бы механический голос. С тех пор у нее вошло в привычку позванивать в службу времени.

Однажды вечером она сидела с поднятой телефонной трубкой, машинально набирала и набирала все тот же номер, думая о своей нетерпеливой внучке, о том, что та может приехать и насильно отвезти ее в дом престарелых, как в крематорий.

— Алло! Слушаю, — внезапно раздался в трубке мужской голос.

Старушка испугалась. Поняла, что случайно набрала чей-то чужой номер.

— Бога ради, извините меня. Я ошиблась.



—Ничего страшного,— ответил голос.— Со всеми бывает. Всего доброго!

С тех пор одно лишь воспоминание об этом мягкому, доброжелательном голосе спасало ее от беспросветного отчаяния.

ГОРБАЧЕВ. Михаилу Сергеевичу Горбачеву я лично очень обязан. Прежде всего тем, что благодаря этому не очень-то умелому, не очень последовательному политику я, как многие, все-таки хлебнул воздуха свободы. И конечно же тем, что лучшие мои книги были опубликованы.

Подумать только, Генеральный секретарь отважился изнутри взломать Систему! Каждую минуту его могли убить, расстерзать... Подозреваю, что ему просто некогда было подумать о смертельной опасности.

Недавно один дурак передал мне слух, будто по телевизору сообщили, что Горбачев умер.

Если бы ты знала, Ника, какую пустоту ощущил я в сердце!

ГОРЫ. Могло статься так, что на земле не оказалось бы гор.

Какое счастье, что они есть! На них можно хорошо смотреть. И с них смотреть хорошо.

Одно из ярчайших впечатлений— тот десяток дней, что я прожил на высоте 2400 метров в зоне альпийских лугов.

Опьянявший воздухом необыкновенной свежести, блуждал по краю пропастей, видел сверху хрустальные водопады, над которым парили орлы, видел, как постепенно понижаются вершины к далекому морю.

...А с моря, когда плывешь, видишь сквозь стаи кружящихся чаек: горы торжественно поднимаются перед тобой музикальным крешендо— все выше и выше.

Так и кажется, что по ним, как по ступеням, можно взойти к Богу. Но каким же для этого нужно быть великанином!





ГОСУДАРСТВО. Я всегда любил и люблю свою Родину. Несмотря ни на какие бедствия никуда от нее не уеду.

Но когда меня спрашивают: «Любишь ли ты наше государство?», задаюсь вопросом: «А оно меня любит?»

ГРАНАТ. Из всех фруктов мой самый любимый. Сок его красных зерен подобен вину. А до чего красиво цветут гранатовые деревья!

Частенько в продаже бывают очень крупные иноземные гранаты с бело-розовой шкуркой. Спелые до того, что с треском разламываются руками, обнажая внутри улыбку несчетного количества рядов крупных, красных как кровь граненых зерен.

Но самыми вкусными, потрясающими гранатами угожали меня в одном туркменском оазисе. После обеда хозяин привнес на блюде и поставил передо мной шесть плодов граната.

Зерна их были черные! Покрытые белыми кристалликами выступившего на поверхность сахара.

Я благоговейно, по зернышку, вкусила один гранат. Остальные решил увезти в Москву, чтобы угостить друзей.

Догадавшись о моем намерении, хозяин подарил мне цепкий мешок точно таких же плодов.

Потом я долго вез этот груз на автобусе до гостиницы в Ашхабаде, затем, через несколько дней — в аэропорт. Прилетев самолетом в Москву, взял такси.

Дома посадил несколько зерен в горшок с землей. Но из них ничего не выросло.

ГРАНИЦА. Ранним утром мы выехали на «газике» с упрятанной в джунглях пограничной заставы. Довольно скоро джунгли поредели, и мы оказались у края зыбучих песков пустыни Каракум. «Газик» встал. Дальше дороги не было.





Мой приятель вздел на спину объемистый рюкзак с чисто вымытыми стеклянными баночками из-под меда и мы, бросив машину, двинулись вперед пешим ходом.

Солнце только вставало. Дул холодный ветер.

Примерно через час перед нами возник проломанный гли-нобитный забор, за которым виднелись полуразрушенные постройки. Это была заброшенная чуть ли не с довоенных времен погранзастава.

— Осторожно. Здесь много змей,— предупредил приятель.

Длинное помещение без крыши, куда мы вошли, наверняка было когда-то казармой: рядами стояли железные оставы кроватей. Деревянный проломанный пол, замятенный песком пустыни, хранил следы ползучих тварей. У подоконника на стежь раскрытое окно с покосившейся рамой валялась оплетенная паутиной винтовка без затвора.

— Брось! Не трогай ее! — крикнул приятель.

Он одну за другой вынул из рюкзака свои баночки и принял ся с помощью длинного пинцета ловить скорпионов.

Здесь их почему-то было полно. Раз в год он добирался сюда на опасную охоту, чтобы потом в городской лаборатории «дочить» этих похожих на раков насекомых, получать ценнейший для медиков яд.

Потом мы перешли по бывшему двору к бывшей столовой с кухней. Первое, что я увидел, был лежащий на столе человеческий череп с дыркой в области виска.

— Это я его сюда занес,— сказал приятель.

Он приподнял череп, потряс им, и оттуда через дыру и глазницы выпало на стол несколько скорпионов с угрожающе заиленными хвостами.

— В дуле той винтовки тоже был экземпляр, правда, только один,— сказал он, ловко упрытывая каждого скорпиона в отдельную баночку и плотно завинчивая крышки.





—Что же его не захоронили, этого человека?—спросил я, глядя на череп.

—Захоронили. Ветрами из песка выдуло,—отозвался приятель.—Говорят, их было двенадцать, этих пограничников. Через границу прорвалась сотенная банда басмачей. Всех постреляли, порубили.

...Ни одной змеи я не заметил. Но и скорпионов с меня было достаточно. Хотелось поскорее покинуть мертвую заставу.

Когда она осталась за спиной, я увидел на горизонте караул верблюдов—длинный, как вечность. Должно быть вспугнутый ими, взмывал в ярко-синее небо орел. Для которого нет никаких границ.

ГУСИ. В подмосковном поселке Пушкино есть умирающая речка Серебрянка.

В сумерках под холодным октябрьским дождем я одиноко шел мимо деревянных домиков, уже дымивших печными трубами, мимо речки. Шел к железнодорожной станции. В стылом воздухе стояло предчувствие снега, долгой российской зимы.
—Теги! Теги! Теги!— послышалось издалека, с другого берега.

И я увидел девочку с хворостиной. Простоволосая, в летнем сарафане, она бежала к маленькой заводи, где среди увядшей водной растительности и мусора теснилась стайка гусей.

—Теги! Теги!—девочка понуждала их выйти из воды и отправиться с ней домой.

Я почему-то не мог двинуться дальше. Стоял и смотрел, как девочка и гуси скрываются в темноте. Дождь припустил. В окнах домишек сиротливо слезились огни.





Д

ДАО. Невидимое, оно везде и нигде. Оно есть, и его одновременно нет. Без него ничто не существует.

Ты спросишь: «Как это может быть?»

Подрастешь, прочти книжечку великого китайского мудреца Лао Цзы. Он жил несколько тысячелетий назад.

Говорят, однажды Лао Цзы ушел в далекие горы, и больше его никто никогда не встречал.

А я недавно увидел его во сне.

Он постоянно размышлял о Том, Кто все создал и вечно существует вне времени и пространства...

Если присмотреться к произведениям древней китайской живописи, там это Дао очень чувствуется. Невидимое присутствие Бога.

ДВОЕ. Венчаясь с твоей будущей мамой Мариной, я и предположить не мог, что довольно скоро, особенно после твоего рождения, мы оба до последней клеточки тела станем живой иллюстрацией библейской тайны: «Муж и жена — одна плоть».

Как ты знаешь, мы с Мариной очень разные — внешне, внутренне. Бывают конфликты, доходящие чуть не до рукопашной. Особенно по поводу твоего воспитания.

Да, мы с Мариной очень разные. Но эта разница подобна орлу и решке одной и той же монеты!

ДВОР. Валет, вздымая пыль, гонял с пацанвой мяч посреди двора и каждый раз, приближаясь ко мне, стоящему в воротах, обозначенных двумя кирпичами, напоминал: «Эй, вратарь! Готовься к бою. Часовым ты поставлен у ворот...»





Я был счастлив! Впервые меня допустили участвовать в этой волшебной игре. Правда, только потому, что больше никого не нашлось поставить в ворота. Мне было семь лет. Над двором стояло солнце 1937 года.

—Если пропустишь хоть один гол —убью!—прокричал Валет.

Я мотался между двух кирпичей. Следил за мячом. Пока что он ни разу даже не направился в мою сторону. Голы в ворота забивала наша команда, состоящая из десяти-двенадцати летних пареньков. Плюс я.

На высокой груде сосновых бревен, сложенный у каменного флигеля, на лавочках у моего деревянного дома восседала малышня и девчонки — болельщики. Среди них — Галка со свистком и будильником, следившая за временем матча.

Ужасно хотелось отличиться!

На мне, как у настоящего вратаря-голкипера по моде тех до-военных лет, была кепка, на руках — папины перчатки.

...Заслонив собой солнце, черный шар мяча летел в мою сторону. Я успел ухватить его. Но удар был такой силы, что меня вместе с мячом снесло внутрь ворот.

И началось! Я пропустил пять мячей, не отразив ни одного.

—Вредитель! Будем бить! —пообещал Валет под улюлюканье двора.

К этому моменту счет стал 5:5, ничейный. Галка привстала со своим будильником и свистком во рту. Игра подходила к концу.

Меня еще никто никогда не бил. Но страшнее было то, что больше наверняка не примут в игру.

Я не стал дожидаться свистка. Направился прямиком к дому.

С той минуты и до сих пор, сколько себя помню, ни в каких коллективных играх, тусовках, демонстрациях, партиях, любых объединениях толп не участвую.





ДЕНЬ. Он как год: утро – весна, середина его – лето, вечер – осень, ночь – зима...

Конечно же больше всего люблю утро. Чего не сделаешь с утра, толком не сделаешь за весь день.

Середина дня похожа на приключение. С какими только людьми не встретишься, где только не побываешь! Даже если в одиночестве моешь посуду или чистишь картошку – мысленно оказываешься в иных местах, иных мирах.

Вечером Господь дает счастье побывать с дочкой Никой. Попрощаться хорошую книгу.

Ночь действительно как зима. Долгая, особенно, когда пробуждаешься где-то в третьем часу и маешься до начала шестого, то слушая по радиоприемнику последние новости о все более ухудшающемся положении в мире, то подмерзая с дымящейся сигаретой у приоткрытой фрамуги.

Единственная надежда: утро обязательно должно наступить.

А вдруг однажды не наступит?

ДЕРЕВНЯ. Было в моей жизни времечко, когда я, начинающий корреспондент, шел по Руси из деревни в деревню, ничего не боясь, кроме собак, которые непременно встречали меня где-нибудь на пыльной околице и яростно облавливали.

Я начинал по-доброму разговаривать с ними и постепенно продвигался вперед. Чувствовал, как из подслеповатых оконшек за мной наблюдает местное население.

Обыкновенно входил в деревню под вечер, искал ночлега. Одно из драгоценнейших впечатлений о России: чем беднее была изба и люди, ее населяющие, тем радушнее они встречали незнакомого странника, тем сердечнее угождали своей нехитрой едой, устраивали на ночлег.

Я-то предпочитал спать на сеновале. Но меня укладывали





в избе, укрывали лоскутным одеялом или шинелью, пахнущей фронтом.

А когда через несколько дней я, приняв на себя очередной груз трагических колхозных историй, уходил дальше, все те же собаки, добродушно помахивая хвостами провожали меня как почетный эскорт.

Ни один из моих очерков на сельскую тему опубликован не был.

ДЕРЕВО. Знаю в Греции тропу среди карабкающихся по склонам холмов криво изогнутых оливковых деревьев, схожих с китайскими иероглифами.

В одном месте у края тропы — источник, обложенный старым мрамором.

Вода в источнике ключевая, всегда холодная.

Напившись из кружки, я всегда навещаю стоящую неподалеку разросшуюся оливу. Говорят, ей за тысячу лет! Хорошо постоять, прижавшись щекой к ее шершавому стволу. Точно так же, как ты молча прижимаешься к моему плечу, когда я работаю за столом. Постоишь минуту-другую и убегаешь.

Олива, как ты там? Держись!

ДЕТИ. Недавно мне доверили подержать на руках восьмимесчного младенца в комбинезончике. Когда мать сняла с него вязаную шапочку, я залюбовался идеальной, классической формой головки еще без единого волосика. Робко погладил.

Младенец настороженно зиркал на меня черными глазками, готовый, как мне казалось, зареветь.

Я рискнул дунуть на него, и он вдруг улыбнулся до ушей.

Одна эта доверчивая улыбка дороже всех сокровищ царя Соломона!

—Ай да малец! — восхищенно сказал я.





— Какой же это малец? — отозвалась мать. — Она девочка. Серафима.

...Страна ангелов, херувимов и серафимов существует совсем рядом — Страна детей.

ДОБРО. Многие по своему опыту знают, как часто в ответ на сделанное ими добро люди отвечают злом.

Эта закономерность особенно страшно проявилась во время земной жизни Христа. Его невероятная, беспримерная доброта возбуждала вокруг ненависть. Он ведал, чем все это кончится. Но продолжал творить чудеса милосердия.

С тех пор вдохновленный им людской род как будто устремился к добру. Вспомним хотя бы Ливингстона, Швейцера, мать Терезу, отца Александра Меня...

Но тут же всплывают в памяти безжалостные мучители человечества, устроители мировых боен, концлагерей, чьими именами не хочу изгаживать эту книгу

Чем больше в мире добра, тем больше вздымается сопротивление зла, подтверждает библейский Апокалипсис.

Таинственная закономерность. Призывающая к мужеству.

ДОГАДКА. Подумать только, Ника! Когда-то была голая земля, скалы, моря. Растения, птицы, звери. И больше ни-чего.

И вот появились люди.

Надо было захотеть без устали догадываться, как из этой малости создать все, что сегодня нас окружает. Догадка за догадкой...

Этих людей принято называть изобретателями, учеными, инженерами.

Но откуда приходят к ним их догадки? Древнегреческий философ Платон считал: где-то совсем близко, только в ином измерении, все уже существует в виде идей.





...Даже авторучка, которой я сейчас пишу эти строки, даже ее черная паста, даже лист бумаги — ничего этого нет в природе. Не говоря уже о космических спутниках.

Все это вырвано из небытия не столько в конечном итоге с помощью рассеянных в земле химических элементов, сколько усилиями человеческой мысли, ее догадкой.

О самом главном догадка еще впереди...

ДОЖДЬ. Этот дождь был мсье Дождь.

Ранним утром он прошелся вместе со мной по воскресному Парижу, который еще спал. Подождал, пока я, привлеченный запахом дымящейся бааранины и кофе, закусывал под навесом в арабском квартале.

Шел со мной по тротуару вдоль Итальянского бульвара.

Проплясал чечетку, пока я стоял под высоким балконом с открытой дверью, слушая, как кто-то играет на фортепиано Шопена.

Потом припустил было вдогонку, но я уже вошел в Нотр-Дам, где неожиданно оказалось очень много народа со всего мира. Я не стал ввинчиваться в толпу. Купил и поставил горящую свечу у маленького алтаря прямо напротив входа. Помянул отца Александра.

А когда вышел, увидел слепящее отражение солнца в мокрых автобусах, ожидающих туристские группы.

Париж оказался лучше, чем я читал о нем в знаменитых книгах.

А дождь, не дождавшись меня, уходил куда-то в сторону Булонского леса.

ДОМ. Теперь он непостижимо далек от меня, этот старинный каменный дом, но я часто посещаю его, мысленно отпираю железную калитку в бетонной ограде.





Если в том доме опять поселились люди, они могут периодически видеть меня в качестве привидения.

...Наискось пресекаю крохотный дворик, подхожу к двери нижнего этажа.

...В темноватой прихожей различаю амфору, белый мрамор кухонного стола у плиты и холодильника. Справа кладовка, впереди ванная. А я прохожу налево — в комнату с камином, где спал вот на той низкой тахте.

Впрочем, все это изображено в одной из моих книг, и я, бросив последний взгляд на старинный буфет с посудой за стеклами, на морской сундук у стены, выхожу наружу, чтобы взойти по двухмаршевой лестнице, как на капитанский мостик, на площадку второго этажа и отпереть верхнюю комнату.

Там почему-то всегда солнечно. Такой, во всяком случае, она остается в моей памяти.

У противоположной от входа стены круглый стол, за которым я каждое утро работал, если не уходил к морю ловить рыбу для пропитания. На столе все та же лампа, сварганенная из корабельного фонаря.

Слева — длинная приступка. Я всходил на нее к плите, чтобы сварить себе кофе.

Справа — два окна и стеклянная дверь на балкончик, откуда через крохотную, в пять шагов, безлюдную площадь рукой подать до могучего дерева неизвестной мне породы. За его ветвями — брошенный дом. Во время зимних бурь дверь обрушившегося балкона бьется, как крыло раненой птицы.

В одиночестве я прожил с видом из этих окон больше трех зимних месяцев. Но из всех мест, где мне довелось проводить дни и ночи, этот дом, расположенный на затерянном в Эгейском море греческом острове, навсегда стал подлинной частью меня.





Кажется, я до сих пор живу там. А то, что сейчас окружает меня, сон.

ДУРАК. Как известно, дураки бывают зимние и летние...

Зимний дурак — особо опасная, сбивающая с толку, непонятная особа. Потеряв бдительность, опрометчиво вступить с ним в разговор — все равно что нечаянно закурить сигарету со стороны фильтра.

Он накинется на тебя с настойчивыми вопросами, которые ему самому неинтересны. Он будет рассказывать несмешные анекдоты и при этом сам долго ржать.

Может довести до белого каления.

Иногда пытается у служить. Но что ему ни поручишь — сделает все не так. Если вообще сделает.

Вечно лечится от несуществующих болезней и навязывает разговоры на эту тему. Часто не уверен, застегнута ли у него ширинка.

От зимнего дурака можно спастись только бегством.

Летний дурак, как правило, безобиден. На всякий случай побаивается быть открытым, искренним. Думает, что он себе на уме. Иногда подвержен тику — кажется, что он некстати подмигивает. Крайне любознателен, но книг не читает. Зато, подбрав где-нибудь кроху знаний, с азартом излагает встречным и поперечным, все перепутывая и перевиная.

Обе разновидности дураков чаще всего не женаты, бездетны и живут в свое удовольствие.





E

ЕВАНГЕЛИЕ. На день рождения среди других подарков я с недоумением получил книжку в затрапанном переплете – Евангелие. Его принесла мамина знакомая Лена, подрабатывавшая пением в церковном хоре.

Я был школьником, подростком, и вот это загадочное произведение оказалось в моих руках.

Только потому, что мама предупредила, чтобы я никому не рассказывал о том, что Евангелие у нас есть, я принял его читать, спотыкаясь о церковнославянские термины и яти.

По ходу чтения сразу возникло множество вопросов. Задать их было некому. Позже узнал: это были вопросы, которые задают себе многие люди. «Сказка! – думал я. – Как это могло быть? Ну, предположим, давным-давно, за клубящейся тьмой веков появился кто-то, вздумавший назвать себя сыном Бога. Предположим, настолько ошеломил окружающих исцелениями и чудесами, что молва об этом в виде евангельских притч дошла до нас. Сколько было свидетелей этих чудес? Всего двенадцать малограмотных бедняков, которых потом называли апостолами. Ну, потом – еще сотня-другая свидетелей неслыханной доброты этого человека...»

Я откладывал Евангелие. Подолгу не дотрагивался до него. Но всегда помнил о присутствии этой книги.

Порой пытался представить себе – каково это, когда тебе в запястья и ступни вколачивают гвозди...

Не укладывалась эта история ни в сказку, ни в легенду. Смерть, воскресение и вознесение Христа – все это резко отличалось от мифических деяний Геракла, сказок Шахерезады...

Поговорить было не с кем. Родители были неверующими. Все вокруг были неверующими. Как-то, примерно через полгода,





когда та самая Лена снова пришла к нам в гости, я накинулся на нее со своими вопросами. Оказалось, ни на один ответить не может, ничего не знает. Посоветовала читать Псалтырь.

Стремление добраться до сути дела мучило невероятно. Однажды для храбрости зазвал с собой посетить храм одноклассника. Продержались мы там от силы минут двадцать. Старушки судорожно осеняли себя крестным знамением, утробным басом страшно реготал дьякон, пузатый поп в золоченой рясе расхаживал с кадилом под иконами.

Хорошо было от душного запаха горящих свечей выйти на свежий воздух.

«Но как же все-таки, — думал я, — благодаря такой жалкой горстке людей, которые не обладали никакой властью, которые перемерили после этих событий, христианство могло так распространиться по земле?».

Присутствие книги тревожило. Она становилась для меня чем-то большим, чем книга.

...В семнадцать лет, сдав выпускной экзамен по математике, майским утром я проснулся с чувством наступающей свободы от школы, счастья.

Хорошо помню, как лежал с руками, закинутыми за голову, смотрел в слепящую заоконную синеву. И внезапно увидел сияющую золотистую точку. Она приближалась, увеличивалась, обретала очертания человека. Да, человек в светящемся хитоне и сандалиях влетел сквозь стекло окна, встал на пол. И медленно прошел мимо меня, глядя прямо в глаза. В душу.

И я понял, Кто это.

Взгляд Христа был скорбен, испытующ.

Я напрягся. Помню до сих пор, как мгновенно затекли заложеные за голову руки.

А Он, не проронив не слова, уходил в стену, где висела карта земных полушарий.





И я понял, что не готов...

Только через много лет, в 1978 году, я впервые рассказал об этом посещении отцу Александру Меню. Он, не колеблясь, подтвердил: «Подобное происходит не так уж редко. И не только с вами. Это был Христос».

Вот тогда я крестился. Тогда понял, что просто обязан написать о том, что случилось, в своей книге «Здесь и теперь».

А на вопросы, которые я в юности задавал сам себе, есть один очень простой ответ, конечно, невыносимый для рационального, материалистического мышления: то, что случилось 2000 лет назад в Палестине, было чудом Божиим, осуществленным из любви к погрязшему во грехе человечеству, в надежде на его спасение.

Вот почему, когда речь заходит о вере, я говорю, что не верю, а знаю.

ЕВРЕЙ. Я родился и рос и не знал о том, что я еврей. Был просто одним из мальчишек московского довоенного двора, пока лет в 7 не услышал обращенный ко мне насмешливый вопрос Валета:

— Вовка, ты жид?

Странное слово сбило с толку. Я впервые услышал его.

С тех пор и до сегодняшнего дня жизнь грубо напоминает мне, кто я такой. Делает из меня еврея.

И теперь благодаря этому я с гордостью несу в себе, в своей крови пробужденную память о Библии, о Христе. Обо всем, что случилось с избранным народом Божиим...

Но и благодарную память о русском народе. Хотя бы за то, что он одарил меня языком, на котором я пишу сейчас эти строки.

ЕЛОЧКА. Ты тоже до сих пор помнишь то место за низкой оградой палисадника, где росла Елочка.





Я первым обратил внимание на нее зимой, катая тебя в коляске по нашему двору. Елочка была крохотная, едва выглядывала из-под снега.

Когда же ты научилась передвигаться самостоятельно, мы с тобой каждый раз по пути на прогулку приостанавливались против Елочки.

—Здравствуй, Елочка! — повторяла ты вслед за мной.

Ты росла. Росла и Елочка. Ее лапки были раскинуты в стороны, словно открывая объятия.

Летом вокруг нее цвели одуванчики, порхали бабочки. Зимние снегопады уже не могли скрыть ее задорно торчащую зеленую макушку.

Теперь уже ты первой говорила:

—Здравствуй, Елочка!

Перед двухтысячным годом, за день до праздника, ты вдруг вернулась, едва выйдя с мамой на утреннюю прогулку.

—Папа! Я не нашла нашу Елочку.

Сразу заподозрив неладное, я накинул пальто и вышел во двор.

Елочки не было. Стало ясно, ее кто-то безжалостно выдернул, чтобы поставить у новогоднего стола. Растения, как известно, не умеют кричать, звать на помощь.

К подъездам подкатывали автомобили. Их владельцы возвращались домой с подарками, едой и выпивкой.

Начиналось новое тысячелетие.

ЕСЕНИН. Не место рассказывать здесь о том, как меня занесло в раскаленный жарой азербайджанский поселок. До Каспийского моря было километров пять. До Баку — километров тридцать.

И я должен был провести тут среди унылых продавцов сморщеных, пересохших гранатов и подыхающих от зноя





собак с высунутыми языками целый месяц! В жизни не знал более безотрадного места.

И тем более неожиданной показалась мне вывеска у калитки одного из домов. Она извещала о том, что здесь находится музей поэта Есенина.

Само это имя было, как глоток родниковой воды.

Я толкнул калитку. Она оказалась не заперта. Вошел в сад. В глубине его возвышалась массивная дача дореволюционной постройки.

Восточная женщина, стряхнув с себя сонную одурь, продала мне билет и вызывалась показать экспозицию.

Я шел за ней по пустым комнатам, скучно обставленным старой мебелью. Слушал рассказ о бывшем хозяине дачи — то ли богатом купце, то ли нефтепромышленнике. «При чем тут Есенин?» — нетерпеливо думал я.

Но вот мы оказались в обширном помещении, вроде зала, с картинами и фотографиями. У одной из стен стояла широкая тахта, покрытая узорчатым ковром.

Экскурсовод принялась талдычить о том, что Есенин был великий русский поэт. Я это знал и без нее.

...Сергей Есенин всем своим творчеством, изломанной жизнью, может быть, сам того не сознавая, стал выразителем трагической судьбы русского крестьянства, замордованноговойной, революцией, сломом многовекового уклада патриархальной жизни.

Задрав голову, я смотрел на фотографию, запечатлевшую его в какой-то искусственной, вымученной позе с курительной трубкой возле рта. Чувство боли и жалости, видимо, выразилось на моем лице.

И экскурсовод вдруг решила поведать подлинную историю появления здесь Есенина. Оказалось, то ли в Москве, то ли в Питере он допился до белой горячки. Об этом узнал Ки-





ров — один из главных руководителей СССР, который любил его стихи.

Киров решил немедленно изолировать Есенина от прилипал-забулдыг, понимая, что пребывание в этих компаниях вконец загубит поэта. Киров связался по телефону с Чагиным — главным редактором русской бакинской газеты, сказал, что Есенин давно бредит какой-то Персией. И они разработали план спасения Есенина с помощью чекистов.

Поэт в мертвяцки пьяном состоянии был переправлен сначала в Баку, а потом на эту отнятую у богатея правительенную дачу. Когда Есенин начал наконец приходить в себя, ему внущили, что он в Персии.

Поэт возлежал на тахте и в счастливом недоумении хлопал глазами. А тут еще раскрылась дверь, и в залу одна за другой вплыли некие восточные гурии с бубнами и другими музыкальными инструментами, а также с подносами в руках, где стояли вазы с фруктами, виноградом...

И я увидел все то, о чем рассказывала экскурсовод. Ибо над тахтой висела большая картина, на которой были изображены входящие гурии, тахта с томно лежащим на ней Есениным.

Выпивки ему не давали, объяснив, что в Персии по мусульманскому закону спиртное запрещено под страхом смерти. Изолированный на даче, томящийся от безделья, поэт за несколько дней написал прекрасный цикл стихов «Персидские мотивы». А потом, заподозрив неладное, не выдержав неволи, ухитрился перелезть через забор. Сбежал в Баку, раздобыл там лист бумаги, крупно вывел на нем «Подайте великому поэту Есенину на проезд до Москвы!» Сел с этим возвзванием на тротуар у вокзала и стал собирать милостыню.

...Я бросил последний взгляд на картину, поблагодарил своего гида и тоже покинул пределы иллюзорной Персии.



Ж

ЖЕСТОКОСТЬ. Представь себе круглый, метра полтора в диаметре, красный абажур, довольно низко нависающий над пиршественным столом.

Красноватый свет озаряет лица и руки хозяев, многочисленных гостей, переполненные блюда, тарелки с едой, бутылки, бокалы.

Здесь в этот осенний день собралась компания родственников, друзей и коллег, чтобы в очередной раз почтить память умершего пять лет назад врача, моего приятеля. Он был замечательный человек, врач-реаниматор.

Собравшиеся преимущественно тоже реаниматоры, кардиологи, сдружившиеся семьями еще со студенческих времен. Все они очень хорошо относятся ко мне и моей спутнице Жанне, наперебой подкладывают угощение, поднимают за нас тосты. Мы единственные, кто не принадлежит к медицинскому сословию.

Этот дом находится всего в нескольких минутах ходьбы от моего. Так не хочется отчаливать от этого островка под старинным абажуром, но пришли новые гости, не хватает стульев. Мы поднимаемся и уходим. Тем более что Жанна жалуется: здесь душно, нечем дышать.

На улице смерклось. Горят фонари. Дождичек припечатывает пальцы листья к асфальту.

—Абажур похож на красный парашют,—говорит Жанна, когда мы подходим к моему подъезду,—до сих пор голова кружится. Немножко.

И вдруг она начинает оседать на тротуар, валиться.

Несмотря на охватившую меня панику, делаю ей искусственное дыхание, прошу у прохожего мобильный телефон,





дрожащими пальцами набираю номер только что покинутых друзей, вызываю «скорую», снова делаю искусственное дыхание, дую «рот в рот», оглядываясь — не бегут ли к нам реаниматоры, не едет ли «скорая».

Она подъехала через сорок минут, когда Жанна уже умерла от инфаркта.

А друзья-реаниматоры так и не появились. Видимо, не в силах были оторваться от своего стола под уютным, красным абажуром...

Так оно, оказывается, бывает на этой планете.

ЖИВОТНЫЕ. Мир животных пришел ко мне, дошкольнику, в виде богато иллюстрированного дореволюционного трехтомника Брема. Потом я пришел к ним в зоопарк.

Тогда и —до сих пор — больше всего поразил жираф. Более грациозного, более солнечного существа вымечтать невозможно!

Позже мне повезло повстречать на воле, в дикой природе, медведя, горных баранов-архаров, дикобраза, варана... Увидеть, как из кустов шумно выпархивает цветной радугой фазан.

Никого из них я не убивал. Никто из них меня не укусил, не ужалил.

Если, как утверждают экологи, вскоре в результате деятельности человека животные могут исчезнуть с лица земли, то я не хочу этой цивилизации, этого «прогресса» с осклабившейся харей Микки Мауса на майке.

ЖИЗНЬ. Жил в Англии очень толковый человек — Фридрих Энгельс, которого я уважаю прежде всего за то, что он постоянно помогал деньгами своему другу Карлу Генриховичу Марксу, в то время как тот, обремененный семейством и фу-



рункулами, сидел и писал свой огромный труд «Капитал».

Энгельс, в свою очередь, тоже писал научные книги. По-своему интересные. Странно только, что в одной из них этот умный человек утверждает, будто «жизнь есть форма существования белковых тел».

Это мы-то есть всего-навсего белковые тела? А кто же в нас мыслит?!

И еще он ухитрился додуматься до самого печального утверждения, какое мне приходилось слышать: «Жить – значит умирать».

...Бедный Фридрих, вы же не могли не прочесть Евангелия. Тайна жизни осталась для вас за семью печатями.





3

ЗАБОТА. Заботиться о ком-то другом — хорошо. Это отвлекает от мыслей о собственной персоне. Не замыкаешься в скорлупе эгоизма.

А еще лучше, когда помогаешь втайне, и тот, кому стараешься помочь, не догадывается, откуда пришла помощь.

Самое удивительное — в этом случае помочь внезапно придет и к тебе...

ЗАВИСТЬ. Знаю, он до сих пор мне завидует. Это он-то, который, как теперь говорят, всю жизнь был успешным. Все шло к нему — деньги, ордена, слава.

И тем более он издалека следил за мной, окольными путями узнавал о моих неудачах и бедствиях.

Дело в том, что в определенные времена стыдно, нехорошо быть успешным. Если власть тебя принимает за своего — плохо твое дело...

В конце концов он эмигрировал в поисках еще большей, мировой успешности. А я остался на Родине.

Теперь он завидует еще сильнее. Подсыпает людей из заграницы. С их помощью разыскивает мои книги.

Может быть, эта зависть необходима ему, как горючее для двигателя. А скорее всего это извращенная форма большой совести.

Признаться, я тоже в некотором смысле завистник. С юности завидую морякам.

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ. Неизвестный мне злодей, губитель невинных душ отбывает пожизненное заключение в какой-то особой тюрьме.





Вроде бы его не за что жалеть, но покоя не дает мысль о том, что вот сейчас влачится его существование без будущего, без проблеска надежды.

Почему порой представляется, будто не он, а я смотрю сквозь оконную решетку на клочок неба?

ЗАЛИВ. Слева — вдающийся в море скалистый, покрытый зеленью, мыс. Справа — такой же, только повыше.

По утрам с мысов доносится пение птиц.

Изогнутая дуга залива напряжена, как лук. Помедлишь, стоя по щиколотку в пляжном песке, и стрелой вонзаешься в спокойную, защищенную от ветров синеву. Плынешь по прямой, постепенно наращивая скорость.

И вот выплываешь в открытое море. Пение птиц доносится и сюда.

ЗАМЫСЕЛ. О каждом человеке существует некий замысел Божий. Но как его распознать?

Обычно смотрят в будущее, пытаясь провидеть, что ждет впереди.

Это неправильно. Необходимо оглянуться назад, на то, что с тобой происходило, и ты довольно быстро различишь свой главный Путь и все те случаи, когда ты с него явно сбивался. Генеральное направление на карте твоей жизни пропустит, станет очевидным.

Теперь, обладая такой картой, можно попробовать глянуть и в собственное будущее.

ЗЕМЛЯ. Вперяясь в звездное небо, пытаясь постичь тайны космоса, мы позабыли о не менее ошеломляющем чуде.

Достаточно опустить взгляд и увидеть под ногами невзрачный, рассыпчатый слой темноватых комочеков — землю. Если





бы не этот довольно тонкий слой, из которого растут все леса, все травы, все сады, все сельскохозяйственные культуры, чем бы питалось все поголовье животных, от которых мы получаем молоко, шерсть, говядину, баранину, свинину? Где находили бы себе корм птицы? Как бы мы жили без цветов?

Гигантская плодотворная сила, незримо таящаяся в земле, непостижима не меньше космоса. Без нее некому было бы смотреть на звезды.

ЗЕРКАЛО. Старинное, очень древнее зеркало в темно-коричневой деревянной оправе висит в моей комнате между секретером и книжными полками. Редко кто в него смотрится. Нетускнеющая, хрустальная глубина, кажется, таит в себе воздух девятнадцатого века со сменяющимися отражениями моих предков со стороны мамы.

Как порой хотелось бы вызвать из этой глубины их отражения! Взглянуть в глаза, попробовать выдержать их испытующий взгляд.

Кроме этого зеркала, от них ничего не осталось.

Ну, и кроме нас с тобой, Ника.

ЗИМА.

Вороны каркают — к дождю.
Совсем стемнело.
Деревья гнутся на корню
от беспредела.
Пройдут дожди. Повалит снег.
В окно заглянет белый негр
предвестьем стужи.
Но доживешь до Рождества,
а там, глядишь, свои права
теряет Ужас.





ЗНАНИЕ. Он думает, что знает все обо всем.

С годами обзавелся очками, модной небритостью, компьютером, цитатами на все случаи жизни, язвительной улыбкой всезнайки.

Если молчит — молчит многозначительно.

Любит поразглагольствовать о политике, религии, психоанализе и уж конечно о модернизме-постмодернизме. Порой ощущение внутренней пустоты подкатывает словно изжога. В этом предчувствии духовной катастрофы — единственная надежда на его спасение.

Но он принимает таблетки от колита, гастрита — болезней, характерных для замкнутых на себе людей мертвого, книжного знания.





И

ИГРА. Я бесшумно полз по росистой траве, мимо стволов высоких елей, огибая густой, колючий подлесок.

Если бы меня заметили, я был бы «убит». Ибо у нас в подмосковном пионерлагере началась военная игра—сражение между «красными» и «синими».

У меня выше локтя была повязка синего цвета. Я был назначен разведчиком. Должен был найти три фанерные стрелки, указывающие местонахождение штаба «противника». Их еще вчера рассредоточил по лесу наш военрук—инвалид войны.

Настоящая война кончилась лишь недавно, и нам, мальчишкам, хотелось хоть в игре дорваться до того, чем обделил возраст,—до битвы с врагом, пусть условным. Убитым считался тот, у кого сдерут повязку.

Я полз, чувствовал далеко за спиной своих. А где-то впереди таился противник. Со своими разведчиками. И я боялся, что меня «убьют» в самом начале игры.

Похрустывали подо мной опавшие ветки. Какая-то крупная птица шумно выпорхнула из кустов.

Первая фанерная стрелка лежала на поверхности замшелого пня, пахнущего грибами. Она указывала направо—в сторону просвещивающей сквозь чащу поляны.

Сменив направление, я пополз к этому открытому, освещенному солнцем месту, где меня могли легко заметить. Еще издали в прогале между елей я увидел посреди поляны холмик и подумал, что вторая стрела, наверное, находится там.

Подбираясь поближе к краю поляны, неожиданно уперся локтями во что-то твердое и холодное. Это была полуоткрытая травой и землей пробитая каска, на дне которой скопилось немного тухлой воды. Если бы не эта вода, я бы нахлобучил ее на голову.





Холмик на поляне зыбко шевелился, охваченный маревом какого-то движения. Он был похож на мираж.

Я подполз ближе.

Впервые в упор увидел муравейник. Аккуратный склон его был грубо нарушен торчащей стрелой. Чтобы разглядеть, куда именно она указывает, необходимо было привстать. Только я начал приподниматься, как в чаще послышался шорох.

Я распластался, вжавшись в землю, покрытую хвоей.

Возможно, это был порыв ветра, а может быть, в отдалении пробежал кто-то из «красных». На всякий случай я затаился... Перед моими глазами двумя потоками сновали муравьишки, одни в сторону муравейника, другие от него.

Меня поразила их целеустремленность. Все эти крохотные существа были заняты делом. Кто, выбиваясь из сил, волок к муравейнику крыло стрекозы, кто — былинку. Два муравья дружно тащили лепесток ромашки.

Те же, кто бежал от муравейника, спешно уносили куда-то белые яички-коконы.

Этот маленький народ совсем не боялся меня, Гулливером вторгшегося в их царство.

Дела муравьев были серьезными, настоящими. И мне вдруг показалось постыдным участвовать в дурацкой военной игре.

Я осторожно перевернулся на спину и сразу увидел на обступивших поляну елях какие-то красивые штучки, повисшие на проводах. Каждая из них, похожая на большую юлу, заманчиво блестела в свете солнечных лучей. Я бы не смог достать до самой нижней из них.

Только я поднялся, чтобы попробовать влезть на колючее дерево, как ко мне с гиканьем подбежали «красные», сорвали повязку.

И лишь это «убийство» спасло меня от настоящей гибели.





Как объяснил потом военрук, на ветках висели сброшенные во время войны с самолета, какие-то особые мины.

ИКРА. Уж не знаю, какое судно, мимоходом остановившись на рейде Шикотана, отгрузило для местного магазинчика партию ящиков с бутылками пива.

Это было «Жигулевское» из Владивостока, с далекого материка! Новость мгновенно распространилась по острову, и я раскошелился — купил аж два ящика для команды сейнера «Юрий Гагарин», на котором часто выходил то в Охотское море, то в Тихий океан на ночной лов сайры.

На рассвете после нескольких суток успешного промысла мы собирались ложиться на обратный курс, когда в ходовую рубку, где я находился рядом со штурвальным и капитаном Дмитрием Ивановичем Кавайкиным, вошел заспанный радиост.

Он протянул капитану радиограмму. Ее текст гласил: «По разведданным у вас на борту «Жигулевское». Предлагаем махнуться: ящик пива на ведро икры. Можем подойти через четверть часа. Артюхов».

— Капитан пограничного катера, — пояснил Дмитрий Иванович. — Мы еще бутылки не откупорили, а они уже прознали. Ну, что дадим?

— Вы здесь главный, — ответил я, приглядываясь к яркой точке на экране локатора.

— Они уже вот они, — улыбнулся Кавайкин. — Невтерпеж. Вконец одичали. Что ж, ладно, дадим один ящик.

И радиост отправился в радиорубку отбивать ответ.

Вслед за Кавайкиным я вышел наружу. С высоты капитанского мостика без локатора и бинокля виднелось мчащееся к нам по серой поверхности вод черное суденышко.

— Холодно, — сказал Кавайкин. — Вернись, надень бушлат.





Но я стоял, держался за покрытые росой ледяные поручни.
Мы стопорили ход.

Ежась от утреннего ветерка, я думал о том, что все окружающее меня сейчас—океан, судно, его ставшая родной команда—все станет миражом, воспоминанием точно так же, как отсюда казалась миражом моя московская жизнь, и соединить эти миры можно, только если я когда-нибудь о них напишу. То есть когда из их сплава в душе возникнет что-то третье...

Подчаливший катерок заглушил ход—сверху он казался просто моторной лодкой, правда, с государственным флагом на корме и спаренными пулеметами на носу.

Наши рыбаки быстро опустили на канате с крюком картонный ящик с пивом. Потом пограничники надежно примотали к крюку дужку эмалированно ведра, полного красной икры.
— В другой раз верните тару!—напомнил снизу военный моряк.

Запрокинутые лица были такими подетски счастливыми, словно пограничники получили сказочный клад.

Катерок взревел двигателем, описал дугу вокруг нашего судна и вскоре превратился в исчезающую черную точку.

— Всем, кроме вахтенных, завтракать!—провозгласил Кавайкин по судовой радио.

В тепле кают-компании нас было человек двенадцать, сидевших друг против друга за длинным столом. Намазывали сливочным маслом ломти хлеба, поочередно накладывали поверх красную икру нежнейшего посола.

Пиво Кавайкин во время рейса запретил. Сказал, что отведем душу вечером, когда вернемся и сдадим улов на рыбозавод.

— Черпай ложкой,—посоветовал он.—Ел когда-нибудь икру ложкой?

— Нет,—ответил я, запивая очередной бутерброд сладким чаепром,— Мне и так хорошо.





ИМПЕРИЯ. Оказалось, я чуть не всю жизнь прожил в империи! Ну и дела...

Что бы ни талдычили теперь политики и политологи, мой московский дом был всегда родным для всех друзей, кто приезжал из Киева, Минска, Еревана, Душанбе, Вильнюса, Ашхабада, Тбилиси... И меня в любое время с братским гостеприимством принимали в этих краях. Дружба помогала нам всем переносить самые тяжелые испытания.

Теперь нас насилино разделили границами, таможнями.

Ворошу старые записные книжки, набираю один за другим номера телефонов.

Гудки. Нет ответа.

Что случилось с нашим разноязычным, бескорыстным братством? Куда исчезли дорогие мне люди?

Чистое золото нашей дружбы было единственной реальной ценностью, созданной во времена Советского Союза.

ИМЯ. Существует некая мистика имени.

Замечено, если человек меняет свое имя или фамилию, он несколько изменяется сам. Недаром в монастырях людям, становящимся на путь монашества, дают новое имя.

Характерно, что Сталин и Гитлер отреклись от своих подлинных фамилий.

ИНЕРЦИЯ. Многие живут по инерции. День да ночь — сутки прочь.

Многие женятся, выходят замуж по инерции.

Убежден, что и умирают по инерции. Потому что «так принято».

ИНТЕРНЕТ. Пройдет еще немного времени, интернет станет совсем привычен. Как телефон, как наручные часы.





Теперь я со своим электронным адресом доступен любому человеку, живущему на земном шаре. И те, у кого есть подобный адрес, тоже мне доступны. Поверх всех границ и запретов. Марина получает послания, связывает меня хоть с Калифорнией, хоть с Австралией, хоть с поселком в Псковской области.

При этой роскошной возможности всемирного общения сам я в силу различных причин за компьютер никогда не сажусь. И прежде всего оттого, что не могу до конца понять природу его подозрительного могущества. Так до сих пор никто толком не может до конца объяснить, не понимает природу электрического тока.

ИСПУТ. Мальчиком лет пяти я испытал испуг, запомнившийся на всю жизнь.

Проснулся от тихого, зловещего скрипа и в полутьме комнаты вижу — сама собой приоткрывается дверь одежного шкафа.

Не было сил позвать родителей. Парализованный страхом пялился — кто сейчас вылезет и набросится...

Детская фантазия порой дорисовывает непонятное до масштабов вселенского ужаса.

С тех пор я вроде бы забыл о тогдашнем перепуге.

Но вот уже достаточно взрослым парнем однажды осенью оказался в командировке в районном центре Нечерноземья. Поселился в Доме колхозника на отшибе от городка.

Хотя только начинался октябрь, стоял лютый холод. Отопление не работало. Буфета не было. К вечеру выяснилось — нет электричества.

Спать не хотелось. Я не знал, куда себя деть.

Дежурная посоветовала пойти в сельский клуб на последний сеанс кино. Указала на смутно видневшуюся в сумраке единственную тропинку через бескрайний пустырь.





Кусты чертополоха хватали меня за полы плаща. Пустырю конца не было. Пройдя в одиночестве километра полтора, я увидел скособоченное здание, возле которого светился электрический фонарь.

Это и был клуб. Уплатил за билет, вошел в стрекочущую темноту помещения, где уже смотрели фильм человек семь.

Фильм был плохой. Но я досмотрел до конца, тяготясь перспективой вернуться в гостиницу.

Когда я вышел наружу, в темноте накрапывал дождь. Тропинка смутно проглядывала среди бугров и дикой растительности пустыря. Теперь мне хотелось поскорей вернуться в гостиницу, уткнуться под одеялом и заснуть, чтобы заглушить в себе чувство голода, а утром ринуться в городок на поиски какой-нибудь столовой.

Я быстро продвигался вперед, как вдруг что-то заставило меня приостановиться. Вдалеке, почти у самой земли в этом безжизненном пространстве пульсировала красная точка — то наливалась кровавым цветом, то почти исчезала.

Я сделал еще несколько шагов и замер. Вот тут я и узнал, что это такое, когда волосы встают дыбом. Тут-то и вспомнился, казалось бы, забытый детский ужас. Нечто черное, с непомерно большими ушами угадывалось чуть выше адского глаза циклопа. Глаз дернулся, совершил полуодугу.

«Волк? — лихорадочно подумал я. — Но у волков два глаза... Или черт? Сколько у чертей глаз?»

Красная точка продолжала зловеще пульсировать.

Ничего не оставалось, кроме как отчаянно рвануть вперед. То ли от скорости, то ли от испуга заколотилось сердце.

В тот момент, когда я проносился мимо красной, вздыхающей точки, до меня донесся запах махорки, я увидел краем глаза какающегого под кустом чертополоха мужика. С горящей сигаркой во рту.





K

КАПРИЗ. Многим людям порой хотелось бы покапризничать. Просто хоть немного покапризничать.

...Старик, которому во что бы то ни стало хочется ириску.

Усталая женщина, которой никто никогда не дарил цветы.

Да некому выслушать их каприз. Некому побаловать, хотя бы погладить по голове, утешить. Чем старше становится человек, тем больше он внутренне одинок. Давно нет ни мамы, ни папы, которые любили, прощали и жалели. А может быть, не любили, не прощали и не жалели.

Как странно, что большинство скupo на ласку.

Пусть нас с Мариной иногда упрекают в потакании капризам нашей Ники. Не наказываем ее, не вдалбливаем прописные истины. Мы-то знаем, что ты, наша девочка, сама уже умеешь любить, прощать и жалеть.

КАЮТА. Из всех жилищ, какие я знаю, лучшее – корабельная каюта.

Никаких излишеств. Койка, столик у иллюминатора, шкаф для одежды, рукомойник с зеркалом.

Засыпаешь под тихую музыку каких-то металлических деталей, позвякивающих в унисон работе судового двигателя. Нет для меня лучшей колыбельной.

Просыпаешься, а в иллюминаторе иные воды, иные берега. И выходишь из тесноты каюты на простор палубы.

Как-то я участвовал в перегоне судна по системе каналов из Черного моря в Питер. Никогда больше мне так не работалось, не писалось, как во время того долгого рейса.

Ощущение воли – вот, пожалуй, главное, что дает такая жизнь на воде.





Но все рейсы рано или поздно кончаются.

Однажды, шляясь Парижем, я вышел к одному из протоков Сены в районе Булонского леса. Под сенью деревьев, наглоухо пришвартованные к берегу, стояли баржи, бывшие катера, превращенные в жилища. На них, как на обычных домах виднелись номера, висели почтовые ящики.

Цветущие петуны и бегонии свешивались из открытых иллюминаторов. В вазонах на палубах цвели кусты роз.

Девочка со школьным ранцем за плечами спускалась по сходням к себе домой. На корме одной из барж в тени сохнувшего на веревке белья сидел в кресле старик и ловил удочкой рыбу.

О, как я позавидовал этим обитателям кают!

КВН. Мой друг Алик, легкий, веселый человек, вместе с двумя друзьями придумал телевизионную игру — Клуб Веселых и Находчивых. Сокращенно — КВН.

Действие это сначала снимали на пленку и лишь потом, после цензуры-редактуры, оно попадало на телеэкраны страны.

Съемки происходили в одном из московских клубов. И я, приглашенный Аликом, разок побывал там в качестве зрителя. Сидел среди счастливых родственников и друзей устроителей, так и норовивших ненароком попасть в кадр, чтобы потом увидеть в телевизоре самих себя.

Веселящиеся на сцене команды парней и девушек состоялись в остроумии. Многие шутники действительно были и веселы и находчивы. Нетрудно было предвидеть: эта развлекательная передача завоюет экран на долгие годы.

Но что-то, какая-то червоточина, таящаяся в зрелище, с самого начала томила душу. Сам не мог понять, отчего мне стыдно присутствовать при этой съемке. Позже, видя КВН по телевизору, я ужаснулся растущему от передачи к передаче



культу хихиканья. Достаточно взрослые студенты с их привычками и пританцовками, с заранее вызубренными остротами, придумывались резвящимися школьниками. Особенно мерзко выглядели среди них шаловливые дяди, порой лысые. Нанятые профессиональные Актер Актерычи.

Хуже нет разрешенного свыше, отрепетированного юмора.

Мой друг Алик давно умер. К счастью, не видит, во что превратилось его детище.

КИНО. По-моему, это случилось после смерти Федерико Феллини. С утратой этого величайшего художника смолкла последняя нота щемящей нежности к человеку.

Кино стало такой же одуряющей развлечаловкой, как «попса», орущая с эстрады и экранов телевизоров.

Какое счастье, что, окончив Высшие режиссерские курсы, я не стал кинорежиссером, не вlip в киноиндустрию!

Единственная надежда на то, что техника, похоже, идет к тому, что вскоре появятся простые и дешевые аппараты, с помощью которых можно будет без особых затрат снимать и монтировать собственные фильмы. Не только документальные, но и художественные.

Абсолютно независимый от больших денег и больших студий человек сможет реализовать свой замысел.

Настоящие, революционные картины появляются, лишь когда режиссер постигает великий закон экономии художественных средств. То есть он вынужден создавать новый, максимально выразительный язык. Если ему есть что сказать.

КЛИМАТ. Чуть ли не с младенчества я вообразил себя помощником Солнца, борцом с зимой.

Помню, как уже года в три отломал от водосточной трубы сосульку, изо всех сил дул на нее, «чтобы скорее растаяла».





Чуть позже с такой же целью сгребал деревянной лопаткой снег в весеннюю лужу.

Зимой в любую погоду я по воле родителей должен был хоть немного погулять.

Ощущимо щиплющий за уши и нос мороз, от которого вдобавок стыли руки и ноги, был непонятным, злобным невидимкой.

Он был могуч и страшен, как огромная ледяная Голова из «Руслана и Людмилы». Голова возвышалась, кажется, в парке Сокольники, куда мама году в 1935 завезла меня покататься на санках с ледяных горок.

До войны бывали настолько окаянные зимы, что я своими глазами видел упавших на землю замерзших воробышков. Одного из них отогрел в ладонях.

Школьником я раздобыл учебник астрономии для старших классов. Пытался разобраться во взаимоотношении Солнца и Земли. И даже что-то такое изобретал, чтобы установить круглогодичное, равномерное освещение всей поверхности нашей планеты солнечными лучами.

Став взрослым, я поневоле смирился. Но и климат отчетливо потеплел. Подозреваю, что в этом отчасти оказались и усиления таких же, как я, детишек.

КНИГА. Эта книга движется от одной буквы алфавита к другой, от слова к слову.

Чем дольше я пишу, тем чаще замечаю: пестрое многообразие моих историй вступает между собой в таинственное взаимодействие — то в отдаленное, косвенное, то в близкое, прямое.

Дело не только в том, что книгу пишет один и тот же человек. Истории сами собой умножаются на неизвестный мне множитель.





Этот феномен не входил в мой скромный замысел, и я диву даюсь, глядя на то, как оно все теперь получается.

В данный момент я нахожусь примерно посередине пути и сам с интересом наблюдаю, в какой узор складывается этот кажущийся хаотичным калейдоскоп жизни.

КОСМОС. Сумасшедший наворот галактик в черноте космоса с адом горящих солнц, взрывающимися звездами, столкновениями метеоритов... Этот запредельный гул, вероятно, могильно безмолвен для человеческого уха.

Впервые покидая пределы нашей Солнечной системы, разглядев напоследок убывающую точку Земли, космонавты, заключенные в межзвездной космической капсуле, наверняка не раз содрогнутся, пожалеют в душе о том, что решились...

Эфемерная ниточка радиосвязи с Землей — вот и все, что до поры будет поддерживать летящих в неизвестность среди ледяной немоты космической ночи.

Зачем существует леденящая душу бесконечность? Зачем под немую «музыку сфер» кружатся в ней по своим орбитам угрюмые звездные гиганты?

...А затем, чтобы несоизмеримый с этой мощью микроскопический человек познавал Неизвестное силой своего божественного разума. Который в конечном итоге безбрежнее бесконечного космоса.

КОСТЕР. Зарядивший перед рассветом дождь моросил над островком, над белесой поверхностью озера, над обступившей его лесной глухоманью.

Я весь измок под единственной на острове сосенкой. У меня не было ни палатки, ни плаща. Предыдущие дни моих одиночных странствий были напоены солнцем. И я легкомысленно подбил единственного встреченного обитателя брошенной





карельской деревни—хмурого старика—за бутылку водки перевезти меня с удочками на своем членоке к этому клочку суши среди озерных вод.

Мы уговорились, что он вернется за мной через сутки к трем часам дня.

—А колбаски к водке у тебя не найдется?—спросил он, перед тем как отплыть.

Я без разговоров вынул из рюкзака и протянул ему початую палку сухой колбасы.

В рюкзаке оставался зачерствелый хлеб, банка тушеник, кусковой сахар, соль, не считая жестянной кружки, котелка и банки с земляными червями для наживки.

Я был уверен, что вечерней зорькой и утром вполне обеспечу себя рыбой. Хватит и на уху, и на то, чтобы запечь рыбу на углях.

Ничто не предвещало ненастия. Вечер выдался тихим, теплым. Мне удалось выловить на живца двух щучек и одного судака. Большего и не нужно было. Я почистил и выпотрошил улов, обмыл в прибрежной воде и припрятал до утра под слоем свежей травы.

Потом насобирал сухих веточек, кусочков коры и уже в сумерках разжег свой одинокий костер. Поужинал тушеникой с хлебом, вскипятил чаю в железной кружке.

Странствия мои подходили к концу. Я рассчитывал через день-другой добраться до ближайшей железнодорожной станции, чтобы сесть в поезд и вернуться в Москву, где меня не ждало ничего хорошего.

Я затоптал костер, лег у корней сосенки на сухой бугорок, подложив под голову рюкзак. Долго не мог заснуть.

А под утро проснулся оттого, что заморосил дождь.

И вот теперь я сидел в промокшой ковбойке под сосенкой и пытался снова развести костер.



Жалкое топливо—щепочки, веточки с хвоей—все стало мокрым. Спички гасли одна за другой. Как назло, задул ветер—холодный, резкий.

Было лишь начало седьмого утра. До трех оставалось около девяти часов. Да и то не было уверенности, что мой перевозчик прибудет вовремя, если вообще прибудет. Начало познавать. В отсыревшем коробке трепыхалась последняя спичка. Я уже понимал, что костра не разжечь, но зачем-то берег эту спичку как последнюю надежду. Неизвестно на что.

Порывы ветра парусили стеной ливня, гнали по озеру волну.

Мне ничего не оставалось кроме как без конца поглядывать на вяло ползущую часовую стрелку и думать о том, какова меньшая вероятность заполучить воспаление легких: если я останусь дрожать на острове в безнадежном ожидании или брошусь в озерную воду, прихватив рюкзак и удочки, и поплычу к далекому берегу, где есть хотя бы брошенная деревня с ее черными, покосившимися избами.

«Надо решаться,—подгонял я себя.—Старик вообще не приедет. Никто никому не нужен. Никому нельзя верить».

У меня уже зуб на зуб не попадал. Дрожащими руками я уложил в рюкзак вчерашний улов. Шагнул к воде выкинуть оставшихся червей.

И увидел сквозь сетку дождя движущийся челнок.

—У нас тут севера,—сказал старик, забирая меня вместе с моим хозяйством.—Я бы раньше пригреб, да с вечера только теперь проспался после твоей водки. Тут на четверть осталось. Глотни!

КОСТЫЛИ. Он и его жена попытались всучить мне деньги, расцеловали. Я сурово остановил этот поток благодарности. Захлопнул за ними дверь. Вернулся из прихожей в комнату. И рухнул на стул у письменного стола.





Дело не только в том, что я устал как собака.

Как всегда в подобных случаях, я не понимал, почему произошло чудо.

С 1976 года через эту комнату прошли сотни больных.

Многих из них удалось вылечить. Не мог до конца понять, каким образом это получается. Что происходит с больными, когда я, молясь про себя и воздействуя на пораженный участок тела энергией, исходящей из моих ладоней, лечу человека. И что в это время происходит со мной?

Все псевдонаучные брошюры на эту тему, вся экзотерическая литература в конечном итоге ничего не объясняли. Только морочили голову болтовней об ауре и энергетике.

Особенно разителен был сегодняшний случай.

...Не знаю, каким образом они вышли на меня, узнали номер моего телефона.

В последние годы я очень много пишу. Первая половина дня — драгоценное для меня время. И целительство, как я давно заметил, наиболее эффективно тоже в первую половину дня. До того как солнце достигнет зенита — видно оно или скрыто за облаками.

Вот почему приходится ограничивать поток больных.

Вот почему после того, что произошло, о работе думать уже не приходилось.

Правда, и случай уникальный. Пока что единственный в моей практике.

Первый секретарь посольства России в одной западноевропейской стране, как выяснилось, большой любитель баскетбола, во время одной из тренировочных игр в спортивном зале при этом самом посольстве внезапно потерял способность двигаться, вообще стоять на ногах, обезножел.

Там, в этой стране, были задействованы лучшие врачи. Он лежал в лучшей клинике. Не помогали ни лекарства, ни мас-





саж, ни иглотерапия. Кончилось тем, что этот сравнительно молодой, спортивного сложения человек вышел оттуда инвалидом на костылях.

И вот он вернулся на родину. Был обследован специалистами. Подвергался новым методам лечения. И все без толку. Зашла речь об операции на позвоночнике. Да и то без особой уверенности нейрохирургов в ее эффективности.

Именно в случаях, когда медицина оказывается бессильна, больные попадают ко мне. Приволакивают заключения консилиумов, результаты анализов, рентгеновские снимки. Изучать все это с ученым видом — значит притворяться. Я ведь не врач.

У меня совсем иной подход, иной взгляд на больного и его проблему. Принято называть это интуицией. Не знаю. Мне кажется этим словом просто загораживаются от еще не познанного.

Сегодняшний пациент, который покорно стоял передо мной на костылях, в то время как его жена встревоженно следила за движениями моих рук, вдруг произнес:

— Что-то щелкнуло.

— В пояснице? — спросил я.

— Да. — Отставьте кости! — приказал я.

— Сделайте шаг, не бойтесь. В случае чего поддержу.

И он у меня сначала робко, а потом все уверенней зашагал.

Они ушли. А я все сижу, выдохшийся.

Утро пропало. Пора приниматься за будничные, хозяйствственные дела. Ника придет из школы. Нужно сварить ей супчик, почистить картошку.

Встаю, чтобы пойти на кухню. И вижу — прислоненные к книжным полкам, стоят кости.

Хватаю их.

Сколько прошло времени? Пять минут? Час?





Выбегаю с костылями в лоджию. Вижу сверху двор. Еще не уехали. Смеются, разговаривают, садятся в свой автомобиль.—Заберите!—задираю костили над собой.—Зачем вы их оставили?

Все, кто идет по двору, поднимают головы.

КОФЕ. До чего же досадно, Ника, что тебе не выпал случай познакомиться с этим человеком! Возможно, увидев его, ты бы в первую минуту испугалась, оробела. Зато, чуть пообщавшись, очаровалась бы им—чудом природы. Но в ту пору, когда мы довольно часто встречались, тебя еще на свете не было.

Непонятно, с какой целью жизнь относит людей друг от друга. Я уже много лет назад потерял его из вида. Несколько раз пытался дозвониться.

Мне отвечали, что теперь этот номер телефона принадлежит другому абоненту.

Помню, как он впервые захотел прийти ко мне в гости. До этого я бывал у него. Видел, как он ловко карабкается по стулу-стремянке, усаживается к своему рабочему столу, тесно уставленному сложнейшими электронными приборами из института Курчатова. Он их довольно шустро диагностировал с помощью тестеров и чинил. Чем зарабатывал на пропитание своей жене с ребенком и себе.

Да, у него были и жена и ребенок. В отличие от него, вполне обычные люди.

Его звали Володя. Единственное, что меня раздражало,—он работать не мог, если в комнате не громыхали с кассет и дисков разные «хеви-металл» и прочая рок-музыка.

Однажды днем он позвонил. Сказал, что обалдел от работы, хочет приехать ко мне, поболтать за чашкой кофе. Спросил, что купить по дороге.

—Ничего,—ответил я.



Я не очень-то представлял, как он передвигается по городу, ходит в магазин.

— Все-таки что купить? — настаивал Володя. — У вас есть кофе?

— Нет. Но ничего страшного. Заварю хорошего чаю.

В те годы с кофе в Москве были проблемы. Банку растворимого кофе можно было получить только в «заказе».

Ожидая Володю, я волновался. Сострояпал кое-какое угешение. Заварил в своем самом красивом японском чайнике индийский чай.

Общаясь с Володей, я часто ловил себя на том, что впадаю в какой-то фальшивый бодряческий тон. Из-за этого злился на себя. Поэтому каждая встреча с ним становилась для меня испытанием. Он это, несомненно, чувствовал. И оттого, что он это чувствовал, на душе становилось еще тяжелее.

«Сможет ли он дотянуться до кнопки звонка?» — подумал я и заранее открыл входную дверь квартиры.

Чем дольше я ждал Володю, тем большее волнение охватывало меня. Пытался представить себя на его месте. Как все без исключения пляются... Сколько с детства, с юности уходит у него душевных сил на то, чтобы держаться уверенно, независимо, как бы наравне со всеми другими людьми.

Наконец лязгнул лифт. Я вышел навстречу.

— Удача! — Володя как колобок вкатился в квартиру, на ходу сбрасывая с плеча широкий ремень сумки. — Ого, какие высокие потолки! Сколько комнат? Две? Где ваша кухня?

Он забегал по комнатам на своих коротеных ножках. Нашел кухню. Опустил на стул сумку. С торжеством выхватил из нее два бумажных пакета. В них оказалось два сорта кофе в зернах — колумбийский и мокко. Зерна замечательно пахли заморскими странами.

— Давайте скорей смелем и сварим по-турецки. В джезве. У вас есть джезва?





— Есть. Только кофемолка давно сломалась.

— Где она? Ташите сюда.

Я направился в кладовку отыскивать электрокофемолку. И пока я там обследовал полки, было слышно — он, по-детски счастливый, рассказывает по телефону своей жене о том, как в поисках кофе заехал в Елисеевский магазин. И там продавали кофе! По 200 грамм на человека. Он храбро прорвался в ногах у длиннейшей очереди к прилавку. И ему нехотя позволили купить кофе. А он попросил еще 200 грамм другого сорта. Очередь взороптала. И тогда он сломил ее возмущение возгласом: «А это не для меня — для Файнберга!»

Пока они тщились понять, кто такой Файнберг, Володя был таков.

Я отыскал кофемолку. Володя попросил принести имеющиеся у меня инструменты. Он чинил, а я думал о том, что этого человечка, карлика, запросто могли бы избить, обидеть. Если бы не его обезоруживающая правдивость, искренность.

Потом, намолов зерен, мы пили кофе по-восточному. Очень крепкий, очень сладкий, чуть приправленный корицей.

У меня имелась водка. Но спиртного Володе было нельзя. ...Между прочим, Ника, ты его все-таки видела! Это он, Володя, сыграл когда-то в фильме «Руслан и Людмила» летящего по воздуху карлу. Помнишь?

КУЛЬТУРА. Я знаю высококультурных людей, обладающих даром непреходящего уважения к человеку, зверю, к зеленой травинке. Вместе с Маяковским они могли бы сказать: «Мельчайшая пылинка живого ценнее всего, что я сделаю или сделал».

Эти люди часто бедны, порой малообразованы. Их тем больше, чем дальше они живут от столиц.

Им не довелось учиться в университетах, бывать в музеях, в консерваториях.





Знаю омерзительных хамов-всезнаек, у которых всегда наготове имеются цитаты на все случаи жизни и прежде всего—для оправдания лютого эгоизма. Они непременные посетители театральных премьер, vernisажей, книжных выставок.

Слышу, как мне говорят: «Ты путаешь духовность с культурой».

Не волнуйтесь! Если из культуры вычесть духовность, оставшееся называется другим словом...





Л

ЛАСТОЧКА. Она залетела на эту страницу из моего давнего стихотворения. Ласточка попала в него прямо слету, когда, обдав теплой волной живого воздуха, промчалась мимо под низкий навес терраски к гнезду, где попискивали птенцы.

Она то вылетала на ловлю мошек, то возвращалась, и пока мы со старым седобородым хозяином дома пили зеленый чай из пиал, беседуя на философские темы, я все время чувствовал, что мешаю ей заниматься более важным делом.

Старик периодически делал успокаивающий знак ладонью — мол, не бери в голову, все хорошо.

...Этот цветущий гранатовый сад у терраски, над которым виднелись отроги Памира, эта ласточка, это журчание арычной воды...

— Скажи, думаешь, есть смысл жизни? — спросил старик.

Что я мог ему ответить?

Ласточка снова пролетела мимо моего плеча.

ЛЕНЬ. Устрою-ка я себе день лени! Приустал от этой книги.

Отложу авторучку. Полью как следует все свои цветы, подкормлю минеральными удобрениями. Кое-кого давно пора пересадить.

...Цветет одна из лучших моих орхидей — фаленопсис с большими розовыми цветами. Свисают с веточек гроздья красных цветов лианы бугенвиллеи. Около ста растений. Провозился с ними несколько часов.

Звонит со службы Марина.

— Как ты там? Работаешь?

Стыдно признаться, что нет. Не успел положить трубку — снова звонок.





Какой-то читатель моих сочинений спрашивает, когда выйдет в свет новая книга?

А мне самому неведомо.

Говорят, будет молиться о том, чтобы все мои книги были изданы.

Можно ли после этого устраивать себе день лени?

Беру авторучку. Какое у нас следующее слово?

ЛЕТО. Страна лета кажется в детстве огромной. Больше, чем год.

Нет, не, кажется. Так оно и было.

Что произошло со мной? Или со временем?

Сегодня на календаре 21 июня. Вроде бы только недавно установилось настояще тепло, ощутимо увеличился световой день. И вот через несколько суток он начнет убывать...

Сейчас ты на даче. Уже видела в лесу зацветающую землянику, первые грибы. Помогаешь дачной хозяйке пропалывать огород. Побывала на речке, на пруду. Учишься кататься на двухколесном велосипеде. Подражая мне, написала рассказ под названием «Дача».

...Длинное время — семилетней девочке. Короткое время — мое.

ЛИМОН. Приятель несколько лет подряд приглашал приехать к нему в гости в Тбилиси.

А когда я в конце концов собрался и прибыл, он, встретив меня под вечер в аэропорту, сообщил, что вынужден сегодня же уехать в командировку. На месяц.

— Не огорчайся, — сказал он, усаживая меня в машину, — Мог бы отвезти тебя в свою квартиру, но там тебе будет одиноко. Лучше я отвезу тебя к своей маме Маргарите Васильевне. Поживешь у нее.





Так я с бухты-барахты попал в квартиру дотоле неизвестного мне человека.

—Будем кушать баклажаны с сыром, пить кофе и знакомиться,—сказала очень пожилая худощавая женщина с папиросой во рту.—Если начнете зажиматься, стесняться и так далее и тому подобное, мне станет скучно. Хотите выпить? Где-то припрятано немножко коньяка. Сейчас принесу.

Мы сидели на кухне. Книг на подоконнике, на полках было больше, чем кухонной утвари.

Я уже знал, что она профессор местного университета, лингвист.

—Пожалуй, я и сама с вами выпью,—сказала Маргарита Васильевна, возвращаясь из глубины квартиры с початой бутылкой коньяка.—Сын говорил, вы уже посещали наш город?

—На сутки. Очень давно.

—Значит, не знаете Тбилиси!—обрадовалась она.—Сейчас кончается экзаменационная сессия. Освобожусь—покажу вам такой Тбилиси, какого никогда не узнают приезжие.

Она угостила меня ужином, отвела в предназначенную для меня комнату большой квартиры. Как-то весело запустелой.

За те дни, пока она была занята в университете, я набродился по проспекту Руставели, посетил выставку моего любимого художника Пирсмани, прокатился на фуникулере, заглянул в заведение «Воды Логидзе», где испробовал знаменитый лимонад.

Город, в котором у тебя нет друга, вообще ни одного знакомого человека, становится скучен и лишь подчеркивает твоё одиночество. Поэтому я рад был возвращаться вечерами, прикупив по дороге кое-какой провизии.

По утрам, да и перед сном она ничего не ела. Чашка кофе и папироса. Зато с удовольствием готовила для меня. Очень вкусно!



Наконец студентов распустили на каникулы. И мать моего приятеля сообщила:

— Завтра с утра отправимся в путешествие по Тбилиси. А вы сами чего еще не успели увидеть, куда хотели бы попасть в первую очередь?

— В Ботанический сад.

Она несколько удивилась, даже пришла в замешательство.

— Прекрасно. Я и сама там никогда не была.

В тот день мы посетили Ботанический сад, неожиданно бедный, неухоженный; совершили длинную прогулку вдоль живописной, но мелководной Куры, а затем нырнули в чудесные кварталы старого города, где у Маргариты Васильевны было полно подруг. И всюду она затачивала меня в гости. Нас уговаривали все тем же кофе. А также непременными грузинскими песнями и русскими романсами под гитару или фортепиано.

К концу дня мы оказались в мастерской художника. Застали там большое сообщество пирующих молодых живописцев и поэтов.

Вечер прошел весело.

Но когда уже в темноте мы вернулись домой, увидели — на лестничной площадке, привалясь к двери, сидит старый, небритый человек с узелком в руках.

— Марго, — произнес он, с трудом приподнимая веки, — мне нехорошо.

Глаза у него были синие.

— Какого черта не звонил?! Где тебя носило? — Маргарита Васильевна кинулась к нему, с моей помощью переволокла в квартиру.

Там мы уложили его на тахту.

— Полюбуйтесь! — сказала Маргарита Васильевна. — Это Вахтанг. Развелась с ним пятнадцать лет назад. Приносит постирать грязное белье. И просит выпить.





—Умираю,—заявил старик. Вид у него был неважный.

—Не обращайте внимания. Притворяется. Сейчас будет просять выпивки.

—Не прошу выпивки. Прошу рюмку коньяка. С кусочком лимона... Если не глотну коньяка — умру.

—Ну скажите, что с ним делать? За что Бог послал мне этого алкоголика?

Я не знал, что и сказать. В конце концов, это был отец моего приятеля.

—В доме нет выпивки, нет лимона,—сухово сообщила Маргарита Васильевна, впрочем, взглянув на часы.

—Можно пойду и куплю? —робко спросил я.—Куда? Начало первого ночи. Все закрыто.—Она тяжело вздохнула.—Ладно! У нас кажется, осталось чуть-чуть коньяка...

—А лимон? —тут же напомнил Вахтанг.—Марго, мечтаю о глотке коньяка с лимоном. Иначе умру.

—Умирай, шантажист!

Маргарита Васильевна вывела меня в переднюю. Позвонила по телефону. И через минуту я шпарил ночным проулком к какому-то соседу, который выращивал лимонные деревца в своем садике.

Он уже стоял, одетый в пижаму, у калитки...

Я шел обратно в теплой тбилисской ночи, поминутно поднося к лицу и вдыхая нежный запах свежесорванного лимона.

ЛИТЕРАТУРА. Существуют миллионы, если не миллиарды изданных сочинений.

На самом деле хороших книг мало. Мало кому есть что сказать нового, значительного.

Мир очень быстро меняется. И одновременно остается все тем же, что и в библейские времена.





Как подать руку одинокому человеку, заблудившемуся среди одиноких людей? Как наиболее просто и доверительно показать ему, что он вовсе не одинок?

Людей приучили убивать время за чтением псевдолитературы. Убивать время своей жизни.

Поразительно, даже читая очень хорошую книгу, многие, развращенные детективами, триллерами и тому подобной чушью, бездумно следят за сюжетом и в упор не видят того, о чем, собственно, книга написана. Так, к примеру, читая «Робинзона Крузо», большинство ухитряется не заметить, что в романе рассказано прежде всего о том, как Робинзон приводит Пятницу к Богу!

ЛОДКА. Хорошая просмоленная лодка, особенно если она килевая, если весла ее легки и не высакивают из уключин,— это счастье.

Сливаешься с ней. Движешься по вольному морю, по извилистым речкам. Сам себе всадник и конь.

Единственное, с чем не могу примириться, что гребешь, сидя спиной к направлению движения.

Как жизнь. Все время видишь прошлое, а чтобы увидеть, что тебя ждет впереди, приходится выворачивать голову.

ЛОЖЬ. Сознательно сказанное лживое слово—яд, который прежде всего отравляет лжеца. Если же человек лжет себе, малодушно боясь взглянуть правде в глаза,—это еще более губительный яд.

Ложь подобна ядовитой твари всегда таящейся внутри человека. Даже великие праведники чувствовали это в себе.

ЛЮБОВЬ. Не всякого ближнего я умею любить, как самого себя. Далеко мне до этой высочайшей планки.





Сам же все время ощущаю Божью любовь, которая приходит через людей...

Неоплатный должник, как я хотел бы, Ника, чтобы чувство теплой дланi Божьей, покоящейся на макушке, досталось и тебе.

Ты подрастешь. Начнутся первые увлечения. Грянет первая любовь.

Теперь, похоже, мир пал до уровня Содома и Гоморры. Синонимом слова «любовь» становится мерзкое «секс».

Высочайшее, что даровано человеку, распято посредством телевидения, порнофильмов, дискотек, рекламы противозачаточных средств. Любовь — как лягушка, препарированная на столе физиолога.

Господи! Как же мне любить и прощать гаденьких гомосексуалистов, лесбиянок, всех тех, кто не любит, а «занимается любовью»?!

ЛЮДИ. С годами я понял: другие люди, мужчины и женщины, молодые или старые, тем более дети — это тот же я. Вот в чем секрет всех чудес — телепатии, чтения мыслей. В том числе и целительства.





M

МАРИНА. Твоя мама и моя жена Марина—одно из самых загадочных существ, каких я встречал в жизни.

Суди сама. Как это можно, нигде никогда специально не обучаясь, в совершенстве уметь говорить, читать и писать по-итальянски?

Это еще не самое удивительное.

Я дорожу возможностью и одновременно побаиваюсь, как мальчишка, показывать ей то, что мною вчера написано. Марина обладает непостижимым даром мгновенно и совершенно точно улавливать мельчайший промах моей мысли, слова.

Мало того. Если я поставлен в тупик ее неожиданными и справедливыми замечаниями, она без особых раздумий, слету предлагает свой вариант поправок. Всегда замечательный.

Откуда эти высшие редакторские способности? Ведь ей не довелось получить ни филологического, вообще никакого образования.

Я уж не говорю о том, что ты и без меня знаешь—о ее непостижимой доброте. Ласку никогда не заходящего солнца Марине ощущаем не только мы.

Все.

МАРЛЕН ДИТРИХ. Узнав, что я составляю «Словарь для Ники», мой друг Родион сообщил, будто такого рода произведение уже существует. И написано оно довольно давно Марлен Дитрих—знаменитой немецкой певицей и киноактрисой.

Я несколько заволновался, потому что не позволяю себеходить по чужому следу.





Вскоре книга об этой диве с фотографиями, подробным жизнеописанием лежала передо мной на столе. Я, конечно, начал читать с конца, где напечатана ее «Азбука моей жизни».

Оказалось, на закате своей бурной деятельности Марлен Дитрих заделалась добродетельной бабушкой. По алфавиту стала перечислять рецепты блюд, которыми потчевала внуков. А также записывала глубокомысленные изречения, вроде: «Сандвич. Незаменим для того, кто привык есть на ходу».

И я было успокоился. Пока не узнал из биографии, что одно время за Марлен Дитрих ухлестывал Гитлер. Безнадежно, по ее словам. Но когда началась Вторая мировая война, эмигрировавшая в Америку дива решила вернуться в Германию, чтобы снова встретиться с извергом и ценою любовных ласк отвратить его от дальнейших кровавых замыслов.

При всем том, что я содрогнулся, прочитав об этой затее, все-таки подумал: «Вдруг бы получилось...»

МАСКА. Полюбить Венецию легко. Кто только не любил Венецию с ее несколько мишурной красотой!

Свежим летним утром мы с Мариной, приплыв на катере из Лидо ди Езоло, прокатились туда-сюда по Гранд-каналу, покормили голубей на площади возле невыразимо красивого собора святого Марка, сфотографировали друг друга. И потянулись было встать в хвост длиннейшей очереди туристов, стремившихся осмотреть собор изнутри, как ощутили, что теряем себя; что подчиняемся зловещему гипнозу толпы, как бы заставляющей нас исполнить весь положенный ритуал.

Мы ушли.

Я натратил денег, угощая себя и Марину в расположеннном под открытым небом полупустом кафе на площади у дворца дожей, где большой оркестр как по заказу играл мои любимые мелодии.



Казалось, гипноз ослабевал. Освободив себя от обязательства бегать по приснопамятными местам, мы провели в этом кафе много времени, пока не наступил срок идти на железнодорожный вокзал, сесть в поезд Венеция—Флоренция.

Слаб человек. Вздумали, как все, напоследок купить какой-нибудь сувенир. В бесчисленных магазинах и киосках было полно яркой чепухи. В том числе знаменитых карнавальных масок. Ни одна из них нам не понравилась. Все-таки выбрали вроде бы красивую черную с позолотой полумаску. Сунули в дорожную сумку.

И лишь дома в Москве примерили. Зеркало по очереди отразило наши ставшими зловещими лица. Не лица, а личины.

МАСТЕР. Огромный заскорузлый старик, он был краснодеревщиком высшей квалификации. Работал в мастерских Большого театра.

Свободное время этот бывший солдат морской пехоты, раненный во время войны под Севастополем, почему-то посвящал чтению ученых трудов о российской истории. Не ленился топать за ними в библиотеки

Поговорить ему было не с кем. Поэтому он иногда заходил ко мне. Спрашивал: «Володя, есть что починить?»

Починить всегда что-нибудь находилось. Мастер на все руки, он своими толстыми, казалось, негнувшимися пальцами медлительно управлялся хоть с отверткой, хоть с молотком.

Поработав с удовольствием, опрокидывал стопарик водки, закусывал бутербродом и сообщал что-нибудь историческое: — Екатерина Великая была развратное вещество.

Когда я его видел или думал о нем, натыкался на некую тайну, загадку. Все время казалось, что этот одинокий человек, мастер как рыба на сушке находится вне своей среды. То ли крестьянской, то ли прибыл со страниц сочинений Толстого.





Однажды я спросил: читал ли он «Войну и мир»? Что думает о Платоне Каракаеве?

— Толстой был Лев! Хотел бы с ним поговорить. Да он тебе такие слова Петра Первого скажет!...

МАЯКОВСКИЙ. Масштаб его личности, его творчества таков, что соизмерим не с одним лишь XX веком.

Маяковский, несомненно, был человек будущего. Которое, может быть, никогда не наступит.

Как странно, что я знал его маму Александру Алексеевну, даже, смею сказать, успел подружиться с ней.

Если что-то хорошее есть в моих стихах или прозе, этим я обязан прежде всего ему.

МЕЛОДИЯ. Она возникает всегда неожиданно.

Не обладая музыкальным слухом, не зная нотной грамоты, я не способен ее воспроизвести.

То кажется, что она звучит из далекого детства, то откуда-то из будущего...

Быть может, вся эта книга — попытка хотя бы косвенным образом передать ее тебе.

МЕНЬ. Вот ведь, Ника, какая беда у нас с тобой. Убили отца Александра. За семь лет до твоего рождения.

Как бы он радовался тебе!

Мои воспоминания о нем выдержали пять изданий.

Я собрал здесь некоторые высказывания самого отца Александра, сбереженные в памяти других людей. И сам тоже кое-что вспомнил.

1.

В 1978 году, в начале нашего знакомства, отец Александр предупредил:



—А вы знаете, что со мной опасно общаться? Следят органы, с подозрением относится церковное начальство. Считается, что я агент Запада. Диссиденты, наоборот, поговаривают, что я — генерал КГБ. Не меньше! Почему, мол, их сажают, а меня еще нет?

Он стоял один на семи ветрах.

Когда началась «перестройка», повеяло ветром свободы, он мне неустанно повторял:

—Торопитесь! Пишите! Нужно успеть издать. Все это может в любой момент кончиться...

2.

Одна женщина спросила: как он относится к диссидентскому движению?

Отец Александр ответил:

—Я хорошо отношусь к диссидентам. Но это не наш путь. Наш путь другой. Главная наша задача — измениться изнутри. Никакие внешние изменения ни к чему не приведут.

3.

Одного священника-диссidenta посадили в тюрьму.

В кабинетике отца Александра группа верующих стала обсуждать событие. Кто-то попросил батюшку проанализировать эту вроде бы сомнительную для священника деятельность.

Отец Александр поднялся из-за стола, ответил, выделяя каждый слог:

—Я сво-их дру-зей не ана-ли-зи-ру-ю!

4.

Твою будущую крестную Соню Рукову отец Александр долго готовил к крещению, давал соответствующую литературу. Однажды дал изданную в Брюсселе книгу «Магизм и единобожие» написанную неким Эммануилом Светловым.





Прочитав ее, Соня приехала в Новую Деревню, стала просить отца Александра познакомить с мудрецом, сказала, что готова поехать куда угодно, чтобы иметь возможность поговорить с автором, хотя бы увидеть его.

В конце концов, отец Александр взял ее за руку, произнес, лунаясь улыбкой:

— Сонечка, да ведь это я...

5.

Человек тяжело заболел, попал в онкоцентр. У него уже было критическое состояние, температура 42 градуса... Отец Александр приехал, пробился к дверям реанимационного отделения, крикнул:

— Саша, не умирай! Не сдавайся!

И это спасло его.

6.

Девушка прочла книгу отца Александра «Сын человеческий». Уверовала. Крестилась.

Через несколько лет оказалась в Троице-Сергиевой лавре, на исповеди у старца рассказывала о роли, которую сыграла в ее жизни книга Александра Меня.

— Еретик! — заявил старец. И наложил запрет на чтение его книг.

7.

Женщина совсем молоденькой крестилась у него. Потом уехала летом на Украину. Долго там пробыла.

Вернулась беременная. Без мужа. С уже большим животом. От стыда и горя была готова на самое страшное. Перед тем как совершить самоубийство, приехала в храм.

Упала на колени. Заливаясь слезами, исповедалась отцу Александру.

Он поднял ее, крепко обнял за плечи. С жаром сказал:

— Будет ребенок! Это же прекрасно!

Вырвал из отчаяния к жизни.



8.

Другой женщине попали в руки сочинения американского священника Серафима Роуза—религиозного фанатика, из-увера, запугивающего читателей адскими муками.

Отец Александр сказал:

— Ему не разрешили сжигать людей на костре, так он своими книжками их сжигает...

9.

В церковь к батюшке явился некий странный архимандрит, весь увешанный поверх рясы крестами, цепочками, какой-то блестящей мишурой.

После службы отец Александр направился с ним к остановке, чтобы вместе поехать на станцию. Автобус пришел переполненный. Едва влезли.

Архимандрит ворчал.

— Что делать? — улыбнулся отец Александр. — Ослика нам не подают...

10.

Пришло время, когда многие стали просить благословения у отца Александра на отъезд за границу. Он им говорил:

— Уезжать не имеет смысла. Потому что перемена места не решает внутренних проблем. Выросшее растение с большими корнями плохо переносит пересадку в чужую почву.

11.

Одна прихожанка все реже посещала храм. При встрече отец Александр сказал ей:

— Предположим, вы хотите научиться играть на пианино. Но как я вас могу научить, если вы так редко приезжаете?

12.

Другая женщина, в очередной раз не поехав в церковь, позже сообщила, что постоянно видит его во сне и все благополучно обсуждает.



—Это дьявол,—сказал отец Александр.

—Правда?

—Правда.

13.

Прихожанин возмущенно рассказал отцу Александру о том, что увидел на свадьбе как какая-то старушка подходит с подносом ко всем гостям, собирает деньги для молодых.

—Что же в этом плохого?—ответил батюшка.—Молодожены в деньгах очень нуждаются. Я даже хочу записать кассету для нашей молодежи, где был бы расписан весь порядок свадьбы. Включая сбор денег.

14.

Отец Александр как-то спросил у Сони Руковой:

—Знаете, какой самый большой дефицит, чего больше всего не хватает сейчас нашей интеллигенции?

—Любви?

—Нет. Благоговения. Мы не понимаем, что когда берем в руки Священное писание—берем в руки Самого Бога.

15.

Джазовый трубач Олег Степурко рассказал батюшке о том, как его знакомый музыкант в паузах между номерами с восторгом проповедует Христа посетителям ресторана.

—Пьяным проповедовать бессмысленно. Они утром проснутся и все забудут.

16.

Олег как-то приехал на исповедь очень удрученный. Накануне повздорил с женой, даже стукнул ее.

—Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя поднимать руку ни на мать, ни на жену,—сказал отец Александр.

17.

Сопровождаемый тем же Олегом, он шел по просеке в Новой Деревне. Навстречу не шла, летела какая-то красивая девушка





ка.—Восьмое марта!—с восхищением сказал отец Александр.— Восьмое марта...

18.

Соне Руковой, когда она на исповеди призналась, что очень боится смерти, посоветовал:

—Постоянно повторяй в такие минуты: «Иисусе, Боже сердца моего, приди и соедини меня с Тобою навеки!»

19.

Французская монахиня Клер познакомилась с отцом Александром в 1975 году. Как-то раз в беседе с ним посочувствовала тому, как трудное ему приходится. Батюшка ответил:

—О, знаете, если бы мы делали все, что возможно делать в таких условиях, это было бы очень много! А мы не делаем даже того, что возможно.

Однажды он пригласил ее на молитвенное собрание. Там были православные, протестанты. Отец Александр говорил о вселенской церкви, о том, что разница между конфессиями происходит от разницы культур, ни от чего больше. Был счастлив, когда молились все вместе.

20.

На исходе жаркого дня я сидел с ним в чайхане на самаркандском базаре, пили зеленый чай.

Отец Александр вдруг спросил:

—Каким был самый счастливый день вашей жизни?

Я постеснялся признаться, что именно этот, когда я находился вместе с ним. Задумался. Затем сказал:

—Когда впервые вышел на гребной лодке в море... А вы когда были счастливы?

—Всякий раз, когда служу в алтаре.

21.

В последние годы жизни он не раз предлагал мне написать вместе сценарий фильма о Христе.





—Вот закончите роман, я довершу Библейский словарь. Да-
вайте напишем!

А вышло так, что, обливаясь кровью, он прошел в одиноче-
стве свой крестный путь...

МИЛЫЙ. Это ребенок может быть милым, симпатичным.
Или детеныш животного. Например, щенок, слоненок.

Быть «милым» искусству противопоказано.

Существует «милая» музыка, которую я называю пищевари-
тельной.

«Милые» стишкы.

«Милая» гладкопись авторов, не открывающих ничего ново-
го, не будящих мысль читателя.

Можно ли назвать произведения А. И. Солженицына «ми-
лыми»?

Или живопись Ван Гога?

МОДА. По мне лучшее, что придумано человечеством в об-
ласти одежды — это не изыски модных кутюрье со всеми их
«претапорте», «от кутюр», и тому подобными пританицами.

Это — по крайней мере для мужчин — форма моряков.

МОЗГ. Известно, что мозг состоит из двух полушарий. Как
и попка.

Как поглядишь на дела большинства политиков, на их бры-
ластые рожи, возникает подозрение... Угадай, какое?!

«МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Был в семнадцатом веке
парусник с таким названием.

Вот бы наняться на него хотя бы юнгой!

...Слышу, как кто-то думает: «Твой отец, Ника, все время сво-
рачивает к морской тематике. Романтик».





Но что есть романтика?

Настоящая, несопливая романтика — это реальность. Постоянная память о том, что все мы в самом деле юнгами плывем на движущейся в океане космоса Земле...

МУХИ. — А вы знаете, что у них тоже есть сердце? — спросила мама. — Зачем вы их мучаете?

Мы, пятеро лежачих послеоперационных пацанов, томились летом в больничной палате и развлекались тем, что ловили мух, привязывали к их ножкам вытянутые из марли белые нитки, а потом отпускали.

Мама вызвала санитарку, попросила убрать громоздящиеся на тумбочках тарелки с остатками еды и хотя бы подмести в палате.

Потом раскрыла окно и, махая полотенцем, выпустила мух на волю.

«А нитки? — спросил я. — С ними они не смогут жить».

Она ничего не ответила.

МЫСЛЬ. Может быть, это и греческая мысль. Почти наверняка греческая с точки зрения церковных ортодоксов. Но, входя в православные храмы, в католические соборы, глядя на чудовищную роскошь, на позолоту, на богатые облачения епископов и священников, на подавленных этой пышностью прихожан, я не могу не думать о том, как беден был Христос.

О крайней непрятательности братства Его апостолов, Франциска Ассизского, Серафима Саровского.

Единственное, что утешает: «Последние будут первыми», — говорит Христос.





H

НАГЛОСТЬ. Мы, два старшеклассника, вышли после вечернего сеанса из кинотеатра, и пошли тротуаром под фонарями Тверской—тогда улицей Горького.

Падал декабрьский снежок. В витринах магазинов перемигивались иллюминацией наряженные елки. Близился новый, 1946 год. Хорошо было плыть в плотном потоке прохожих, смотреть на предпраздничное оживление, смеющихся девушек. Не хотелось расходиться по домам.—Как ты думаешь, сколько сейчас времени?—спросил я приятеля.

Часов у нас не было.

Он повертел головой и тут же шагнул к высокому, солидного вида дяде, который шествовал с дамой в каракулевой шубе и такой же шляпе.

—Скажите, пожалуйста, который час?

Тот выпустил локоть своей спутницы, любезно улыбнулся и с наслаждением ударил его прямо в лицо.

Приятель мой рухнул на тротуар.

—В чем дело? За что?—Показалось, я схожу с ума.

—Наглость! Да ты знаешь, к кому обращаешься?!—взвизгнула дама.

Они двинулись дальше.

А я помог подняться своему товарищу. Из носа его текла кровь.

НАРОД. Есть на-род. Род людей, сплоченных общими границами, общей судьбой, какова бы она ни была, общей культурой.

А есть вы-род-ки. Вроде того, который описан в предыдущей истории (подлинный случай!)





Сегодня выродки обозвали большую часть нашего народа, имеющего право голоса, презрительным словцом «электорат».

Зато себя не стесняются величать «элитой».

НАСЛЕДСТВО. Кроме нескольких памятных вещей, Ника, я не получил ни от своих родителей, ни от более отдаленных предков никакого наследства.

Вчуже странновато слышать такие юридические термины, как «право на наследство», «налог на наследство».

И квартира и все, что в ней есть—это итог скромных усилий, сначала моих, позже—усилий Марины.

Вообще, кажется чудом, что нашей семье удается обеспечить сносное существование. Прежде всего, для тебя—нашей дочки. Которая пока что не может осознать, какое богатство мы все, тем не менее, унаследовали от великих писателей, художников, композиторов прошлого...

Это богатство не исчисляется в денежных единицах. Его невозможно украдь. И невозможно растратить.

Поразительно, что все меньше людей в нем нуждаются.

НАСТРОЕНИЕ. Для себя я давно постановил: не имею права портить настроение читателю.

Могу писать о сколь угодно трудных, даже трагических обстоятельствах. Без нытья.

Бывает, по слабости человеческой, срываюсь.

Профессиональных нытиков в литературе предостаточно. До революции под влиянием несчастного стихотворца Надсона кончило самоубийством множество его почитателей. Еще больше самоубийств прокатилось по Европе, когда вышел в свет роман Гете «Страдания молодого Вертера».

Страданий—нужды, болезней, просто одиночества—так мно-





го вокруг, что навязывать собственное дурное настроение преступно.

Но и фальшивое бодрячесво, особенно в устах платных оптимистов вроде комментаторов футбольных матчей, обратно.

Мало кто обратил внимание на то, что Христос во время своей земной жизни неизменно поднимал настроение окружающих.

НАЧАЛО. Неизвестно, откуда оно возникает. Вдруг осознаешь, что в тебе звучит сигнал. Иногда слабый. Порой сильный.

И вот ты сам не заметил, как уже сидишь перед чистым листом бумаги. Или рассматриваешь географическую карту в предвкушении путешествия, для которого пока что нет ни повода, ни денег.

Всё-таки откуда зарождается этот призыв начать что-то новое?

Всякое начало трудно. Прежде чем написать первую строку этой книги, я месяца четыре мучительно обдумывал форму, в которой можно было бы наиболее просто выразить сложность мира, куда входит моя дочка Ника. Словарь! Казалось бы, чего проще и естественнее...

Клубок обстоятельств, жизненного опыта, судеб, из которых едва торчит кончик ниточки...

НЕВИДИМКА. С тех пор как несколько лет назад на даче пропала наша любимая кошечка Мурка (подозреваю, ее украли), мы решили больше никогда не заводить ни кошек, ни котов.

И вот как-то зимой одна знакомая, направляясь к нам в гости, увидела на проезжей части улицы заметавшегося рыжего кота. Выхватила чуть не из-под колес автомашины. Добрая душа, она притащила его к нам.





Потом ушла. А кот остался. Мы назвали его Васькой. Он был большой и наглый. Орал и куролесил по ночам. Спихнул со стола антикварную вазу. С утра путался у меня в ногах, направляя на кухню к опустевшей кормушке.

От цветочных горшков на подоконнике пошел омерзительный запах кошачьей мочи. А когда на теле нашей Ники появились следы укусов и мы обнаружили, что кот напустил блох, Марина в сердцах схватила Ваську и выставила его на улицу. С тех пор я этого Ваську ни разу не видел.

Блох вытравили. Запах исчез.

Но ощущение невидимого присутствия Васьки у меня сохранилось, и даже усилилось.

Все чудится, шуряет где-то на кухне. Или, как бывало, бесшумно вспрыгивает с телевизора на одежный шкаф. Иной раз оглянешься на тахту, где он любил дрыхнуть.

Поздней осенью, когда стылый ветер гоняет по двору опавшую листву, все кажется, что в ее желтых вихрях промелькнул бесприютный рыжий кот.

НЕДОВЕРИЕ. Предпочитаю быть обманутым, чем проявить недоверие.

Попадаются удивительные граждане и гражданки. Даже предложение бескорыстной помощи они воспринимают с испугом. Словно их хотят облапошить.

Столько раз они были обмануты людьми, государством, что превратились в ходячие могилы присущей им когда-то святой детской доверчивости.

НЕПОГОДА. Когда осенний дождь вторые сутки вбивает в карниз окна свои тупые гвозди, а батареи отопления еще не работают, можно, конечно, принять таблетку от головной боли, тепло одеться. А при необходимости выйти из дома





нахлобучить кепку, поднять воротник пальто. Но что делать с давящим небом? Оно забыло о своей синеве. И солнце осталось лишь на рисунках моей Ники.

Однажды взбунтовался. Заставил себя выйти в холод заливаемой ливнем лоджии, сделать зарядку. Затем, чтобы не видеть промозглого пейзажа, плотно задернул шторы на окнах, повсюду включил свет.

После чего принял чихать и кашлять.

Если бы я был богат, как султан Брунея, я бы каждый раз в непогоду посыпал эскадрильи самолетов расчищать аэрозолями небо.

НЛО. Первый раз в ночном небе Читы, второй — утром в Италии над Адриатическим морем я собственными глазами видел эти самые неопознанные летающие объекты — НЛО.

Рассказал, как оно было, в одной из предыдущих книг.

За пределами Солнечной системы наверняка кружатся скрытые пока что от наших телескопов планеты, где есть существа, наделенные разумом. Для них на определенной стадии развития снаряжать космические экспедиции вполне логично.

«В доме Отца Моего обителей много», — говорит Христос.

А еще есть предположение, будто человечество грядущих времен изобрело специальные устройства для путешествий в прошлое.

В частности, к нам. Вполне возможно то и другое.

Вдруг, Ника, тебе и твоим сверстникам доведется стать свидетелями, а возможно, и участниками первых контактов?!

НОЧЬ. Она огромная. Угнетает своей никчемностью.

Терзаемый бессонницей, злившись на то, что время жизни проходит зря.





Демоны тревоги и мнильности присасываются к душе.
Мелкие проблемы прошедшего дня вырастают до чудовищных размеров.

Ночью стрелки часов ползут очень медленно, словно ощущая путь во тьме. Снова глянешь на часы, снова закроешь глаза в надежде заснуть и вдруг видишь в них, в закрытых глазах, пропасть глядящее на тебя лицо незнакомого человека. Всегда незнакомого. Сколько я перевидел этих загадочных лиц! Кто такие? Откуда берутся?

Нужно усилие воли, чтобы решительно откинуть одеяло, встать. Тихо, стараясь не разбудить домашних, умыться холодной водой, включить свет, сесть к столу за работу.

...Поднимаешь голову от черновика, за окном уже светает. И—где вы, демоны ночи?





O

ОБЕД. Голодающая страна миллионами глаз жадно следит за тем, как вальяжный рок-певец, появившись на экране телевизора в белом фартуке, самолично готовит обед.

Демонстрирует шевелящего клешнями омара. Опускает в кастрюлю с кипящей водой. Засыпает туда экзотические специи, привезенные им из Таиланда. Поджаривает на стоящей рядом сковороде смачные куски лососины. В другой кастрюле варится какой-то специальный рис для гарнира.

Тем временем он готовит салат — нарезает на кусочки плоды манго, авокадо и папайи.

— Не забывайте сбрызнуть все это соком зеленого лимона! — поучает он, в очередной раз, отхлебывая глоток виски. — Ага! Наш омар, кажется, сварился, дошел до кондиции! Чувствуете, какой запах? Осталось заправить салат оливковым маслом и можно с чистой совестью садиться за стол.

Телепередача называется «Смак». Фамилию певца, так и быть, упоминать не стану.

Остается пожелать ему приятного аппетита.

ОВЕЧКА. Лет за десять до моего первого появления здесь еще водились тигры. Потому эти джунгли, прижатые великой пустыней к границе с Афганистаном, называются «Тигровая балка».

Заповедник и теперь переполнен зверьем. По ночам завывают гиены.

Я вышел из сторожки егеря Исмаила, запер дверь, положил ключ на ступеньку крыльца и в наступающих сумерках отправился по узкой, похожей на зеленый тоннель тропе навстречу «газику», который сегодня к семи часам вечера должен был приехать за мной, чтобы увезти обратно в Душанбе.





В этот раз я провел здесь всего неделю. Продвигаясь среди стен двухметрового камыша, огибая глубокие рытвины с выступающими корнями деревьев, я томился предчувствием того, что навсегда покидаю эти места, о которых рассказывал в моих книгах.

Если предстоит расставание — лучше не тянуть...

Я покинул сторожку раньше времени, чтобы избавить водителя «газика» от необходимости трястись за мной по этой почти непроезжей дороге.

Я помнил, что примерно за километр до выхода из заповедника находится проточное озеро, где я несколько лет назад пытался искупаться, а там оказалось полно водяных змей.

До озера, по моим расчетам, было уже недалеко, когда впереди послышалось шуршание кустарника.

Я приостановился.

На тропу выскочило что-то белое. Животное кинулось ко мне, заблеяло... и оказалось овечкой. Ее трясло от страха.

Я нагнулся, погладил это маленькое, наверняка отбившееся от стада существо.

Семьи егерей на окраине заповедника держат овец, и я подумал: когда встречу машину, нужно будет сделать крюк до кишлака, чтобы вернуть овечку хозяевам.

Она бежала рядом, не переставая жалобно блеять.

Миновав тускло отсвечивающее озеро с его хором лягушек, мы уже в темноте вышли к краю пустыни. Здесь дул резкий, холодный ветер. Песок перемел следы колес. Дальше идти было рискованно. Не только потому, что я боялся заблудиться. Я боялся варанов и змей, которых каждый раз видел из окна автомашины.

Ничего не оставалось, кроме, как опасливо опуститься на песок и ждать.

Овечка тут же вскарабкалась ко мне на колени.





Так мы сидели, согревая друг друга, пока вдалеке не засвелись фары рокочущего «газика».

ОГОНЬ. Не столько к нему, молодому, добившемуся известности кинорежиссеру, сколько к его камину заходил я в гости.

Представляешь, Ника, ноябрь, нахолившаяся перед зимой Москва, а тут в старинном особняке, затерянном среди высоких зданий, можно было посидеть у живого огня!

Камин был красивый, из белого итальянского мрамора.

Можно было, беседуя с хозяином, подкладывать в огонь сосновые и березовые полешки, помешивать угли специальной каминной кочергой. То опадающее, то взвивающееся пламя напоминало мне о рыбачьих кострах на берегах рек и озер, о печах деревенских изб, где мне доводилось ночевать.

Я сочувственно выслушивал жалобы приятеля на его кинематографическое начальство, не отводя взгляда от пламени. Иногда казалось, что в нем пробегают прозрачные огненные человечки.

—Не дают полностью осуществить ни один замысел,—говорил он.—Уехать бы в Америку, в Голливуд. Там я бы развернулся!

И вот однажды он позвонил мне, торжественно сообщил, что уезжает.

—В Америку?

—В Америку! Между прочим, разобрал твой любимый камин. Послал вперед себя. Так сказать, малой скоростью.

Мне стало грустно. Огонь камина, золотые искры этого домашнего костра, шипение смолы на поленьях—все это навсегда осталось в памяти.

Много лет о приятеле ничего не было слышно.

...Недавно кто-то окликнул меня на московской улице. Я едва узнал его—сильно постаревшего, седенького.

—Что ты тут делаешь?—спросил я.—Вернулся?



—Зубы делаю. Вставные челюсти. Здесь дешевле, чем у нас в Штатах,—жестко сообщил он.—Только не спрашивай про кино. Мы там никому не нужны.

—А камин? Сидишь у огня?

—Собрал его в первый же год. Ни разу не зажигал. В квартире, которую снимаю, хозяин не разрешил пробить дымоход.

ОДИНОЧЕСТВО. Жизнь людей устроена так, что никто не может избежать одиночества.

Одиночество подростка, которого не понимают родители.

Одиночество женщины, живущей с нелюбимым.

Одиночество старого человека, похоронившего всех своих родных.

Как бы я хотел, чтобы каждый из них мог взять в руки мою книгу и раскрыть ее...

ОККУЛЬТИЗМ. Возможно, они не знают, что являются оккультистами.

А быть может, и знают...

Посредством телевидения, газет, митингов гипнотизируют миллионы людей. Призывают их голосовать за себя, за «элиту».

От цвета галстука до отрепетированных у зеркала жестов и улыбок — все отрабатывается под руководством психологов, политтехнологов и прочей шушеры.

Так псевдоцелители, астрологи, предсказатели будущего, избавители от порчи, гадатели по линиям ладони и картам, прежде чем принять первых клиентов, примериваются перед зеркалом личину всеведения, собственной безошибочной правоты.

Но весь этот суэтный сонм — ничто по сравнению с оккультистами-политиками. Нашей стране они не принесли ничего, кроме несчастья.





ОКУДЖАВА. Летит тополиный пух. Июнь. Солнечным утром иду по Малой Бронной. Навстречу вдоль противоположного тротуара едут «Жигули». Тормозят.

— Володя! — слышится из приспущеного окошка.

Пока пересекаю мостовую, вспоминаю, как недавно, тоже утром, был у него дома, увидел высыпшийся на письменном столе солдатский кирзовый сапог, подаренный к юбилею, как Булат повел меня пить кофе в лоджию под разноцветным тентом, где на полу в длинных ящиках росли какие-то одинаковые растения. Оказалось, картошка.

— Здравствуй, Булат!

Стою у машины с открытой дверцей. Рассказываю, что иду от наших общих знакомых — Зои и Феликса.

— А я как раз к ним! Удивительно, что мы встретились. Такое может быть только в Москве! — говорит он на прощание.

Оглядываюсь вслед. Этого человека с его песнями, которые никогда не устареют, все любят. Он — сердце моего поколения. И этого города, тонущего в тополиной метели.

ОСТРОВА. Из каждого окна, куда ни глянь — море. Оно в конце каждой улички. Потому-то и острова, что вокруг синева, чайки, мачты.

Если таких островков несколько — это называется архипелаг.

Я, как ты знаешь, провел целую зиму на одном из островов архипелага Северные Спорады посреди Эгейского моря. А задолго до того, совсем в другой части мира, жил на южно-курильском острове Шикотан. Там вокруг океан.

Как ни странно, ни море, ни даже океан — хотя человек с ними несоизмерим — не унижают своим величием.

Наоборот, распрямляют. События жизни становятся видны в их истинном масштабе.





...Корабль или просто шлюпка в конечно итоге тоже остров.

Только движущийся.

Хорошо человеку на островах.

ОТЕЦ. Это я -то отец семилетней девочки? Какой из меня отец, папаша-воспитатель? Вообще не воспитываю. Просто люблю, обожаю.

Когда прошедшей зимой ты вдруг ни за что не захотела идти в школу, разрешил не идти. Мало того, пообещал один раз в месяц, в любой день по своему выбору, оставаться дома.

Знаю, многие нас с Мариной осудят.

Задолго до того, как началась твоя школьная жизнь, мы часто играли в «летающие колпачки». Я отказывался подсчитывать количество выигранных очков, и ты азартно считала сама, сначала загибая пальчики, а потом в уме. Так мы запросто постигли арифметику.

В те же, еще детсадовские времена я на клочках бумаги вычерчивал в длину пустые квадратики-клеточки сначала для трех-четырех букв, а чуть позже и больше. Предлагал:

—Здесь прячется животное из трех букв. С хвостом. Чтобы разгадать загадку, называй по очереди буквы!

—Буква «а»?

—Нет.

—Тогда «о»?

—Верно. Сама рисуй «о» в средней клеточке.

—Кот?!—догадывалась ты.

—Правильно! А теперь смотри! Вот восемь клеточек для слова из целых восьми букв. Тоже животное. У него язык такой же длины, как тело.

—Это нечестно. Ужасно длинное слово! И таких животных не бывает.

—Честно-честно. Называй по очереди все буквы, какие знаешь.





В конце концов все необходимые буквы встали в клеточки, и обозначилось слово «хамелеон».

Рассказал тебе о хамелеоне, нашел соответствующую картинку в трехтомнике Брема.

Так ты выучила алфавит, вообще научилась читать-писать. И приобрела некоторые познания в зоологии, ботанике и других интересных вещах.

Тут главное не превращать первые шаги по познанию мира в занудство.

...Недавно, вместо того чтобы скучно усесться на кухне за домашний обед, повел в харчевню «Тарас Бульба». Накормил настоящим украинским борщом, варениками с вишнями. Под занавес заказал тебе мороженое. Да и сам перекусил с горилкой.

Мне кажется, человека, особенно маленького, не грех баловать. Ауныльых воспитателей, Ника, ты еще встретишь. Невпроворот.

ОТЛИВ. Каждый вечер с моря в приморский городок на севере Франции торопливо возвращается множество парусных яхт, чтобы до отлива успеть войти в устье глубоководной реки, в порт на ночевку.

Помню, как в те двадцать лет, что я водил машину, каждый вечер, когда пустели московские улицы, наступал отлив дневной жизни, я катил среди стремящихся по домам автомобилей, тихо прикашивал в темноте своего двора у подъезда.

Бредя по берегу Тихого океана, видел, как на моих глазах отлив быстро обнажает сушу, оставляя на мокром песке спутанные комья зеленоватых водорослей с дохлыми крабами, осколками ракушек, стеклянными и поролоновыми поплавками с японскими иероглифами.

...Бывает, во время отчаяния, просто усталости, отлива души тоже остаются на мели дохлые крабы неудач, легкие поплавки надежд...





П

ПАЗЛЫ. Есть такая игра для детей: множество твердых кусочков разноцветного картона нужно составить так, чтобы получилась заранее изображенная на приложенном листке картинка. Ты старательно, порой часами, стыкуешь эти пазлы. И в конце концов добываешься результата.

В каком-то смысле мой словарь — те же пазлы. Пытаюсь из пестрых фрагментов жизни создать для тебя цельную картину мира.

Но образца перед моими глазами нет.

ПАМЯТЬ. Кажется, помню все, начиная с собственного рождения. Помню, как мама опускала меня в жестяное корыто и, поддерживая за спину одной рукой, другой поливала из садовой лейки.

Полагаю, ученые до сих пор толком не знают, где и как хранится прошедшее время жизни.

Иногда вспоминается даже то, чего я ни пережить, ни вычитать из книг не мог. Например, как не подчиняются руки, путаются в системе управления самолетом, когда в него попадает зенитный снаряд.

Или глянешь на незнакомого человека, пришедшего за исцелением, — и вдруг словно вспоминаешь его жизнь. Спрашиваю:

— Жили в лесу, в избе с соломенной крышей?

— Жил. Откуда вы знаете?

Ниоткуда.

ПАНТОМИМА. В 1958 году, во время Всемирного фестиваля молодежи меня обязали взять шефство над двумя иностран-





ными студентками — француженкой и чешкой. Француженка, к моему изумлению, там у себя в Париже корпела над дипломом по русскому лубку. Знала язык не хуже чешки. Поэтому мне было легко общаться с ними, показывать московские достопримечательности, водить по музеям, по фестивальным мероприятиям.

Очень быстро я прямо-таки угорел от звучащих повсюду песен, оркестров, разноязыких толп.

Случайно мы забежали в какой-то клуб, где происходил международный конкурс студенческих театров пантомимы.

Здесь было тихо. Коллективы из Франции, Израиля, Голландии и других стран, сменяя друг друга, в течение нескольких дней демонстрировали искусство, о существовании которого я прежде не подозревал.

Оказалось, в полной тишине, без единого слова можно разыгрывать целые спектакли, говорящие о сложнейших переживаниях, исполненные лиризма.

Моим спутницам было скучно! Задавшись целью непременно побывать на всех мероприятиях фестиваля, они, к моему облегчению, оставили меня одного. Счастливый, я изо дня в день посещал этот конкурс.

До сих пор где-то на антресолях хранится блокнот, куда я судорожно записывал в темноте зрительного зала наиболее поразившие меня сцены.

Только тогда я понял, почему режиссеры немого кино, такие как Чаплин, настороженно встретили изобретение записи звука. Казалось бы, все стало как в жизни, актеры получили возможность говорить... Но до чего же кино потеряло в выразительности! Сделалось болтанным.

...Иногда, глядя на выступающих по телевизору различных деятелей, я выключаю звук. И сразу становятся видны фальшивь, высокомерие и просто глупость.



Жизнь все больше засоряется визгливой музыкой, болтовней, грохотом автомашин. Остается утешаться тем, что прямо перед нашими глазами всегда происходит безмолвная пантомима Солнца, Луны, Земли и звезд.

ПАРОВОЗ. Громадная машина, тянувшая за собой целый состав вагонов, двигалась, в сущности, всего лишь силою воды, разогретой пылающим углем, то есть энергией пара.

По мне, паровоз более красив, мужествен, нежели современные анемичные на вид электровозы.

Его гудок, победно оглашающий бескрайние российские пространства, шлейф дымища из трубы, всегда неожиданные выдохи пара откуда-то сбоку красных, окрашенных суриком колес, его богатырская стать — всего этого, Ника, тебе уже не увидеть. Разве что в музее.

Как не увидеть и меня, твоего будущего папу, сидящего на верхней ступеньке вагона с папиросой во рту, мчащегося по просторам России...

ПЕЧАЛЬ. У человека поводов для печали, к сожалению, очень много.

Но бывает печаль как будто без повода. Светлая, неизвестно откуда нахлынувшая печаль сходна с печалью облетающей ивы над изгибом речки, с застывшими перед зимой полями и рощами.

Я знал молодого здорового человека, поседевшего еще старшеклассником. Он оставался тих и печален всегда. Растромошить его, вывести из этого состояния было невозможно.

Будучи в высшей степени начитанным, он не захотел прощать Евангелие.

— Сыграем в шахматы? — предлагал он и печально выигрывал у меня партию за партией.





Лишился после его неожиданно ранней кончины в тридцать один год я догадался: он жил, все время думая о неизбежном для каждого финале. Безоружный, издали видел надвигающуюся тень смерти.

ПИСЬМО. Случайно попавший ко мне треугольничек солдатского письма времен Первой мировой войны. Без марки, но с круглой печатью на обороте — «Управление коменданта этапа».

Над адресом — «Из действующей армии».

Адрес: Москва, Мясницкий пер. Господину Ф. О. Кунину.

«1 января 1915 г. Давно уже не писал вам. С новым годом, новым счастьем. У меня мало чего, заслуживающего выражения. Живем на открытой местности. Поговаривают о походе корпуса ко Львову. Наши винтовки заменили на австрийские. Погоды наступили очень холодные. Морозы. Как здоровье Жени? Наверное, у вас елка, свечи... Целую всех.

Володя».

Письмо моего тезки, солдатика с австрийской винтовкой в руках...

Самое удивительное — мы с Мариной знали эту Женю, Евгению Филипповну Кунину. Старушку-поэтессу, стихи которой были однажды напечатаны в «Новом мире» и даже изданы отдельной книжкой.

Письмо досталось мне уже после ее смерти. Узнать о судьбе бывшего солдатика больше не у кого.

ПИТЕР. Я бы не смог жить в чахоточном климате этого города, к тому же являющего собой сплошную цитату из русской литературы. Душно пребывать даже в самой прекрасной цитате.





Растиражированные красоты Санкт-Петербурга, Ленинграда, а по мне, так лучше – Питера – понуждают глядеть на славный город глазами давно умерших людей.

Этот налет цитатности, книжности очень присутствует в знакомых мне питерцах, дай им Бог здоровья.

ПЛАН. Неплохо перед началом всякого серьезного дела составить план. На бумаге, или в уме.

Но потом не стоит его в точности придерживаться.

Возможности жизни настолько многообразнее, чем мы можем предположить, что нужно дать ей свободу вносить по ходу дела свои поправки.

Особенно остро такое вмешательство чувствуется в творчестве. Как ни называй, пусть вмешательством Провидения, всегда счастье увидеть неожиданный поворот события или стихотворной строки... Или замысла целой книги.

ПОЕЗДКА. Светило скучое солнце февраля. Алмазно посверкивали снежные сугробы.

После церковной службы в Новой Деревне, как это часто бывало, ждал отца Александра в своем «Запорожье» у ограды. Из головы не шли два человека, которые появились в храме к концу богослужения, прошлись среди прихожан, пристально вглядываясь в батюшку, и вдруг исчезли.

Когда я думал об отце Александре, ощущение опасности, витающей вокруг него, охватывало постоянно. Но стоило ему появиться рядом, оно исчезало.

Я старался экономить его время и силы, избавлял при поездках в Москву от утомительной маяты в автобусах и электричках. ... В тот раз отец Александр задержался после службы особенно надолго. Его посланцы порой подбегали к машине с извинениями, уверяли, что он вот-вот выйдет.





Небо постепенно заволокло тучами. Пошел снег.

Наконец батюшка вышел из церковного домика. С непокрытой головой, без пальто. Принес мне яблоко и пирожок.

— Простите! Осталось принять двух человек. Если нет времени, езжайте без меня.

— Дождусь.

Пока я грыз яблоко, ел пирожок, разыгралась метель.

Я думал о том, что на шоссе может образоваться гололед, о прихожанах, которые ждали своей очереди у двери его кабинетика, дорожа возможностью что-то досказать, о чем-то спросить. Были еще те, кто только дозревал до веры, до крещения. И каждый раз приезжали к нему люди, запутавшиеся в личной жизни, в ученых книгах, восточных вероучениях. Иногда просто душевнобольные.

— Все! Давайте сделаем доброе дело — довезем до Москвы, до метро, Ольгу Николаевну и Костя!

— Хорошо, — ответил я отцу Александру, который подошел одетый, с тяжелой сумкой через плечо, представил мне пожилую полную женщину и бородатого юношу в очках.

Они уселись на заднем сиденье. Отец Александр грузно опустился впереди рядом со мной. И мы тронулись в путь.

«И здесь тоже начнут одолевать его своими вопросами», — подумал я. У меня самого было о чем с ним поговорить.

— А как вы, отец Александр, относитесь к Фрейду и Юнгу? — немедленно вопросил молодой человек. — И вообще, что такое «коллективное бессознательное» с точки зрения церкви?

Отец Александр чуть заметно вздохнул, но, полуобернувшись назад, стал отвечать на бесконечные вопросы этого самого Кости.

Пожилая женщина тоже порывалась о чем-то поспрашивать.

«Они его добывают», — подумал я и сурово произнес:





—Смотрите, какая выюга! Как бы не попасть в аварию. Разговоры меня отвлекают. Прощу вас всех помолчать.

Выюга действительно разыгралась так, что за пеленой снега впереди чуть виднелись красные стоп-сигналы автомашин.

Отец Александр достал из своей сумки одну из потерпенных записных книжек, стал авторучкой что-то вычеркивать, что-то вписывать. Сосредоточенное лицо его показалось мне усталым, постаревшим.

Он первым нарушил молчание:

—Кажется, впереди распогодилось. Голубой просвет.

И действительно, зона метели оставалась позади. Над Москвой сияло солнце.

У метро ВДНХ я остановил машину, чтобы высадить наших попутчиков.

—Минуточку,—не без робости сказал отец Александр,—Вот какая проблема: у Ольги Николаевны очень высокое давление. Зашкаливает за 190. Вы не могли бы помочь?

—Попробую.—Я продиктовал ей номер своего телефона, договорился о встрече.

Оставшись вдвоем, мы поехали на Лесную улицу, где отец Александр должен был навестить какого-то ребенка.

—А вы почему меня ни о чем не спрашиваете?—он положил руку мне на плечо.

ПОЛЕТ МЫСЛИ. Иногда запаздало ловишь себя на том, что мысль унесла в такие дали, где никогда не бывал и быть не мог.

К примеру, чистишь картошину за картошиной, а те, кого мы называли инками, бросают во время жертвоприношения обвешанную золотыми украшениями живую девушку в бездонный колодец. Она почему-то не сопротивляется, не плачет.

Странность состоит в том, что я об этом не думаю, не фантазирую, а просто вижу.





Задумался во время работы над рукописью и вдруг вижу, как воздух огромными пузырями выходит, лопаясь, из трюмов погружающегося в пучину корабля.

...Вижу город, накрытый прозрачной сферой! Где? На Луне? На Марсе?

Одетые в комбинезоны рабочие сажают пучки травы в насыпанную длинными грядками почву. А какая-то женщина выпускает на волю из целлофанового пакета стаю бабочек...

В прошлое, настоящее, будущее внезапно улетает мысль. Уверен, подобное бывает с каждым.

Очнешься. И станет стыдно за бессмысленно растроченное время.

Кстати, сколько его прошло?

Всего несколько минут.

ПОСУДА. Одна из моих обязанностей, впрочем, не очень-то любимых — мытье посуды.

Так вот, я заметил странную закономерность: чем меньше в нашем доме еды, тем больше грязной посуды громоздится в кухонной раковине после каждой трапезы.

Интересно, наблюдается ли столь загадочное явление и в других семьях?

ПОШЛОСТЬ. Нет ничего тошнотворней пошлости общих мест. Общее место, Ника, это когда, например таких детей, как ты, называют «подрастающее поколение», которое нужно «воспитывать».

Детям, конечно, необходимо дарить самые интересные знания, рассказывать самые замечательные истории, готовить к самым волнующим приключениям.

Когда же ты будешь встречать пошляков, провозглашающих общие места, знай: у них нет собственных мыслей. Это





люди, которые даже живой завет Христа умудряются превращать в пошлость мертвых догм.

ПРАВДА. Из года в год мой отец выписывал газету «Правда». Изо дня в день читал.

Когда я подрос, я тоже принял ее почитывать. И довольно скоро заподозрил, что газета часто врет.

Жизнь у нас во дворе, у меня в школе, жизнь наших соседей и родственников совсем не совпадала с картиной всеобщего благополучия, которую изображала газета.

—Почему в «Правде» печатают неправду?— однажды пристал я к отцу.

Он был коммунист, и стал, как мог, защищать передо мной главную коммунистическую газету.

С тех пор само слово «правда» для меня несколько обесценилось.

Что является правдой для одной партии или одного человека, может вовсе не быть правдой для всех. Нужна какая-то общая точка отсчета.

Высшая правда Христа.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Не помню, у кого я прочел, будто жизнь людей состоит из сплошных предательств по отношению друг к другу.

Страшное наблюдение. Хотя мой жизненный опыт как будто опровергает этот приговор человечеству. Или мне просто везло на очень хороших людей. Тем не менее, как оглянешься на череду лет, лиц и событий... Вспоминаются не только сознательные, очевидные предательства, но и мелкие подленькие поступки, совершаемые эгоистами как бы автоматически, без терзаний совести.

Знаменательно, предатели никогда не бывают счастливы.





ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Приходится периодически держать оборону, противостоять меняющимся поветриям. Например, в искусстве. Во всем.

Существуют давящие, авторитарные лидеры, ревниво умножающие ряды своих поклонников и последователей.

Я знал людей, растерявших свою самобытность в суетной озабоченности во что бы то ни стало быть «современными». Модные поветрия сбивали с пути.

При всей своей открытости я никому не позволял на себя давить.

Так и плывет на свободе своим курсом мой одинокий кораблик.

ПСИХОАНАЛИТИК. Берется разгребать семейные проблемы других людей. Дает советы. Назначает пациентам все новые и новые платные сеансы...

Сам же глубоко несчастен в личной жизни. Тщательно это скрывает.

ПУШКИН. Одна девочка вроде тебя, Ника, давно, два столетия назад, жила в Петербурге. Родители купили ей фисгармонию (нечто вроде современного пианино). И она каждое утро училась играть на этом инструменте.

За окном ее дома была улица, и по ней часто прогуливался верхом Пушкин.

Каждый раз, когда он слышал звуки музыки, видел девочку за окном, он приостанавливал лошадь, снимал шляпу и улыбался ей.

Девочка не знала, кто это такой. Она тоже улыбалась в ответ этому несомненно, добром, очень хорошему человеку.

Подлинная, невыдуманная история.





P

РАДИО. Это очень даже удивительно—однажды проснуться ночью, включить стоящий на тумбочке радиоприемник и услышать собственный, кажущийся непохожим голос.

Повторяли давнюю передачу с записью моих рассказов, предваряемых моим выступлением.

Слушал и думал об отделившемся от меня голосе. Так уверенно он звучал, так лихо все формулировал... Захотелось смешного, невозможного: встретиться с этим человеком, задать кое-какие вопросы.

Если слышишь по радио самого себя, чувствуешь: как бы ни старался быть точным, правдивым, все равно самое сокровенное остается невысказанным.

Зато, когда после выступления читали мои рассказы, это было уже другое дело.

РАКОВИНА. Те ракушки, которые я подбирал на берегах Италии, Греции или Испании, были разнообразные, довольно красивые, но они ни в какое сравнение не идут с большими раковинами южных морей.

Один знакомый грек, богатый бизнесмен, как-то показывал мне свои владения— большой магазин электротоваров, банк и приморский отель.

В тенистом холле отеля его жена торговала сувенирами. Среди пестрой мишурь я увидел на полке среди ваз сработанную из нержавеющей стали громоздкую копию шлема Александра Македонского. А ниже, под стеклом прилавка были разложены раковины.

Среди них особенно выделялась створка одной—размером с большую ладонь, выпуклая, ярко переливающаяся перламутром.





—Хочешь, подарю тебе шлем?—спросил богач.

—Нет. Я хочу купить вот эту раковину.

—Дай ему раковину,—сказал он жене.

Она открыла прилавок и подала мне створку—сущую драгоценность.

—И шлем ему тоже дай,—настаивал этот расщедрившийся человек.

Шлем стоил почти в сто раз дороже раковины.

—Нет. Спасибо. Я не знаю, что с ним делать. Он займет у меня полкомнаты.

Я погладил створку раковины, перевернул ее и увидел на дне шершавые выщерблены, стертый слой перламутра.

—Капитан использовал ее вместо пепельницы, гасил окурки,—объяснил богач.

—В прошлом году была и вторая, целая часть,—сказала жена,—но ее купила какая-то туристка.

...В Москве я подвесил створку поверх ковра над моей тахтой.

Утром, когда лучи солнца попадают на ее поверхность, я порой думаю о корабле, на котором она плыла в Грецию из южных морей. О том, как до этого шествовал по дну среди водорослей и рыб моллюск со сказочным домиком на спине.

Странно волнует судьба второй створки.

РАСТЕНИЯ. Среди живущих вместе с нашей семьей сотней тропических растений недавно появилось еще одно—мимоза стыдливая.

Очень нежная. Два тонких стебелька с перистыми листиками на еще более тоненьких веточках. Если чуть дотронешься пальцами или только подуешь, листочки испуганно сворачиваются. Минут через пятнадцать снова распрямляются. Словно говорят: «Не трогай меня. Дай спокойно расти».





Когда жизнь, что называется, «достает», когда побаливает голова, не работается, возьмешь лейку, польешь своих зеленых друзей—и вот, будто кто-то подсказал, строки ложатся на бумагу, забыта головная боль.

Они, растения, меня безусловно чувствуют. Каким образом—не знаю. Захватывающая тайна.

Я себя не умею лечить. Они меня—могут.

Зато заранее угадываю, какое готовится к цветению, какое нуждается в пересадке, подкормке удобрением.

Не обижайся, мимоза стыдливая, я тебя больше не трону.

РОДНИК. Я брел по зеленому взгорку над диким галечным пляжем, когда среди редкой травы блеснуло блюдечко воды. Она вздрогивала. Со дна поднимались и опадали фонтанчики золотистых песчинок.

Я зачерпнул пригоршней воду и попробовал ее на вкус. Она была пресная, вкусная.

Это был родник. Его, казалось бы, лишенная смысла жизнь, как жизнь и смерть маленького ребенка, поразила меня.

Тонкий ручеек стекал из родника по склону вниз, на галечный пляж. И тут же исчезал в соленых водах Тихого океана.





C

САМОЛЕТ. Восходящий месяц был ниже меня. Кругом, не моргая, сияли звезды.

Озирая ночное небо, я с благодарностью думал о пилотах, штурмане и бортинженере, усадивших меня на сплетенное из ремней запасное сиденье.

Сплошь застекленная пилотская кабина создавала ощущение слитности с вечностью, с космосом.

И еще я думал о великом изобретателе и художнике Леонардо да Винчи. О его манускриптах с записями и чертежами, воплощающими извечную мечту людей о воздухоплавании.

Ему, а не мне по праву следовало бы находиться здесь.

СВОБОДА. То, что я сейчас напишу, возможно, возмутит некоторых моих читателей.

Я всегда чувствовал себя свободным.

Да, лучшие мои книги не печатали. Да, однажды меня арестовали в аэропорту Душанбе. Да, не раз ждал обыска, и копии своих сочинений отвозил на сохранность друзьям.

Да, выдержал допросы на Лубянке.

Ну, и что? Это те, кто допрашивал меня, были несвободны от своей зарплаты, своих погон и своей неправды. Я-то знал, что ни в чем не виноват.

Еще более весело свободен был Александр Мень.

Внутренней свободе человека не страшен никакой тоталитаризм. Можно жить в опасности, не иметь денег, голодать. Но при этом быть свободным.

СЕНА. Стоял чудесный, теплый сентябрь. У меня не было ни путеводителя, ни карты Парижа. Десяток дней с рассве-





та шлялся по городу, чувствовал его, как давнего, надежного приятеля, который не давил красотой и величием.

Куда бы ни пошел, рано или поздно путь выводил к набережным Сены. На фоне встающего солнца виднелись силуэты рыболовов с длинными удочками. Под знаменитыми мостами благостно шли в свои первые рейсы застекленные прогулочные суда с туристами.

Однажды, приустав от странствий, я сидел под тентом за столиком кафе на острове Сите. Пил кофе, щурился от сверкания речной воды.

А в памяти всплывала статья, которую я когда-то прочитал в научном журнале: на дне Сены и в ее водах всегда находятся вибрионы холеры; в годы активного солнца они возбуждаются и становятся смертельно опасны.

«Ну и что?» — спросишь ты. А то, что в чистом виде счастья не бывает.

СЕРДЦЕ. Я его видел — живое, человеческое. Подключенное к аппаратуре, оно лежало в раскрытой хирургом сердечной сумке, неожиданно отливающей перламутром. Как в раковине.

Неправда, будто сердце всего лишь мощный мускул, насос, гоняющий кровь. Оно безусловно является и духовным центром, о чем давным-давно догадались индуисты, а также христианские мистики.

Как оно после некоторой тренировки может самостоятельно, без участия разума, молиться? Недаром говорят — сердечная молитва.

Именно сердцем безошибочно чувствуешь другого человека.

Как это объяснить с точки зрения физиологии?

Если сердце болит и с ним поговоришь, просто ласково, как





с ребенком, попросишь успокоиться, оно перестает болеть!
Без всяких лекарств и операций.

Кто не верит — может попробовать.

СЛЕЗЫ. Ника! Ты у нас не плакса. Веселая девочка с независимым характером. И это мне очень по нраву.

Когда пытаешься провидеть будущее своего ребенка, поневоле думаешь о горе, обидах, несправедливостях, которые неизбежно ждут его в жизни. О слезах, которых некому будет утереть...

Как говорят, сжимается сердце, когда вижу тебя на фоне несправедливого мира, куда ты беззаботно входишь с разноцветным ранцем за спиной.

Не бойся! По себе знаю. Если не станешь никого обижать, все твои будущие слезы невидимой рукой отрет Христос.

СЛОВО. Одно двусложное слово, всего из пяти букв, в секунду изменило судьбу — не одного человека, а разом миллионов...

Помню, как услышал его от курортной публики, бегущей воскресным утром от черного растрюба громкоговорителя на евпаторийской набережной. Бежали покупать билеты на поезда.

Можно легко представить себе десяток человек, сотню. Труднее — тысячу. А тут более двадцати миллионов вмиг были приговорены этим словом к смерти. И это касалось только населения СССР. Не говоря уже о тьме тех, кто должен был получить страшные увечья, остаться без рук, без ног.

Как это получилось, что, имея недавний опыт первой мировой войны, русские и германские солдаты в ужасе не отшатнулись друг от друга, не повернулись друг к другу спинами, не кинулись одевать в смирительные рубашки и сажать в сумасшедшие дома тех, кто их науськивал?



Массовый гипноз дьявола охватил всю планету.
Услышав это слово, даже я, тогда одиннадцатилетний па-
цан, заранее ощутил боль раздираемых взрывами человече-
ских тел, прозрел Гималаи разлагающихся трупов.
Всякая война рано или поздно кончается миром. Тогда ка-
кого рожна?!

СНЕГ. Для меня одним из неисчислимых доказательств великой творческой силы Бога является тот факт, что ми-риады тонн такой тяжелой субстанции, как вода, способны, испаряясь, регулярно подниматься на головокружительную высоту, преобразовываться там в снег, и тихо падать об-ратно.

Безусловно, для нашего удовольствия Господь создал каж-
дую снежинку нежным чудом симметрии, красоты. Словно
печать поставил.

Куда там бриллиант!

А то, что драгоценная снежинка, попав на ладонь, истаива-
ет,—явный намек: ничего не нужно копить, присваивать...

СОБЛАЗН. Апрельским утром я шел по тихому, нагретому солнцем переулку. И еще издали увидел на крыше припарко-ванной у тротуара иномарки черный атташе-кейс. Его металлические уголки блестели в солнечных лучах.

Иномарка была пуста. Я огляделся. Переулок был пуст.

Я сразу решил, что кейс набит деньгами. Долларами.

Схватить его и пойти дальше было бы секундным делом. Можно было быстро свернуть на многолюдную улицу, скрыться в метро. А еще лучше—остановить такси, уехать.

Эти мысли промелькнули в голове, услужливо подталкивая к решительному поступку. «Не я, так любой следующий про-хожий схватит кейс».





Скажу прямо: стоило большого труда пройти мимо этого соблазна.

Не оборачиваясь.

Слыши-слышу, как некоторые читатели думают, что я поступил глупо.

«СТИЛЯГИ». Теперь о них пишут чуть ли не как о борцах с тоталитаризмом, диссидентах, героях.

Эти «герои» мошкой с утра до вечера вились у дверей гостиниц, подстерегали иностранных туристов и выпрашивали у них кто джинсы, кто майку с надписью «кока-кола». Не брезговали и жвачкой. Или, на худой конец, заграничным значком.

Им хотелось быть «стильными», одеваться, как американцы.

Любопытно, что те «стиляги», которых я знал, были отпрысками состоятельных родителей. Растворенные до мозга костей, они хвастались друг перед другом своей добычей — галстуками, носками, грампластинками. В городских квартирах или на даче, пользуясь отсутствием родителей, устраивали танцы с выпивкой. Кривлялись, выкаблучивались, изображали из себя «суперменов».

Изобрели собственный омерзительный словарь. Девушек называли «чувиха», себя — «чуваками». Весь остальной народ — «плебс».

Те, кто не спился, не умер, теперь заделались бизнесменами и политиками.

СТОГ. Стариk, стоя на протезе, косил сено на низком, луговом берегу реки.

Я видел его утром, когда подплывал на лодке к омуту под склонившейся ивой. Кроме того, что здесь было очень красиво, это место оказалось удачным для рыбалки.



Иногда до меня доносились вжикающие, ритмические звуки—старик точил кусу.

К вечеру я отвязал лодку от ивы и погреб к деревне искать ночлега. Она раскинулась у опушки леса на другом, высоком берегу.—Эй, парень!—донеслось до меня с луга,—Внук ухлестал на моторке в Рязань за продуктами. Перевез меня, а обратно как? Жди невесту сколько. И сенцо нужно бы переправить.

В несколько рейсов мы перевезли сено, из которого старик соорудил возле забора своей избы большой стог.

Потом он зазвал меня в избу, где его хозяйка изжарила пойманную мною рыбку, выставила на стол графинчик водки. Вскоре к нам присоединился вернувшийся из Рязани взрослый внук. И мы славно отужинали.

—Ты где задержался?—спросил старик.

—На танцах,—почему-то мрачно ответил тот.

Старик покосился на него, но не стал ни о чем расспрашивать. И обратился ко мне:

—Ночуй здесь. Раны старые ломит—к дождю.

—Воевали?

Пока он рассказывал о том, как был летчиком, летал на бомбардировщике, был, в конце концов, сбит и единственный из всего экипажа спасся благодаря парашюту, я успел углядеть на старой, висящей рядом с иконой фотографии его, молодого, в форме лейтенанта со звездой Героя Советского Союза.

—Оставайся. В горнице постелем,—снова предложил он.

—А знаете что? Можно переночевать в стогу?

Старик помог мне сделать глубокую нишу в боку стога, и я оказался среди колющей душистой полутьмы.

Ночью зарядил дождик. Я проснулся. Струи дождя бормотали, перебивали сами себя. Вода скатывалась поверху, почти не просачиваясь внутрь.

Еще сильнее запахло свежескошенной травой.





СЮРПРИЗ. В нашей семье невозможно сделать неожиданный подарок. Если, скажем, Марина приготовила сюрприз за несколько дней до моего дня рождения, то не утерпит, тотчас нетерпеливо вручит.

И я такой же. И ты, Ника, тоже. Не умеем хранить тайны подобного рода. Мне кажется, потому, что дурно в глубине души хранить что-то друг от друга. Даже хорошее.

Быть по-детски всегда открытым другим людям без какой-либо задней мысли — вот роскошь свободы.





Т

ТАБЕЛЬ. Сохранился мой табель успеваемости за третий класс. До противного образцово-показательный. Сплошь «отл.». Только по арифметике «хор.».

Да и сам я, если оглянуться на конец тридцатых, довоенных лет, тоже кажусь себе несколько противным.

Научившись читать по слогам чуть ли не с трехлетнего возраста, будучи любимчиком учительницы Веры Васильевны, я на каждый ее вопрос обращенный к классу, первым поднимал руку. Тянул повыше, чтобы заметила.

У моего папы Левы был фотоаппарат «Фотокор». На групповых снимках класса, снятых в школьном дворе, всегда красовалась в первом ряду, в самом центре.

Постыдное лидерство привело к тому, что меня избрали председателем совета пионерской дружины. Вкусил опасное счастье сидеть во время торжественных встреч с писателем Сергеем Михалковым или с полярником Папаниным в президиуме – рядом с ними и директором школы.

Я становился заносчив и спесив. Странно, что меня не лупили соученики. Наоборот, если заболевал, девочки и мальчики в пионерских галстуках чинно приходили навещать, сообщали, какие уроки заданы, приносили гостинцы.

Еще более странно, что уже тогда, в десять-одиннадцать лет, я ощущал какую-то гадливость от собственного возвышения.

Однажды попробовал поделиться своими сомнениями с папой. Тот ответил смешно. До сих пор врезано в память:

– Каждый должен иметь о себе самое низкое мнение.

Начавшаяся война, бомбежки Москвы, эвакуация с мамой в Ташкент... Вижу себя одиноко едущим на ослике в новую школу, вижу, как читаю газеты тяжелораненым в палате го-





спитала, пишу под их диктовку письма родным, собираю с соучениками хлопок под палящим узбекским солнцем.

...Старый табель и несколько фотографий — все, что осталось от того времени, когда я не ведал, что «нужно иметь о себе самое низкое мнение».

ТАРКОВСКИЙ. Майским утром после обхода врачей мама украла меня из Боткинской больницы. Прошло три дня, как мне удалили воспалившийся аппендицис.

Мама подогнала такси к хирургическому корпусу, помогла сойти по лестнице, сесть в машину.

Хорошо было после нудного пребывания в палате приехать домой, распластаться на своей тахте. Если лежать, не двигаясь, рана под повязкой почти не болела.

Следующим утром мама ушла на работу. Оставила у моего изголовья на столике телефонный аппарат с длинным шнуром, кое-какую еду, чай в термосе.

И еще там лежали блокноты с авторучкой. В ту весну я работал над сценарием для Андрея Тарковского.

Не знаю, что он там на рассказывал о моем замысле начальству киностудии «Мосфильм». Ему пообещали дать постановку с условием, что он станет соавтором сценария.

Я с радостью согласился. Андрей мне нравился. Не только потому, что к тому времени он уже создал несколько прославленных фильмов. Этот худощавый человек с тонкими усиками был сгустком творческой энергии, напряженно жил, думал. Какая-то нервная струна все время трепетала в нем.

В ту пору он переживал разрыв с первой женой. «Чтобы что-то сделать в искусстве, приходится быть жестоким к себе и другим», — повторял он, как бы оправдываясь.

При всей своей знаменитости Андрей был, в сущности, одинок. И приезжал ко мне не столько работать над сценарием,





сколько жаловаться на то же кинематографическое начальство и вообще на судьбу. Был убежден, что только его судьба такая трудная. Демонстрировал шрамы на спине от давних проколов при лечении туберкулеза, жаловался на отца— поэта Арсения Тарковского, когда-то бросившего их с матерью и сестрой. И в то же время декламировал мне наизусть его стихи, которые считал гениальными.

Как большинство творческих людей, он был всецело замкнут на самом себе, и тем более было приятно услышать в телефонной трубке его голос:

— Володя! Я все знаю от твоей матери об операции. Как себя чувствуешь?

— Хорошо.

— Слушай, вот какое дело. У вас дома есть деньги?

— Должно быть, есть на хозяйство.

— Вот что. Минут через десять я приеду. Срочно нужно на билет в Польшу. Займешь?

— Не знаю, сколько у нас денег. И посмотреть не могу— больно подняться.

— Я сам посмотрю.

Он положил трубку. А я лежал и думал: «Как же ему открыть? Ведь в самом деле встать не могу».

Заранее исхитрился придвигнуть к тахте два стула. Когда Андрей позвонил в дверь, я поднялся и, опираясь на обе спинки, как на костили, доволокся с ними до двери. Открыл.

Андрей был хмур и решителен. Пока я укладывался обратно на тахту, нервно сообщил:

— Наша затея запрещена. Зато мне разрешили экранизировать «Солярис» Лема. Должен срочно лететь к нему на переговоры. Где деньги?

— Вон там, в секретере шкатулка,— ответил я, оглушенный новостью.— Возьми, пожалуйста, сам.





Он шагнул к секретеру, нашел шкатулку.
—На всякий случай беру все, что есть. Вернусь, отдам. Извини, некогда. Внизу ждет такси.
Действительно, недели через две он вернул долг.
Больше я его никогда не видел.

ТЕАТР. Веселой компанией мы на ночь глядя вышли из дома, после того как отпраздновали мое шестнадцатилетние вместе с моими родителями.

Одним из последних поездов метро зачем-то поехали догуливать в Сокольники.

Парк оказался закрыт. Фонари погашены. Но мы проникли в него. Нас было семеро.

Шли по аллеям среди деревьев, тихо шумящих молодыми майскими кронами. Пока не наткнулись на летний театр. Перед открытой сценой с козырьком стояли ряды длинных скамеек.

—Володя! Почитай стихи! —загорелся один из моих спутников.—А мы будем сидеть и слушать.

По боковой лесенке я взошел на сцену, встал посередине. Различил перед собой рассевшихся по скамьям друзей.

Потом поднял взгляд и замер. Весь небесный купол смотрел на меня глазами звезд. Показалось кощунственным изображать из себя поэта.

В ту минуту я осознал, что под прежними своими стихами должен подвести черту.

Друзья не поняли, почему я спрыгнул со сцены. Но не стали терзать вопросами.

ТЕЛЕВИЗОР. Если сейчас каким-то образом учитывается, кто, когда и какой канал телевидения смотрит, то вполне вероятно, что со временем оттуда, из этого аппарата, научатся





шпионить за тем, что говорят и делают в каждой квартире. Вслед за телефоном он станет непрошеным соглядатаем.

ТЕПЕРЬ. С тех пор как я был мальчишкой, мир внешне изменился.

Колоссально. Даже нет смысла эти изменения, особенно технические, перечислять. Бумаги не хватит.

Моя дочь Ника, как ни в чем не бывало, врастает в этот изменившийся мир. И я не могу не думать о том, до чего же преобразится он, когда она станет такой, как я. Фантастически изменится. Невероятно.

И вот теперь, в 2004 году, я с тревогой смотрю в ее смеющиеся глаза, тщетно пытаясь заглянуть через них в будущее.

ТИШИНА. Мой товарищ изумился:

—Как это ты пишешь, когда за окном твоей комнаты стоит такой грохот?

Я прислушался. И вправду, с улицы доносился гул проезжающего автотранспорта, голоса прохожих.

Ничего этого я почти не слышу, захваченный работой. Привык. Тишина автономно окружает меня, письменный стол.

Изредка в ней зарождается что-то непривычное.

Я выхожу в лоджию и смотрю, как над нашим двором, над крышами ближайших домов вольно стрекочет вертолет.

ТЫ. Вижу себя твоими глазами. Слышу. Весь мир чувствую тобой.

Когда ты прооказываешь, это я прооказываю. Когда идешь в школу — иду я.

Снова иду...

Свалилась с велосипеда и расшибла локоть — мне точно так же больно.





Сейчас это тебе непонятно. Инстинктивно защищаешь свою независимость, отдельность от меня. И правильно делаешь.

Пройдет не так уж много времени. Вырастешь. Прочтешь эту книгу.

Начнешь ли прозревать в себе меня?





у

УБЕЖИЩЕ. В школе у нас однажды отобрали учебники по истории. Через сутки вернули без страниц, где были фотографии некоторых героев революции и гражданской войны.

Учительница Вера Васильевна и папа с мамой растерянно уклонялись от ответов на мои вопросы.

До этого мир был понятен. В Испании очень хорошие люди — коммунисты, интербригадовцы сражались с очень плохими — фалангистами, которым помогало совсем уж страшное отродье — Гитлер и его германские фашисты.

Эти фашисты расправлялись в Германии с бастующими рабочими, били их дубинками. Жгли на площадях городов книги великих писателей. Убивали евреев.

«А если бы мы попались им в руки?» — спросил я маму.

Она прижала меня к себе. И опять ничего не ответила.

В 1939 году Сталин заключил союз с Гитлером!

Мне было девять лет. Я был мальчуган. Но я чуть с ума не сошел, когда вслед за папой прочел об этом в газете «Правда». И еще о том, что Красная армия «по просьбе трудящихся» вошла на территорию Польши, чтобы освободить Западную Украину и Белоруссию.

«Почему о том, что трудящиеся просят нас захватить их страны, раньше не писали? Почему не говорили по радио?» — спросил я на этот раз папу.

«Не смей больше задавать никаких вопросов. Ни мне, ни маме. И в школе не смей спрашивать».

Ладно! От непонятного, сумасшедшего мира взрослых было у меня убежище. Там я оказывался один среди сокровищ.

Убежище находилось совсем близко от нашего дома на улице Огарева. Достаточно было пройти по ней к улице Герцена,





пересечь ее, и я останавливался у заветного входа. Люди заходили в рыбный магазин по соседству, откуда воняло селедкой. Издалека доносились звуки музыки. Рядом была консерватория.

А я открывал дверь и, миновав полутьму короткого коридорчика, оказывался в большой единственной комнате библиотеки, размещавшейся здесь, кажется, с дореволюционных времен.

Почему-то всегда, даже зимой, из двух окон косо падали солнечные лучи, освещающие плотные ряды высоких, чуть покосившихся полок, тесно набитых книгами. Всегда наготове стояла стремянка, по которой можно было долезть до любой полки, а потом сидеть на ступеньке и листать книгу или альбом с картинками.

Охраняла убежище тихая, старенькая библиотекарша с седым пучком волос на затылке.

Ужасно, что я позабыл ее имя.

Часами в одиночестве я снимал с полок книги, старинные журналы «Вокруг света», «Нива», «Мир искусства». Помню себя единственным посетителем этого убежища, где я забывал о зловещих переменах...

А потом началась война.

УГОВОРЫ. Об отпетых мошенниках, своекорыстно уговаривающих пуститься в какую-нибудь авантюру, чтобы за получить наши денежки, и говорить нечего. Мало-мальски проницательный человек видит их нас kvозь.

Часто честные люди из самых благих побуждений уговаривают нас совершить тот или иной поступок, принять то или иное решение, порой роковое.

К примеру, родители сплошь и рядом уговаривают своего отрока или отроковицу получить профессию, к которой не лежит сердце.





Реклама назойливо, с применением всяческих психологических разработок, талдычит, уговаривает, чтобы мы покупали всякую совершенно не нужную нам чепуху.

Сердобольные люди уговаривают принимать якобы чудодейственные лекарства. При этом сами никак не могут излечиться от своих болезней.

Если хочешь — слушай всех. А поступай, как подскажет сердце. Ошибки, к сожалению, возможны. Но это будут твои ошибки. Благодаря им накапливается золото собственного опыта. Только этим, а не заемным, чужим опытом мы и расстаемся, становимся самими собой.

УДАЧА. Оказалось, что я — удачник. Вот уж никак не думал.

В конце концов, все мои книги выходят в свет. Их ищут читатели.

Многие ищут встреч не только с моими книгами, но и со мной в надежде получить исцеление, просто взглянуть в глаза, поделиться своими горестями или радостями. Ставятся друзьями.

А главная удача жизни, конечно же, в двенадцатилетней дружбе с отцом Александром Менем. И в том, что после своей гибели он непостижимым образом прислал ко мне Марину. Тоже по фамилии Мень.

Какие могут быть у меня претензии к Богу?

Правда, слабый человек, иногда ловлю себя на том, что впадаю в уныние. Не все получается так быстро, как хочется. Начинает казаться, что удача меня оставила.

И тогда снова звучат в душе слова другого священника, моего друга дона Донато Лионетти:

— Не жди удачи. Работай. Не нервничай. Она снова придет. Бог готовит на медленном огне.





УДОЧКА. Кажется, нет ничего проще обыкновенной удочки. Но попробуй изготовить крючок, леску, добыть легкое и прочное удилище. А гениально удобный прибор-поплавок в сочетании с грузилом? Все это нужно было придумать, согласовать все части между собой в единое чуткое целое.

Что там рыба, которую я изловил с помощью этого простого на вид изобретения! Благодаря удочке я видел такие расцветы над речками, озерами и морями! Такие закаты! Каких не увидеть лежебокам.

Никакое зло, никакая власть не могли омрачить отражение бескрайней свободы неба в чистых водах. Кто не был чувствующей частью этих пейзажей, тому никогда не понять, что такое Родина.

УЗЫ. Они, даже дружеские, скрепляют насильно то, что должно быть непринужденным, естественным.

Никаких уз. Никаких клятв и заверений. Они создают плотину для вольного течения жизни. Часто живая вода, копящаяся у таких плотин, становится мертвой. Пахнет болотом.

УРА! Красивое, веселое слово. Говорят, татаро-монгольское. Боевой клич войск Чингисхана.

Кажется, никогда в жизни не орал «ура!»

Лишь однажды, узнав, что Марина благополучно родила дочь Нику.

УСЛОВИЯ «ИГРЫ». Вильям Шекспир и многие другие знаменитые люди считали, что жизнь—это игра. Основные ее условия таковы: человек рождается и через некоторое время умирает. Между этими двумя событиями он подобен шахматной фигурке на доске бытия.



Между тем Библия говорит о том, что сначала смерти вообще не было. Катастрофа произошла после грехопадения первых людей—Адама и Евы.

Спустя тьму веков в Палестине, уже в наше историческое время, появился Иисус Христос. Сын Бога.

Что с ним сделали люди за его неслыханную доброту, знают почти все. Знают и о том, что после казни на кресте Он воскрес. На глазах учеников вознесся в небо. Пообещал перед этим: воскреснут все. И будут жить в Царстве Небесном.

Я абсолютно доверяю Христу. Мало того, вижу, как современная наука—генетика, ядерная физика, биология—все стремительнее, все ближе подходит к тому, о чем говорится в Евангелии.

Так что у нас, у каждого, кто жив, пока что есть время подбить кое-какие итоги, раскаяться в некоторых поступках и мыслях...

Таковы истинные условия этой «игры».

Те, кто в гордыне своей эти условия отвергает—легкомысленные люди, дающие таким образом добровольное согласие на вечную погибель.

Мне скажут: «Ты пользуешься любым поводом, чтобы опять пропагандировать своего Христа».

Пользуюсь. Было бы по меньшей мере подлостью твердо знать что-то крайне важное, самое главное и не трубить об этом всем и каждому.





Ф

ФАМИЛИЯ. С юности я был уверен, что самая красивая фамилия досталась самому красивому человеку на свете — Маяковскому. Какая-то чистая, промытая, как стекла устремленного ввысь маяка.

Но вот однажды краем уха услышал фамилию, которая прямо-таки ошеломила меня:

Кавалеридзе!

Сразу представился в высшей степени энергичный, мужественный человек. Может быть, с саблей.

С одной стороны, очень захотелось взглянуть на него, познакомиться. С другой — а если такая щеголеватая фамилия досталась какому-нибудь зануде?

ФАНТАСТИКА. Измышления фантастов в конечном итоге всегда ничтожны. Жалкими выглядят эти потуги перед любым явлением природы, перед космосом.

Самая простая былинка со своим цветом и запахом состоит из миллионов кружящихся по своим орбитам электронов. Если вдуматься, она фантастичнее всего, что придумал Герберт Уэллс.

Не говоря уже о таком ошеломляющем чуде, как человеческая мысль.

Я написал повесть «Приключения первого бессмертного человека на Земле». И ее обозвали произведением «в стиле фэнтези».

Никакое это не «фэнтези»!

Я просто увидел, к чему приведут в будущем, может быть, через несколько десятков лет, успехи генетики.



ФЕЛЛИНИ. Теперь кажется невероятным, что этот титан был нашим современником. Знаю людей, которые с ним пристально смотрелись.

Для меня он такая же стоящая над вечностью фигура, как Микеланджело. У нас дома на кассетах есть почти все фильмы Феллини. Примерно раз в год я их заново пересматриваю. И всегда открываю для себя что-то новое. Не говоря уже о чисто физиологическом наслаждении от того, как, несмотря на трагизм всех его историй, в меня как кислород влиивается мощный поток жизни.

По сути дела все его фильмы глубоко религиозны. Они кричат о том, как нужны человеку сочувствие, понимание. И хоть кроха любви.

...Часто, приступая к новому произведению, я пытаюсь взглянуть на свой замысел глазами Феллини.

ФОКУСНИК. Собственно говоря, он не фокусник, а старый больной человек, придумывающий фокусы. Его ремесло уникально, редко, но почему-то не дает большого заработка.

Стол с разложенными на нем инструментами: дрелью, молоточками, щипчиками. Разноцветные лоскуты. Батарейки, резиновые трубочки, хрустальные призмочки, зеркальца. Проводки и пружинки. Клей. Краски.

Он подает мне обыкновенную бамбуковую палочку. Я верчу ее в руках, не нахожу никаких отверстий, кнопок. Он молча забирает ее. И вдруг из палочки вырывается фонтан разноцветных флагжков, а потом на самом верху возникает резиновый попугайчик.

Естественно, мне хочется понять, каким образом все это сделано.

—Если фокус рассекретить, вам станет скучно,—говорит он и предлагает выпить чаю.





Мы переходим на кухню. Он наливает мне чай в большую китайскую чашку, угождает сухариками с изюмом. Я придвигаю чашку к себе. Пуста!

У меня хватает соображения понять, что она с двойным дном. Хозяин достает из буфета другую, нормальную чашку, и мы пьем чай, хотя я уже во всем ожидаю подвоха.

У мастера больное сердце, и теперь свои «фокусы» начну показывать я.





X

ХАВИЯ. Одиночество в рассветном море прекрасно. Не знаю, почему туристы и местная публика появляются на пляже не раньше десяти утра, когда наваливается жарыца.

Я приходил в 7. Расстилал полотенце на песке, всегда сырватом от росы, раздевался. И через минуту, одолев прибрежный накат шипучих волн, выплывал на простор Средиземного моря.

Испанский городок Хавия расположен между Валенсией и Аликанте. Где-то напротив находятся знаменитые Балеарские острова с летней резиденцией короля Хуана Карлоса.

...Толща зеленовато-голубой воды так прозрачна, что сквозь нее, как сквозь линзу, можно созерцать далекое дно с тенями рыб над зеленоватыми камнями и куда-то спешающего среди россыпи ракушек осьминога.

В то утро, когда, насмотревшись на подводную жизнь, я поднял голову из воды и заморгал ресницами, чтобы избавить глаза от едкой морской соли, издалека увидел: на пустом пляже появился автобус. Из него выгружают каких-то людей.

Я плыл к берегу, в то время как несколько парней и девушек осторожно рассаживали на пластиковые кресла под пляжными зонтиками дряхлых стариков и старух. Это были человеческие обрубки. Кто без ног, кто без рук.

С ними был доктор в белом халате. На раскладном столике он расставлял бутылки с водой, бумажные стаканчики. Выставил и аптечку с красным крестом.

Старые люди были крайне оживлены сим фактом своего прибытия к морю. Оставаясь в креслах, они приветствовали меня, когда я растирался полотенцем, наперебой спрашивали, теплая ли вода, и о чем-то еще, чего я не понял.





Я простосердечно объяснил, что я иностранец, из России.
Поднялся восторженный гвалт.

Доктор на английском языке попросил меня уделить хоть
немного внимания этим инвалидам из дома престарелых,
участникам испанской гражданской войны.

Боже мой, они еще живы! Бывшие коммунисты, бывшие
фалангисты, когда-то непримиримые враги, сидели передо
мной как одна семья.

Они завалили меня кучей вопросов. Доктор едва успевал
переводить. Угощали минеральной водой. Попросили
парня-волонтера принести для меня из автобуса еще одно
кресло.

Очень старая женщина с оторванной ступней поднялась,
опираясь на палку. На ней была надета просторная майка
с изображением Че Гевары. Попросила помочь дойти до
воды. Я взял ее под руку, повел.

—Ме кедо коммуниста,—шепнула она.—Я остаюсь коммунисткой.

—Но пасаран!—откликнулся я словами из своего пионерского
детства.

ХАЛДЫ. Это род вечно беспокойных женщин. Все они
на одно лицо. Им может быть и 20 лет, и 50.

У такой халды никогда ничего нет. Ни семьи, ни собствен-
ного жилья, ни постоянной работы.

Всегда тощие. Кочуют из храма в храм. Какие-то прицер-
ковные цыганки.

На голове такой халды небрежно повязана обязательная ко-
сыночка. Одета в кофту и длинную юбку, свидетельствующую
о смирении и набожности. Но юбка непременно с длинным
разрезом, намекающим, что при случае может и согрешить.

Любит пугаться, осенять себя крестным знамением.





Во время исповеди доводит священника до исступления, в очередной раз пересказывая содержание своих снов. Требует у него наставлений, но никогда их не выполняет.

За службой следит, чинно перелистывая молитвослов, и при этом зорко высматривают в массе прихожан нужных людей. По окончании литургии будет торопливо к ним подходить, целовать и обращаться с просьбой. Глаза обычно на мокром месте, зато губы сложены в улыбочку. Если в просьбе отказали, не обижается. Ловит следующего, просит о чем-то другом.

Любит посещать различные бесплатные сборища, где под руководством «учителей» изучают все на свете, от «агни-йоги» до искусства иконописи. У них постоянно не хватает времени, вечно спешат в никуда.

Где noctуют эти несчастные халды? Чем питаются? Бог весть!

В лучшем случае оседают в женских монастырях. А чаще гибнут.

Нелепо и страшно.

ХАМЕЛЕОН. Жил он себе, поживал в Южной Америке, в Эквадоре, в районе банановых плантаций. Заприметив мошку или какое-нибудь другое насекомое, стремительно выбрасывал длинный язык, налепляя на него добычу, и она вместе с языком оказывалась в маленькой пасти.

Дремал на стволе или ветке какого-нибудь деревца, на всякий случай приняв цвет коры, слившись с ней. А чаще находил ночлег в банановых гроздьях и тогда желтел, становился словно одним из бананов.

Однажды утром, когда было еще свежо, к плантации на грузовиках приехали сборщики бананов с длинными ножами. Они быстро-быстро поотрубали тяжелые грозди, наполнили ими большие картонные ящики и увезли на океанское побе-





режье, в порт. Там ящики перегрузили подъемными кранами в большой корабль-сухогруз с холодильными установками.

Проголодавшийся хамелеон проснулся было, но стал подмерзать и впал в спасительную дремоту.

Когда корабль прибыл в Новороссийск, бананы перегрузили в железнодорожный состав и повезли на север. Несколько вагонов отцепили в Москве.

Так один из ящиков попал в магазин на нашей Красноармейской улице. Продавщица фруктового отдела выставила на прилавок табличку с ценой за килограмм, распечатала верх картонного ящика и принялась торговаться, бросая на весы гроздь за гроздью.

От притока свежего воздуха и магазинного тепла хамелеон пробудился. Приоткрыл свои морщинистые веки. Тут-то его вместе с новой гроздью продавщица и бросила на весы.

Она заорала так, будто увидела гремучую змею.

Я тоже стоял в очереди за бананами. И сначала не понял в чем дело.

А когда понял, продавщица уже добивала хамелеона тяжелой гирей.

...В крайнем случае, я мог бы взять его к нам. Но чем бы мы его кормили? Наверняка нашелся бы выход из положения.

ХВАТКИЙ МАЛЫЙ. Как-то давно поздней осенью я возвращался от знакомых. За мной увязался один из гостей — какой-то приезжий малый, который, как выяснилось, ехал из Крыма к себе в Заполярье, в поселок Хальмер-Ю.

На мне была коричневая кожаная куртка с подстежкой из овчины, подаренная болгарским художником.

Провожатый, одетый в хлипкий летний плащик, дошел со мной до метро. А потом решил проводить дальше — до моего дома. Довел до подъезда. Попросился переночевать





на одну ночь. Утром он должен был отправляться поездом в Заполярье.

—А где твои вещи? —спросил я, когда мы ужинали у меня на кухне.

—На вокзале. В камере хранения, — неопределенно ответил он и тут же произнес жалобным голосом: — Знаете что? Холодно. Боюсь, замерзну, пока доберусь. Вы не одолжите вашу куртку? А я приеду и сразу вышлю обратно. У меня дома дубленка!

С самого начала стало ясно: если дам куртку, мне ее больше никогда не видать.

По-моему, и ему было ясно, что я это понял.

Тем более он был приятно удивлен, когда утром я снял с вешалки и подал ему куртку.

Хваткий малый надел ее, доверху застегнул молнию. Вдохновенно сообщил:

— Впору! Доеду — верну!

После чего исчез, прихватив свой плащик.

Наступил ноябрь, затем декабрь. Выходя на улицу, я подмерзал в свитере и брезентовой куртке.

К Новому году все-таки получил извещение. На бандероль.

Когда там же, на почте, я вскрыл крохотный, узкий пакетик, в нем оказался обыкновенный стержень для авторучки, втиснутый в костяную палочку. На кости было выгравировано: «Привет из Заполярья!»

ХИВА. Внезапно здесь, в Хиве солнечный день конца сентября потемнел. Задул ледяной ветер, голубое азиатское небо сплошь закрылось тяжелыми черными тучами.

Мы с отцом Александром были одеты в рубашки с короткими рукавами и сразу замерзли. На открытом пространстве археологических раскопок, куда мы прибыли после посещения музей и мечети, негде было укрыться от пронизывающего ветра.





Когда мы добрались до нашей гостиницы «Интурист», повалил снег.

— Ну и дела! — сказал я, отдернув тяжелую штору окна в нашем двухкоечном номере и глядя на густой снегопад. — Не знал, что в сентябре может быть такая подłość.

... Сманил его в месячное путешествие по Средней Азии, и вот под самый конец — ненастье. Носу не высунешь.

В прорубаемом из всех щелей номере стало так темно, что отец Александр включил свет.

— Что вы? — сказал он, тоже подходя к окну. — Это же чудесно — увидеть, как снег валит на минареты мечетей, на тополя. Мы с вами блуждаем, как дервиши, и должны за все возносить хвалу Аллаху.

— Замерз, — сказал я, вытаскивая свитерок из своей дорожной сумки. — Вы тоже оденьтесь, пожалуйста. В номере холодней, чем на улице. Еще не хватает заболеть.

Отец Александр послушно надел пиджак.

— Знаете что? — сказал он. — Давайте спустимся в ресторан? Поужинаем. Правда, еще рановато. Но там, наверное, тепло. Закажем что-нибудь горячее, согреемся чаем.

— А куда деваться? — согласился я. — Да и есть хочется.

На лестнице мы нагнали тоже спускающуюся в ресторан группу странно одетых квохчуящих немецких туристок. Они оказались завернуты в сдернутые с окон зеленые шторы.

— Ноев ковчег, — сказал отец Александр, садясь против меня за столик.

Мы заказали помидорный салат, плов с бараниной, чай. Вдогонку, покосившись на своего спутника, я попросил официанта принести еще и графинчик водки.

На эстраде грохотал оркестр. Танцевали. С каждой минутой зал ресторана наполнялся все новыми замерзшими постояльцами.





—«Миллион, миллион алых роз...»—пела с эстрады узкоглазая красотка.

—Вам нравится Пугачева?—спросил я отца Александра, когда мы приступили к ужину.—Мне—нет.

—А мне все нравится,—ответил он и с таким смаком, так молодо выпил рюмку водки, что я прямо-таки залюбовался этим красивым, незашоренным человеком. Словно впервые увидел.

Он, несомненно, был красивее всех находящихся здесь, и, кажется, вообще всех людей, каких я знал.

—А какие эстрадные исполнители нравятся вам?—поинтересовался он.

—Эдит Пиаф, Ив Монтан. На худой конец—Элвис Пресли. Но больше Ив Монтан.

—Губа не дура,—согласился отец Александр.

—«В Намангане яблочки зреют ароматные...»—пела теперь красотка на эстраде.

Потом объявила «белый танец», это когда дамы приглашают кавалеров.

И вдруг певица появилась у нашего столика, пригласила отца Александра. Я видел, что ему хотелось бы потанцевать, и грешным делом подумал, что он стесняется меня. Ведь я был единственным в этом зале, кто знал, что он священник.

Отец Александр вежливо отказался. Когда она отошла, сказал:

—Не подумайте, что я такой уж ханжа. С хорошей знакомой с удовольствием бы и потанцевал.

...До того сентября, когда его зарубили, жить ему оставалось только два года.

ХОЗЯЙСТВО. У вещей есть противная особенность—превращать своего хозяина в слугу. Не вещи заботятся о человеке, а он начинает заботиться о них. Без конца вытирает пыль, возвращать на установленное место.





Как-то мне привезли в подарок из Парижа свежие устрицы. И к ним специальный ножик, чтобы с его помощью открывать тугие створки раковин. Устрицы давно съедены под белое вино. А ножик вот уже несколько лет путается под руками. И подарить некому, и выбросить жалко. Так постепенно в доме накапливается разный вздор.

Знаю семью, где рос пятилетний мальчик. Бегая по комнате, он случайно задел шаткую тумбочку. Там стояла гипсовая статуэтка Богородицы. Статуэтка разбилась. А ребенок был жестоко избит.

Во многих квартирах не прдохнуть от навешанного по стенам и расставленного по полочкам китча — умильных пейзажей в золоченых рамочках, тех же статуэток, накупленных, как мне кажется, в одном и том же «художественном» салоне.

Кладовки, антресоли, балконы забиты у многих давно отслужившим бараклом. Вещи исподтишка окружают, словно хотят придушить хозяев.

В доме должно быть много света, воздуха и пространства. Пусть вещей будет мало, но все — высшего качества. И это во-все не обязательно дорогие вещи.

ХУДОЖНИК. Ему очень хотелось показать свои работы. Он завел меня к себе домой, угостил обедом, кофе. После чего мы поднялись лифтом на предпоследний этаж старинного московского дома. А оттуда по крутой мраморной лестнице взошли на самый верх, где находилась его мастерская.

Художник был обаятелен, интеллигентен в лучшем смысле этого слова. Он нравился мне. И я хотел, чтобы картины тоже понравились.

Он только что вернулся из Парижа. Там с успехом прошла его выставка. Теперь собирался в Нью-Йорк, где после показа





картин в какой-то знаменитой галерее все они должны были быть проданы с аукциона.

Перешагивая через обрывки упаковочных материалов, я прошел вслед за хозяином к висящей на стене очень длинной картине. На ней во всю ее длину был изображен амбарный засов. Старинный амбарный засов, какие сохранились кое-где в деревнях еще с дореволюционных времен.

Написан он был с фантастической тщательностью. Художник словно смотрел в микроскоп, разглядывая и воспроизведя красками каждый миллиметр старинной вещи. Сиреневатая ржавчина покрывала ее, как гречневая каша. Глубокие шрамы, щербатины на этом старом железе воспринимались как боль, напоминали о мучительной жизни многих поколений крестьян.

— Браво, маэстро! — воскликнул я. — Жалко продавать на сторону такой шедевр.

— А это никто и не купит, — отозвался художник, — Специально для Нью-Йорка написал серию совсем других, авангардистских работ. Взгляните.

На противоположной стене висела вся серия. Шесть вытянутых в высоту мрачноватых полотен. На каждом из них был изображен обыкновенный венский стул.

Вот он почему-то парит в воздухе в полутьме какой-то кладовки, а над ним порхает бабочка. Вот тот же стул, перевернутый вверх ножками. К каждой ножке привязано по воздушному шарику.

Четыре остальные картины были исполнены в том же духе.

— Чудите, маэстро, — пробормотал я, не зная, что и сказать.

— Им нравится это, богатым людям, — грустно отозвался художник. — Будут искать свои смыслы...





Ц

ЦАПЛЯ. Год я писал книгу рассказов. С утра, как только мои девочки Ника и Марина уходили кто в школу, кто на работу, нетерпеливо садился к столу и погружался в совсем иные миры. Каждый день в разные.

Раньше я писал большие книги, а рассказы — никогда. И теперь вся трудность состояла в том, чтобы вместить содержание, которого иному прозаику хватило бы на роман, в новую для меня форму очень короткого рассказа. Это было захватывающее занятие.

От многомесячного пребывания за столом стала побаливать поясница.

Осенью Марина купила мне туристическую путевку в Египет. На две недели. Так я оказался в одном из бунгало на берегу Красного моря. Народа было мало. Туристический сезон увядал. Никто, кроме охранников с автоматами, не видел, как я ежевечерне направлялся к пляжу и, сбросив одежду, входил в море.

Как обычно, я плавал на спине, и первые дни чувствовал себя заряженным часовым механизмом, который кто-то спокойно разбирает на части, заботливо чистит, смазывает и снова потихоньку собирает.

Плыл и часто думал о том, что где-то здесь Бог на время раздвинул Красное море, чтобы дать дорогу Моисею и его народу, бегущему от фараона и его войска.

Правее от меня тянулся длинный причал, где ночевали экскурсионные суда, далеко слева виднелся уходящий в море пустьянинский мыс.

Я уплывал далеко, но почти всегда доносился сквозь воду звук каких-то ремонтных работ на причале, рокот запускаемого судового двигателя.





На пятое утро, сбрасывая с себя футболку и спортивные брюки, я почувствовал, что нахожусь на пляже не один.

У берега, там, где приливная волна вылизывала мокрый песок, стояла большая белая цапля.

Таких я когда-то видел во множестве на Ниле у Асуана, который находился поблизости отсюда — за полосой пустыни, в нескольких десятков километров.

Цапля изучающе смотрела на меня.

Заходя в воду, я подумал, что своим движением вспугну ее и она улетит. Но цапля продолжала стоять на месте и глядеть вслед.

Это замечательно, когда ты не один, и кто-то смотрит тебе вслед.

Я плыл с необыкновенной легкостью. Происходила адаптация, я восстановился, а впереди у меня еще было целых девять счастливых дней. Поглядывал на берег, где белым маячком стояла цапля.

Когда я приплыл назад, она взмахнула большими крыльями, с трудом преодолела земное тяготение и улетела куда-то в сторону Нила.

На следующее утро она снова была тут как тут.

Теперь мне плавалось все вольней. Цапля как дежурный врач неотрывно следила за мной.

На берегу не было ни камышей, ни лягушек, ничего, что могло бы ее интересовать.

Другим утром я принес ей жареную сардинку, взятую накануне во время ужина в ресторане. Подкинул ей. Цапля голенастно шагнула к моему угощению, опустила голову с длинным клювом, потрогала им рыбешку, ухватила. И решительным движением отшвырнула в сторону.

Каждое утро заставал ее на посту.

Наступил предпоследний день моего пребывания на Красном море. В Москве начиналась зима, и мне хотелось не-





возможного — наплаваться вдосталь, в запас. Что я и делал, раздумывая о загадочном поведении цапли.

Резкие тревожные гудки заставили приподнять голову. Прямо на меня, совсем рядом, перло большое судно с острым форштевнем. Еще минута, и оно могло ударить меня всей своей машиной. Или разрезать.

Я отчаянно заработал руками и ногами, уплывая в сторону. К моему ужасу, корабль поворачивался вслед за мной, надвигаясь.

Из последних сил я рванул к берегу. Заметил цаплю. Подумал, что, вероятно, это последнее, что мне суждено увидеть перед смертью. Я сделал еще рывок, и в этот момент судно сработало задним ходом, стало отдаляться. Оказалось, оно разворачивалось, чтобы встать кормой к причалу.

Цапля взглянула на меня, когда я вышел на сушу. Взмахнула крыльями.

И больше мы с ней никогда не встречались.

ЦВЕТЫ ЦУКИНИ. В Италии из цукини (кабачков) чего только не готовят. Как-то утром Лючия угостила меня оладушками с запеченными внутри цветами цукини!

Я ел, запивал кофе и вдруг вспомнил о бедных горцах Северной Осетии, живущих среди голых скал, у развалин древних сторожевых башен. Они там делают для детей сладкие пироги, запекая внутрь свекольную ботву. Если есть мука, если есть на чем развести костер.

ЦИТАТЫ. Самое катастрофическое, что могло быть сделано с живым словом Евангелия, — расчленить его на цитаты, растищить в разные стороны, каждый в свою. И жонглировать ими.

А еще я сам видел, как мужчина и женщина, видимо, с надеждой пришедшие в храм, выслушав дежурную проповедь



священника, полную благоглупостей, пожали плечами.
И вышли вон.

Проповедники говорящие не от сердца, а от цитаты, какой бы знаменитой она ни была, зачастую являются виновниками того, что людей, поступающих в жизни так, как заповедал нам Христос, очень мало.

Омертвляет живое слово Евангелия тьма суетных профессионалов, зарабатывающих деньги. Христос и его апостолы не получали никаких зарплат, никаких гонораров.





Ч

ЧАС БЕГУЩИХ ВДОЛЬ АДРИАТИЧЕСКОГО МОРЯ. Это время от семи до восьми утра, когда, сидя на пластиковом стуле, я пишу за одним из круглых столиков с дыркой, куда позже воткнут складной пляжный зонт. А пока, кроме меня, на огромном пространстве песчаного пляжа никого нет. Только ряды таких же белых круглых столиков да разгуливающая между ними стайка голубей.

Почему-то отвлекаешься от блокнота именно в тот момент, когда далеко справа из сизого туманца возникает что-то темное. Довольно быстро оно превращается в фигурку бегущего по мокрому песку чернокожего человека.

Коренастый, одетый в черную безрукавку, черные шорты, массивные черные кроссовки с высокими белыми носками, он бежит, набычив голову, сжав кулаки. И очень напоминает жука. Если бы жуки могли бегать на задних лапах.

Промелькнув мимо меня, он постепенно исчезает слева в соленой дымке, чтобы через час возникнуть вновь и скрыться до следующего утра.

А вот опять появляется девочка лет пятнадцати. Длинные черные локоны во время бега падают ей на лицо, и она упрямо откидывает их взмахом головы. Ни полнота, ни болезни, кажется, не грозят этому юному существу. Но она в движении. Бежит, удаляется на фоне моря.

Позже всех появляется третий бегун. Окостеневший старик в выгоревшей майке и пестрых трусах. Сутуло плетется трусцой, героически пытаясь удрать от смерти.

С течением дней все трое стали кивать мне на бегу. Я тоже приветствовал их жестом римских императоров.





К восьми утра час бегунов почему-то кончался. Тут-то я входил в море и начинал свой заплыv.

ЧЕПУХА. Во время исповеди я жаловался отцу Александру на самого себя. Теперь не упомню, о чем конкретно говорил.

Он слушал, слушал. Потом обнял меня за плечи, прижал к себе и жарко сказал:

— Чепуха. Какая это все чепуха! Вы счастливый человек, должны помнить об этом всегда. Живите весело!

ЧЕСТОЛЮБИЕ. Ника! Меня пугает твое честолюбие. С тобой становится невозможно играть в какие-либо игры. Ты не умеешь проигрывать.

Приключения жизни научили меня извлекать уроки из каждой неудачи. Однажды я был ошеломлен, когда до меня наконец дошло, что всякая неудача — это перст судьбы!

Ну, например, школьником, как человек, тоже зараженный честолюбием, я страшно переживал, оттого что мои стихи не печатали ни в «Пионерской правде», ни где-либо еще.

Трудно даже представить себе, каким позором были бы теперь для меня эти публикации.

Всему свое время. Впервые об этом сказала Библия устами мудреца Экклезиаста.

Неудачи неожиданно приводят к неслыханным удачам.

А настоящее честолюбие заключается в том, чтобы беречь свою честь. При этом никакие проигрыши не страшны.

ЧИТАТЕЛЬ. Кораблик моей книги приближается к концу алфавита, где я должен буду бросить Якорь.

Спасибо тебе, читатель, за то, что ты до сих пор со мной. Когда я пишу, вижу лучистые глаза своей Ники и чувствую рядом твое, читатель, плечо.





Скоро-скоро мы доплыvем, и вот что я должен тебе сказать: автор — не какой-то чванный, заоблачный житель. Всем присуще чувство одиночества. Если после чтения этой книги возникнет потребность о чем-то спросить, просто глянуть в глаза друг друга — сочту за честь.





III

ШАГ. Сделать шаг вперед от прежнего самого себя возможно, только сделав шаг внутрь себя. Все остальные, внешние манипуляции — пустое дело.

Лунный шаг американского космонавта Нейла Армстронга, в сущности, ни к чему новому не привел.

Космос, сокровенно присутствующий в каждом человеке, можно открывать, только углубляясь в себя шаг за шагом. Чтобы путешествие было безопасным, необходим проводник. Христос.

ШАРМЕР. Так на французский лад называют немногочисленную породу мужчин обладающим неким гипнотическим влиянием — шармом.

У шармера, как правило, низкий голос — баритон, что особенно чарует окружающих. Шармер быстро переходит на фамильярные отношения со всеми и как бы между прочим извлекает из этих отношений свою выгоду.

Если гипноз этого вальяжного пустобреха на кого-то не действует, он немедленно прекращает свои притязания на того человека. И принимается за другого.

Часто бывает писателем, на худой конец — журналистом. Его ловко скроенные книжки или даже написанные в панибратской манере статейки всегда по сути являются сплетнями.

Не выносит даже временного одиночества. Постоянно ищет очередную компанию. Не дурак выпить. И авторитетно поразглагольствовать о чем угодно. Загипнотизированные простаки смотрят ему в рот.

Оставляет после себя десятки несчастных женщин. Порой с детьми.





Если он журналист, страдает оттого, что не стал писателем. Если писатель, мучается, что не может написать большой роман.

Как правило, шармер исчерпывается рано, не дожив до старости.

ШАХРЕЗАДА. Бойкая девица. Чтобы максимально отсрочить день своей казни, отвлекала жестокого повелителя все новыми сказками с продолжением. По праву должна считаться изобретательницей первого сериала.

Не знаю никого, кто одолел бы собрание ее сказок хотя бы до середины. За некоторыми исключениями истории эти тягостно скучны и рисуют людей или неправдоподобными недюжими, или полными олухами.

Таковы в принципе и современные телесериалы. Только создатели этих бездуховых сказочек пока что не трепещут от страха...

ШКОЛА В БЕСЛАНЕ. Настроение у меня было хуже некуда. Наверное, как у большинства людей в мире.

Все телеграфные агентства, все телеканалы, все радиостанции беспрерывно сообщали о том, что 1 сентября чеченские террористы захватили в Беслане школу с сотнями наполнивших ее детей.

Что я мог сделать? Молился, как мог.

Я знаю силу молитвы. Надеялся, что в эти часы и дни о спасении этих девочек и мальчиков молятся все: христиане, мусульмане, буддисты и даже те, кто ни во что не верит.

И все же на трети сутки чудовищное злодеяние произошло. Горы детских трупов. А многие из тех, кто уцелел, на всю жизнь остались калеками.

Христос говорит: «Если имеете веру с горчичное зерно, сможете двигать горами». Чего же стоит наша вера, наша молитва объединенного общечеловечества?





Горы детских трупов...

Быть не может того, чтобы Христос нас обманывал.

Вот о чём я думал тем трагическим вечером, когда ехал со знакомым испанистом встречать в аэропорту Шереметьево какого-то священника из Барселоны. Мне было все равно, куда ехать и кого встречать.

Было уже совсем темно, когда мы припарковались на стоянке и мой приятель отправился в здание аэропорта выискивать своего гостя.

Чувство богооставленности, сиротства пришибло меня. Я сидел в машине ни жив, ни мертв.

...Они появились неожиданно быстро. Уложили чемодан в багажник. Священник сел на заднее сиденье. Потом — за руль, рядом со мной. И мы поехали обратно в город.

Приятель вёл машину, что-то рассказывал обо мне вновь прибывшему. Я не оборачивался, не видел лица священника. Мне было все равно.

— Эрмано! — неожиданно раздалось в машине, и сзади на мое плечо легла рука испанского священника. — Брат! Бог тебя любит.

Пока мы ехали, священник продолжал бубнить. Мне не нужен был перевод с испанского. До меня доносились обрывки фраз: «Миссия... Евангелизация...»

Когда мы вышли из машины и поднимались лифтом в квартиру приятеля, я увидел, что испанец — молодой человек с острой бородкой. Вроде даже симпатичный. Это только прибавило мне ярости. «Смолоду учат их в семинарах возвышенной чепухе, — подумал я. — Самодовольные болтуны...»

И только нас усадили ужинать, я попросил приятеля в точности, слово в слово, перевести священнику все, что я скажу.

— Знаете о том, что произошло у нас в Беслане три дня назад? О горах трупов девочек и мальчиков?





Тот несколько испуганно закивал.
—Вы лично молились о спасении детей? Отвечайте честно!
Молились, когда все началось?

Священник встал со своего места, подошел ко мне. Произнес:

—Тогда не молился... Прости меня...
—А Европа молилась? Америка молилась? Весь мир молился? — я тоже встал. Мне было не до ужина.—Вы верите в силу молитвы? Теперь, когда все кончилось, будете ставить свечи, махать после драки кулаками...
—Прости меня,—повторил священник. В глазах стояли слезы.
—Тогда какое же мы имеем право называться христианами?— спросил я, обнимая его.





Щ

ЩЕБЕТ. Слышишь, Ника, как с наступлением сумерек снова раздается оглушительный щебет? Скоро он стихнет. Бежим в лоджию! Покажу тебе, откуда он слышен.

Видишь, сейчас во дворе нет ни одной птицы. А щебет нарастает. Как финал симфонии. Так бывает только осенью и зимой.

Смотри, вон по стене того дома взобралось до пятого этажа густое вьющееся растение с красными листьями—дикий виноград.

Щебет—оттуда. Там устраиваются на ночлег воробы со всей нашей округи. Их, может быть, сотни.

Ни злые вороны, ни кошки не могут проникнуть в эту высотную гостиницу. Я сам видел, как воробы сбили на землю нахального кота и всей стаей гнали его по двору. Вот, Ника, какие у нас отважные соседи.

Воробушки никогда не оставляют нас на зиму.

ЩЕДРОСТЬ. За рулем своего «Запорожца» я уже который час кружил по раскаленной сковородке июльской Москвы. С утра заработал на бензин. Заправил полный бак. И снова возил пассажиров—тех, кто «голосовал», стоя у края тротуара. Тогда такси не хватало.

С моей стороны это было отчаянным решением—попытаться с помощью «частного извоза» добыть денег на лекарство для больного отца и на еду.

Я боялся не столько конкурентов—таксистов или гаишников, сколько того, чтобы мой «Запорожец» не заглох в толчее автотранспорта, в какой-нибудь пробке.

Кроме того, я стеснялся назначить цену пассажирам. «Сколько возьмешь довезти до Тёплого стана?», «До Черему-





шек?», «До Химок?»—спрашивали они, перед тем как сесть в машину.

«Сколько заплатите»,—отвечал я, прикидывая в уме предстоящий маршрут. Каждый норовил заплатить поменьше. Но я был и тому рад.

Не пересчитывал. Запихивал деньги в карман.

Несколько раздражали инвалиды и старушки. Конечно, я возил их бесплатно. Но они так долго усаживались в машину, а по выходе затевали ненужные споры о том, что я должен взять с них какие-то деньги, что вынуждали меня грубо ответить: «Извините. Теряю с вами время. Привет!»

...Я проезжал мимо Центрального рынка, когда увидел посреди мостовой наголо обритого верзилу. Он требовательно махал всем проезжающим автомобилям.

Я тормознул. И в тот же момент понял, что делаю глупость. Что брать этого клиента опасно. Но было уже поздно.

«В Южный порт!—приказал он, вваливаясь в машину,—Быстро довезешь, заплачу, как фраеру!»

Путь был неблизкий. Но я ухитрился доставить его во двор какой-то заросшей тополями облезлой пятиэтажки меньше чем за полчаса.

Верзила вышел и направился к подъезду. «А деньги?»—напомнил я вслед.

Он обернулся, сделал шаг назад и, пригнувшись к оконцу, внятно произнес: «Убью».

Я решил, что с меня хватит. День клонился к вечеру. Я устал. И впервые подумал о таксистах — каково им выкладываться изо дня в день...

Направился обратно к центру и увидел жалкое летнее кафе, пестревшее среди пыльных деревьев своим выгоревшим тентом. Захотелось выпить воды — шипучей «Пепси-колы» или минеральной. Заодно и подсчитать скопившуюся





в кармане какую-никакую выручку. И увидел двух женщин — старую и молодую. Они стояли у тротуара с чемоданом и дорожными сумками.— Вам куда?— На Казанский. На площадь трех вокзалов.

Это было более или менее по пути к моему дому. Я погрузил тяжелый чемодан и сумки в багажник. Впустил пассажирок на заднее сиденье.

Всю дорогу они ругались между собой. Как оказалось, мать и дочь. Страшно, отвратительно ругались. Я старался не вслушиваться, но поневоле краем уха уловил, что они не поделили какое-то, чуть ли не стотысячное наследство, которое едут получать после гибели родственников.

Когда мы подъехали к Казанскому вокзалу, я едва нашел место, где их выгрузить.

Вытаскивал из багажника чемодан, сумки и думал: «Хватит! Заеду в аптеку, куплю лекарство для отца, еды в гастрономе. И под душ — смыть с себя всю гарь этого дня». — Что ты ему даешь?! — прикрикнула старуха. — Жадина! Дрянь! Не умеешь быть щедрой!

Она выхватила кошелек у дочери и прибавила к десятке, которую та мне давала, один рубль.

ЩЕМЯЩАЯ НОТА. Пока я писал эту книгу, ты пошла во второй класс. Изучашь математику с иксами, английский язык.

Сделалась старше на год. А я — на год старее...

Исподволь посматриваю на тебя, мой детеныш, все чаще думаю: «Что будет с тобой в этом мире, когда нас с мамой не станет?»

ЩУКАРЬ. Когда-то писатель Шолохов изобразил в романе «Поднятая целина» этакого старицана-хитрована, деда Щукаря. Носителя «народной мудрости».





С тех пор аналогичные деды Щукари стали появляться во множестве произведений других сочинителей.

Сыпали прибаутками-поговорками, спьяну рассказывали различные байки, в меру возможности подкалывали власть. И обязательно демонстрировали несокрушимость тезиса: деревенский мужик — основа миропорядка.

Подобные Щукари — измысление тепло устроившихся в городе писак.

Тертые жизнью деревенские люди были забитыми, малообразованными носителями рабской психологии. Они могли быть себе на уме, сколь угодно затейливо материть притеснителей. Но в конечном итоге покорно принимали свою рабскую долю.

Иначе не было бы у нас такого несчастного народа, такой бесконечно тягостной несвободы.





Э

ЭКЗОТИКА. Как большинство мальчишек, я тоже мечтал о дальних странах. Никаких шансов попасть в сказочные миры, которые назывались «Африка», «джунгли», «пампасы», «Средиземное море», «Малайский архипелаг», у меня, конечно, не было.

Оставалось разглядывать атласы, карты, почтовые марки английских и французских колоний.

Сколько я себя помнил, у нас имелась единственная экзотическая вещь — висящее на стене круглое, размером с колесо, резное разноцветное изображение японских рыбаков, вытягивающих в лодку сеть с рыбой.

Ума не приложу, куда потом делась эта тонко выполненная работа. Должно быть, мама в трудную минуту отнесла ее в антикварный магазин.

Мальчишкой я засматривался на желтолицых японцев, на коричневую лодку, на серебристых неведомых рыб...

С тех пор многое переменилось. И теперь, возвращаясь из дальних странствий, я всегда привожу с собой не какие-нибудь расхожие сувениры, а найденную на морском берегу раковину, морскую звезду или красочный плакат с корриды в Барселоне.

Эта экзотика наряду с живыми тропическими растениями, веселым чириканьем попугаев-неразлучников наполняет наш дом.

ЭКОСИСТЕМА. — А не пуститься ли нам в путешествие?

Я отложил авторучку и поднял взгляд от рукописи. Отец Александр, держа папку в руках, шагнул в комнату с балкона, куда уже пришло жаркое солнце. Он любил работать на балконе, посматривать на морскую даль.





—Застопорилось. Не работается,—продолжал он.—В самом деле, кроме Каспийского моря и работы, мы с вами вокруг ничего еще не видели. Прогуляемся? Я заметил с балкона соблазнительную тропу. Интересно, куда она выведет.

И вот мы шли по этой тропе среди высоких зарослей. Было душно, как в банной парилке. Какие-то кусачие мошки вились над нами.

—Интересно, куда она ведет?—повторял отец Александр, утирая пот со своего могучего лба.

Он, без сомнения, начинал чувствовать себя виноватым. Потому что тропинке конца не было.

...Мы обитали где-то на стыке Дагестана с Азербайджаном, на приморской турбазе, куда нас поселили мои друзья—бывшие пациенты из Дербента.

Утром и вечером наслаждались морем. Потом работали каждый над своей рукописью. И вот впервые отвлеклись от ставшего привычным ритма жизни.

В конце концов тропинка вильнула в сторону, среди стены зелени показался просвет.

Перед нами открылось озерцо, откуда в сторону моря вытекал ручей. В тишине слышен был перезвон его струй, бегущих между камнями. Несколько больших валунов лежало у берега. Мы сели на них. Слабый ветерок обевал наши лица.

И тут я заметил нечто необычайное. На одном из камней посреди озерца ярко светилось что-то изумрудно-зеленое. Это была птичка. Она подрагивала хвостиком, выжидательно посматривала на нас.

Я тронул отца Александра за локоть. Но он уже увидел живую драгоценность. Восторженно шепнул:

—Зимородок.

Мы сидели, замерев. Вдруг птица по-стрекозиному взлетела в воздух, поймала какую-то мошку и опустилась на лист кув-





шинки возле берега. Оттуда шлепнулось в воду несколько лягушечек. И тут же в озерце всплеснула рыба.

— Райское место! — сказал отец Александр. — Смотрите, целая экосистема в миниатюре. Гармония птиц, насекомых, рыб... Развягся кто как хочет.

— И никаких следов человека, — подхватил я. — Свобода, равенство и братство.

— А как вы относитесь к этому лозунгу французской революции? — спросил вдруг отец Александр.

— С энтузиазмом!

— Сам по себе лозунг ничего не означает, — посеръезнел отец Александр. — Равенство? Кого и перед кем?! И вообще весь мир устроен по принципу иерархии. Свобода? От чего? И от кого? В принципе это слово означает просто анархию. Мы это проходили... Ну, а что касается братства, то для этого нужен как минимум, хотя бы общий Отец.

ЭЛЛИНГТОН ДЮК. Черное море словно с цепи сорвалось. Вторые сутки под свистящим ветром гнало высоченные валы. Они расшибались о прибрежную гальку и с грохотом стаскивали ее назад в пучину.

Шипящая пена с гребней долетала до окон дома. Он был насквозь выстужен зимней бурей. Все в нем потрескивало, как потрескивали радиоволны в дряхлом ламповом приемнике.

Мария Степановна — старенькая вдова поэта Макса Волошина — постоянно топила печку, постоянно бегал я в подвал за охапками дров, но в доме стоял свирепый холод.

Вторые сутки я ложился спать, не раздеваясь. Ни свитер, ни одеяло не согревали. Немолчный грохот не давал заснуть. Иногда казалось, что надвигается гигантская волна и вот-вот смоет знаменитый Дом поэта, утащит за собой в ночное море.





Радио передавало, что в Новороссийске норд-ост переворачивает корабли, сносит крыши с припортовых складов.

Всю ночь, высунув в холод руку из-под одеяла, я крутил ручку настройки приемника, мотался с диапазона на диапазон, пока не наткнулся на коротких волнах на едва различимые звуки джаза. Кто-то так играл на рояле в сопровождении саксофона и трубы, что я замер от неожиданно прихлынувшего чувства счастья.

Описывать музыку, вообще говоря, невозможно.

Когда она кончилась, я разобрал сквозь треск помех фамилию исполнителя—Дюк Эллингтон.

...Через много-много лет в Минске, где я снимал кино, появились афиши, извещавшие о том, что в город прибыл с единственным концертом легендарный американский джазист Д. Эллингтон.

Я помнил. Вообще помню все.

Концерт проходил во Дворце спорта. Рояль почему-то стоял в левом углу сцены, и мне с моего места чудесный исполнитель джазовых мелодий был почти не виден.

Но вот в конце вечера он под овацию зала встал, подошел к краю сцены принимать поздравления и букеты.

Я тоже подошел к сцене. Молча смотрел на высокого, худого, уже старого человека.

Эллингтон заметил этот взгляд. Внезапно нагнулся вперед, протянул мне смуглую негритянскую руку с длинными пальцами.

—Хелло, брадер!—весело сказал он.—Здравствуй, брат!

ЭМИГРАЦИЯ. Многие писатели, те, кто уехал из России в США или Западную Европу, теперь без конца рисуют себя мучениками, говорят, что прямо или косвенно их заставил покинуть Родину КГБ.





В большинстве случаев это не совсем так. Гоняясь за комфортом, высокими гонорарами, сытой жизнью, они удирали, как только открылась возможность.

Кое-кто добился, чего хотел.

Профессорствуют в университетах, издают книжки, присуждают друг другу различные премии. Нередко печатают статьи в газетах и журналах, поучают, как нам жить в теперешней России.

Ну и ладно. Бог им судья.

Но вот, что самое грустное.

Вся без исключения их литература — хилая. И проза. И поэзия. Какая-то выморочная. Перенасыщенная явными и скрытыми цитатами. Вздыханиями по поводу своей судьбы. Которую они же сами себе избрали.

...Горестная история Антея, который потерял силу, оторвавшись от своей матери-земли, не миф.





Ю

ЮНОСТЬ. По вечерам звонят нерадивые одноклассники, спрашивают у тебя, какие заданы уроки. Утром, собравшись в школу, ты на мгновение останавливаешься передо мной, чтобы я оценил, как ты одета и причесана. Прибегаешь после прогулки с карманами, набитыми плодами дикого каштана, «чтобы сделать бусы для мамы». Перед сном рассказываешь о дочитанной книжке про какую-то девочку, которую мачеха гноила на чердаке. Засыпаешь с игрушечным котенком под подушкой.

Не знаю, где точно проходит граница между детством и юностью.

Солнце юности поднимается над тобой.

...Бывает, Ника, что это солнце остается с человеком на всю жизнь. Даже когда оно не видно за тяжелыми тучами, за пеленой облаков.





Я

ЯБЛОКО.—Папа! Девочка из нашего класса принесла с собой большое яблоко. Во время перемены она взяла у одного мальчишки перочинный ножик, разрезала его на много тоненьких долек и раздала их нам. Знаешь, какое это было чудо!
Я никогда не ела такого вкусного яблока. Почему?

—Подумай еще немножко. И поймешь.

2004 г.





45 ИСТОРИЙ

221





Наш старик

Слякотным осенним днем я остановил машину у магазина «Овощи-фрукты», и мы с отцом Александром Менем вышли, чтобы купить для старика соки, виноград. Потом, подумав, взяли еще пяток бананов. Мы не знали, можно ли ему все это. Бананы, по крайней мере, были спелые, мягкие.

Больница находилась в одном из переулков возле Маросейки, и я изнервничался, пока нашел ее. В тот день я вообще очень нервничал. Утром мне позвонили, сказали, что накануне старика увезла «скорая». Третий раз за год.

Я любил этого человека, которому шел девятый десяток. Он давно был тяжело болен. С перебоями работало изношенное сердце, трофическая язва изъела ногу, слезились глаза, красные, как от трахомы. Который год пластом лежал он на кровати в своей войлочной шапочке. Рядом на тумбочке вперемежку с тонометром и градусником громоздились пузырьки с лекарствами, коробочки с таблетками. А поверх одеяла среди свежих газет валялись очки, блокнот и авторучка.

По профессии он был искусствовед. Все еще пытался работать. Некоторые из его маленьких статей даже публиковались. Из последних сил старался он быть не в тягость своей семье, состоящей из его жены и сестры. Таких же старых, как он сам.

Горестный запах тлена, умирания стоял в этой обшарпанной квартирке, когда я приходил туда с воли. Эти люди были рады мне, как родному сыну.





В вестибюле больницы гардеробщица сказала, что мы приехали не вовремя. Посетителей к больным непускают. По счастью, отец Александр уже регулярно выступал тогда с проповедями по телевидению. Она узнала его и выдала нам белые халаты. Мы поднялись лифтом на третий этаж, прошли длинным коридором к палате, где находился наш старик. Открывая дверь, отец Александр на миг обернулся, глянул на меня. И я понял, что должен обождать. Мало ли о чем захочет сказать умирающий священнику во время исповеди. Подошел к окну в конце коридора. На карнизе снаружи сидел голубь. Пытался укрыться от моросящего дождя. Я думал о том, как ждут нас дома жена и сестра старика. О том, что если он умрет, это станет пусковым механизмом их быстрой гибели.

Все трое были чуть ли не последними представителями далекого времени, называемого «Серебряный век». Бескорыстные, самоотверженные интеллигенты, на долю которых выпала первая мировая война, революция, гражданская война, сталинские чистки, вторая мировая... Чудовищно много бед для одного поколения!

Нашего старика не миновала участь лагерного «зека». Теперь только по прекрасному живописному портрету, висящему в их квартирке, можно было судить о том, как он был красив когда-то в молодости. Особенно глаза, исполненные надежды, веры в жизнь. Эти трое не стали знамениты, как их ровесники и друзья—Ахматова, Цветаева, Мандельштам, но именно благодаря непрестанным усилиям таких людей и передавалась эстафета культуры. «Победитель не получает ничего»,—сказал в свое время Хемингуэй. И вот теперь на самом склоне жизни они оказались одинокими, больными и очень бедными, с их грошовыми пенсиями.



Голубь тяжело взмахнул намокшими крыльями, снялся с карниза, полетел вниз к середине убитого асфальтом больничного двора.

—Заходите,—раздался сзади негромкий голос отца Александра.

Мы вошли в палату. Троє больных сидели на койках у тумбочек, поглощали обед. Стариk лежал под капельницей. Красные веки его приоткрылись.

—Здравствуйте. Спасибо что навестили,—проговорил он с трудом.—Где вы сядете?

—Не беспокойтесь,—сказал отец Александр. Он пододвинул мне стул, а сам примостился в ногах больного.

Я нагнулся, погладил старика по виску. Из глаза его выкатилась слеза. Я стер ее ладонью.

—Умираю,—шепнул старик.—Не успел написать о чтении стихов.

—Еще напишете,—улыбнулся ему отец Александр.—Вернетесь домой и напишете. Это очень важно.

—Вы так думаете?—старик перевел взгляд на отца Александра, потом на меня. Я кивнул. Он был так жалок, что я сам чуть не заплакал. Вошла дежурный врач в сопровождении медсестры, и нас попросили уйти. Когда мы ехали потом на вестить его близких, отец Александр сказал:

—Теперь не умеют читать стихи. Если вообще читают. Культура художественного слова утрачена. Это замечательная мысль—рассказать об опыте таких великих мастеров, как Закушняк, Яхонтов, Сурен Кочарян... Он их всех слышал, знал лично.

—Батюшка, какие стихи? Да он помирает! Как бы не пришлось на днях ехать на кладбище...

—С чего это вы его хороните?!—Отец Александр рассердился.—Пока человек жив, он имеет право надеяться, что-то планировать. И думать и молиться о нем нужно, как о живом! Ему, как и нам с вами, жить хочется. Не так ли?





Я ничего не ответил. Мне стало стыдно.

...Сгорбленная старушка открыла нам дверь. Прижалась головой сначала к отцу Александру, потом ко мне. За те годы пока я ее знал, она стала совсем низенькая. Держал ее в объятиях, как птичку, от которой остался один скелетик с бьющимся сердцем. По дороге сюда мы заехали в молочную, купили кое-что. Раздевшись, первым делом прошли на кухню, чтобы выложить на буфет продукты. И увидели ожидающий нас на крытый стол с заботливо приготовленными старушечими закусками—винегретом, рисовыми котлетками, какими-то сухариками к чаю.

И пока она шустро побежала поднимать с постели сестру своего мужа, тоже лежачую больную, отец Александр жарко прошептал:

— Присядем. Не вздумайте отказываться. Поклюем.

Недолго довелось нам пробыть с двумя старыми женщинами. Впереди у отца Александра было полно очень серьезных дел. Я допоздна возил его на машине.

А наш старик прожил еще несколько лет! И статью о том, как надо читать стихи, написал.





Психоанализ

— Бон суар, месье! — раздавалось навстречу, когда они вдвоем шли под ярчайшими фонарями по вечерней парижской улице.

Старушка с кошкой на поводке, булочник, выглянувший из-за стеклянной двери своего заведения, двое подростков, катившие на роликовых коньках — все приветствовали этого седоватого человека.

— Прошло девятнадцать или двадцать лет, пока квартал признал меня своим. Мое главное завоевание в жизни.

— Прямо! А мировая известность? А то, что календарь симпозиумов и лекций расписан на два года вперед?

Стало видно, как вдалеке сверкает морем огней знаменитая площадь. Но они свернули к полуоткрытym воротам старинного литья, вошли во дворик, напоминающий испанское патио — с растущей в кадушке задумчивой пальмой, какими-то цветами в больших вазонах.

— Как же они зимуют?

— Зимой здесь достаточно тепло, — седой человек остановился перед дверью подъезда, повернул к спутнику погрустневшее лицо. — Должен предупредить: жена не очень хорошо себя чувствует, уже полгода или год. Ничего-ничего! Все вместе поужинаем, расскажете о Москве.

Пятикомнатная парижская квартира — вся белая с позолотой, чудесной старинной мебелью, не лезущей в глаз, живописными полотнами, обрамленными тонким багетом, роялем в гостиной — все это москвичу показалось сущей фантастикой.





За изысканным ужином, поданным в тарелках антикварного сервиса, попивая коллекционное бордо, гость отвечал на распросы хозяев о Москве, о немногочисленных общих знакомых.

Жену знаменитого физика он раньше не знал. Она тоже оказалась эмигранткой из России. Встретились и поженились они уже здесь, в Париже.

Рано поседевшая, изможденная, она, перед тем как подать кофе, вынула из нагрудного кармана платья флакончик, вытряхнула две таблетки, бросила в рот, запила водой.

— Видали? По пригоршне в сутки,—нахмурился муж.—И еще каждый раз на ночь капли снотворного...

По морщинистым щекам женщины поползли слезы. Она вышла.

Гость понимал—его пригласили в смутной надежде на чудо: знали, что он—целитель.

За то время, пока ее не было, он услышал о том, что, несмотря на многочисленные обследования, в том числе томографию мозга, консультации у врачей самых разных специальностей, установить, почему она за год похудела почти на тридцать килограммов, стала нервной, отчего каждую ночь снятся кошмары, установить не удалось.

— Был какой-нибудь стресс? Переживание?—спросил гость.

— Не думаю. Все у нас было нормально. Сопровождала меня в поездках по университетам, увидела весь мир. У нас небольшая вилла в Испании. Теперь ни ногой. Разве к врачу-психоаналитику. Трижды в неделю. Страшно дорогой. Получается—работаю на него.

— Как он ее лечит?

— В основном разбирают сны. Все эти кошмары.

— Что же ей снится?

— Отрубленные головы, экскременты... Иногда ее тошнит среди ночи. Жизнь превратилась в ад.



—У нее есть профессия?

—Искусствовед, специалистка по французской живописи восемнадцатого века. Начала было работать в Лувре... Этот психоаналитик допытывается, не снялся ли фаллические символы, велел завести записную книжку для записи снов.

—Дождь пошел.—Она внесла подносик с кофе и вазочкой, доверху наполненной бисквитами.—У вас нет зонтика. Будете идти обратно, дадим вам каскетку. Ну, кепку. У мужа их много, штук шесть.

—Спасибо.

—Ты, конечно, уже обо всем рассказал? Жаловался?—она подсела к столу, утопила лицо в ладонях. На пальцах блеснули кольца.

—А я не хочу, не хочу умирать в тридцать восемь лет! Что со мной? Как вы думаете, что со мной?

Гость поднялся из-за стола, подошел к окну, сдвинул тюлевую гардину.

На улице действительно шел дождь, хрустальный от света фонарей.

—Глисты,—сказал он, обернувшись.

И в ту же секунду понял по выражению изменившихся лиц хозяев, что смертельно оскорбил и их, и этот дом, и чуть ли не весь Париж.

Ничего не оставалось, кроме как попрощаться и уйти в дождь без кепки. Которую ему уже не предложили.

...Через несколько месяцев какой-то математик, вернувшийся в Москву из Франции, завез ему флакон мужской туалетной воды «Ален Делон» и благодарственное письмо от супругов.





Ястреб

Так получилось, что девочка за все десять лет своей маленькой жизни не знала горя. Серьезно не болела. Не расставалась с родителями, которые ее очень любили.

В день окончания третьего класса папа подарил ей глобус Земли, мама — желтенькое платьице с голубыми васильками по подолу и настоящий, «взрослый» атлас республик Советского Союза. Они знали о возникшем пристрастии дочки к географии.

В июне отец — бывший фронтовик, инженер железнодорожных войск — был направлен в длительную командировку на целинные земли проектировать рельсовые пути к элеваторам для вывоза предполагаемых урожаев зерна. Мать провела свой отпуск с дочкой на даче знакомых в подмосковной Тарасовке.

В начале августа пришла пора возвращаться на работу в больницу — она была хирургом.

Пришлось, пусть с опозданием, отвезти дочь в пионерлагерь, на третью смену.

В первый же день девочка обошла всю территорию.

Пахло смолистыми соснами. В пучках солнечных лучей над аккуратными газонами то появлялись, то исчезали бабочки. За утоптаным пространством линейки с ее высоким флагштоком и выгоревшим флагом сквозь щелястые доски забора виднелась слепящая гладь лесного озера. Изредка по ней скользили лодки с удильщиками или парочками.

Перед обедом она обнаружила пристроенную к столовой терраску, где размещался живой уголок. В трехлитровой бан-





ке среди воды и камешков жили лягушки, в картонной коробке шуршал набросанной травой и листочками ежик. Тут же, на столе, заполнив собой проволочную клетку, сидела большая коричневая птица.

— Новенькая, в какой спортивной секции будешь заниматься? — окликнул ее пробегавший мимо худой усач со свернутой тетрадкой в руке.

— Не знаю.

— Как «не знаю»? К концу третьей смены, в честь закрытия лагеря будем готовить спартакъяду. Меня зовут Ашот Ашотович. Подойди к стенду с распорядком дня. Там висит список спортивных секций. Это рядом с волейбольной площадкой. Выбирай! Нельзя не участвовать в спартакъяде!

После обеда девочка нашла волейбольную площадку и деревянный стенд с распорядком дня и прикрепленной бумажкой со списком. Секций было много, футбольная, волейбольная... Показалось, что лучше всего записаться в секцию художественной гимнастики. Ей понравилось слово — «художественной».

Наступило время мертвого часа.

И с этих пор, с первого же дня пребывания в лагере, на девочку навалилось страшное, непонятное горе.

— Мая Рабинович! Почему лежишь с открытыми глазами? — раздался над ней пронзительный шепот пионервожатой Зинаиды Ивановны. — Спать!

— Мне не хочется.

— Весь отряд спит, а ей, Рабинович, не хочется! Повернись к стенке, и чтобы глаза были закрыты.

Убедившись, что девочка повернулась к стенке, молоденькая пионервожатая вышла из бревенчатого барака, где находилась спальня.

— Рабинович, — послышался шепот с соседних кроватей, — не будешь спать — накажут остальных. У нас такой порядок.





док—один за всех и все за одного... Слышишь, Рабинович?

Девочка ничего не ответила. Перед ее глазами на гладкой поверхности бревна был виден след сучка, напоминающий очертаниями Черное море.

Она вспомнила, как прошлым летом ездила с папой и мамой в Евпаторию. Из глаз покатились слезы.

Как это бывает, девочки в отряде успели сдружиться между собой до ее запоздалого приезда. Они держались стайками. Казалось, до одиноко бродящей по аллейкам Маи никому не было дела. Кроме пионервожатой.

Зинаиду Ивановну раздражала тихая, безответная девочка.

—Рабинович, куда ты идешь?

—Никуда.

—Беги сейчас же на спортплощадку! Разве ты не знаешь, что начались занятия по художественной гимнастике? Сама записалась!

—Не хочу.

—А что ты хочешь?

—К маме.

Когда она все-таки прибрела к спортплощадке, там расставленные в шахматном порядке пионерки крутили вокруг себя обручи.

—Опоздала!—с досадой констатировал Ашот Ашотович.—Становись сюда. Запомни, это будет твое место на спартакъяде. Теперь на счет раз-два-три учимся делать шпагат! Смотрите, как это делается!

Он пригнулся, уперся руками в землю. Ноги его, как усы, раскинулись по земле вправо и влево.

—Видал-миндал! А теперь каждая из вас сделает, как я. Раз-два-три!

Вместе со всеми Мая попыталась растянуться в шпагат, почувствовала раздирающую боль и упала.





— Будешь тренироваться каждый день. Иначе не успеешь к спартакиаде,— Ашот Ашотович поднял ее, обратился к остальным:— Пошел судить волейбольный матч. А вы упражняйтесь с ней, пока не научится.

— Делай шпагат, Рабинович! — загадели девочки.

Мая посмотрела на них, повернулась и побрела.

Гимнастки сорвались с мест, кинулись за ней с намерением поколотить.

— У нас один за всех, все за одного! Вот устроим тебе «темную», Рабинович, будешь знать!

И тут девочка обернулась. Зубы ее оскалились, как у зверька, губы дрожали.

С этих пор она целыми днями сидела в мамином желтом пластициде с голубыми ватсельками на ступеньках крыльца у входа в спальный барак. Обняв коленки и склонив голову с темнорусой косой, тупо смотрела на снующих по земле муравьев.

С одобрения Зинаиды Ивановны девочки объявили ей заговор молчания.

Она не понимала того, что происходит. Ее понимание справедливости, доброты было разрушено. Детским умом смутно чувствовала — причиной беды почему-то является ее фамилия. Ни в школе, ни дома во дворе Mae еще не доводилось ощущать свою отверженность.

Порой спрашивала у какого-нибудь пробегающего мимо пионера из другого отряда:

— Какое число?

Ждала родительского дня, воскресенья. Очень боялась, что ночью ей устроят непонятную «темную». Старалась ложиться позже всех.

Зинаида Ивановна перестала к ней приставать. Зато однажды перед крыльцом появилась директорша лагеря в белом халате.





— Бука! — сказала она. — Почему ты не в пионерской форме? Красивая девочка, сидишь, как сырь, не развлекаешься. Завтра все отряды до обеда уходят в поход...

Мая опустила голову еще ниже.

На следующее утро после завтрака, убедившись, что лагерь опустел, девочка решила пойти к тому месту в щелястом заборе, откуда было видно лесное озеро, но что-то толкнуло ее изменить направление. Она двинулась к закрывшимся за ушедшими отрядами воротам из железной сетки.

Издали увидела — по пыльной дорожке с хозяйственной сумкой в руке спешит кто-то родной, единственный в мире!

— Мама!

— Доченька, вырвалась на несколько часов, сегодня нет операций! Позови кого-нибудь из старших отпереть ворота!

— Не надо, не надо! Заругают. Сегодня ведь не родительский день. Мамочка, иди вдоль забора, там возле озера дырка!

Мая бежала со своей стороны забора, чувствовала, как у нее все сильнее колотится сердце.

Сдвинула трухлявую доску, бочком протиснулась в щель.

— Девочка, что с тобой? Ты так осунулась... — мать, запыхавшись, гладила ее, ощупывала, прижимала к себе.

Потом вынула из сумки kleenку, расстелила ее на траве, посадила дочь, села рядом, начала было уговаривать привезенными абрикосами, уже нарезанной на ломти дынькой.

— Хочу к тебе, — сказала девочка.

Мать взяла ее на руки.

— Мамочка, разве сегодня воскресенье?

— Нет. Сегодня пятница. У меня нет операций. Вот я и вырвалась на полдня. Зато в воскресенье полно операций. Так получилось.

— Значит, не приедешь?

— Не смогу.





— Тогда, пожалуйста, пожалуйста, сейчас же забери домой!
— Маечка, родная, тоже не могу. Папа, дай бог, вернется через месяц. С кем ты останешься, с кем будешь гулять? Тут все-таки чистый воздух, вон какое красивое озеро. Ешь, угощайся! Как тебе все-таки тут живется?

Но девочка замкнулась. В ней что-то словно погасло.
...Когда они простились и мать скрылась за поворотом забора, ушла, уехала, Мая протиснулась обратно в щель, направилась со своими кульками фруктов к живому уголку.

Ежика в коробке не оказалось. Лягушата не обратили никакого внимания ни на абрикос, кинутый им в банку, ни на кусочек дыни. Один из лягушат валялся дохлый, покрытый плесенью.

Большая коричневая птица, сгорбясь, следила за Маей из тесной клетки.

Девочка поискала дверку, чтобы просунуть внутрь угощение. Дверки почему-то не было. Тогда она обратила внимание на то, что клетка с четырех сторон прикручена к деревянному дну тонкими железными проволочками.

Исколов пальцы, она торопливо открытила все проволочки, сорвала верх.

Коричневая с белой опушкой птица распрямилась. Черные бусинки глаз глянули на Маю. Затекшие в неволе крылья с шорохом раздались в стороны.

Это был ястреб. Он взлетал все выше и выше в голубизну неба, пока не попал в воздушный поток. Недвижно висел в нем, распластав крылья,вольно парил над спортивной площадкой, линейкой с флагштоком, над лесом.

Откуда уже слышалась песня возвращающихся из похода пионеротрядов.





Кое-что о мистике

Я бы не стал упоминать при нем об этом случае, если бы не мама. Поняв, что веселый элегантный молодой человек, пришедший ко мне в гости,—священник, она словно бы спохватилась.

—Расскажи! Расскажи про нашу историю в январе! Что думают об этом те, кто верит в Бога?

Я с укоризной посмотрел на мать.

—Так что же такое у вас случилось в январе?—с улыбкой спросил отец Леонид, попивая чай.

...Чем он мне понравился сразу, с первой минуты, когда нас познакомили после отпевания и похорон известного диссиденты, так это почти полным отсутствием внешних аксессуаров попа—торчащей во все стороны волосатости, цепочек, крестов, слашевой, якобы святоотеческой лексики. И прочих пританцовок. Лишь крохотный крестик взблескивал в петличке его пиджака. Мы подружились сразу.

Я-то уже не раз бывал у него. Не в церкви, дома. Прихода ему не давали. Был знаком с его милой, отнюдь не похожей на классическую попадью женой Наташей—музыкантшей.

А вот отец Леонид нашел время посетить меня в первый и, похоже, в последний раз. У меня были на него свои виды. О многом нужно было успеть поговорить.

Досадуя на мать, я вынужден был тратить время на рассказ о том, что случилось несколько месяцев назад, зимой.

Он слушал с несколько иронической улыбкой.





Я рассказывал о том, как во тьме ледяного январского утра я отправился проводить маму к метро «Кировская». Она себя неважно чувствовала. У нее была эмфизема легких. Давно ей пора было бросать работу, уходить на пенсию. Но она все тянула лямку врача в детской поликлинике. А я, как ни старался, почти ничего не мог заработать.

Вышли Потаповским переулком к Чистопрудному бульвару, потихоньку пошли вдоль него заметенным снежком тротуаром в сторону метро.

Мы были совершенно одни в этом холодном мире. Разом погасли фонари. И в этот момент я заметил впереди себя на снегу какой-то красноватый прямоугольник. За ним другой, третий...

Ни впереди, ни сзади нас никого не было. Я посмотрел на верх, на один из домов, возвышавшихся справа. Он был без балконов, все окна закрыты.

— Кто-то потерял деньги, — констатировала мама.

Я стал подбирать на тротуаре красные десятки. Неровной цепочкой они тянулись вдаль. Словно кто-то специально их так разложил.

Всего оказалось семнадцать десяток. 170 рублей. Довольно большая сумма по тем временам.

— Надо отдать, — сказала мама.

— Кому?

Она огляделась, посмотрела на дом, на небо, откуда шел снег. Выдохнула:

— Бог послал...

— Ну да. С портретом Ленина?

Выслушав мой рассказ, отец Леонид снова улыбнулся.

— Пригодились деньги? И слава Богу! Никакой мистики. Где-то в доме произошлассора. Кто-то распахнул форточку или окно, вышвырнул деньги, затем захлопнул. А десятки разле-





телись, упали к вашим ногам. У Бога, Богородицы и всех святых есть дела поважнее. Я вообще не верю в чудеса подобного рода. И вам не советую.

Чем он мне особенно нравился — отсутствием всякой муты.

Потом, когда мама легла спать и мы получили возможность поговорить по душам, я все время с горечью думал о том, что вот как бывает — едва успеешь обрести друга и вынужден терять его: в ближайшее время отец Леонид с Наташей навсегда уезжали во Францию, в Париж, где жили Наташины родственники.

Отец Леониду за участие в диссидентском движении, за помощь заключенным и ссыльным не давали прихода. В своей квартире он тайно служил литургию под иконостасом, крестил, исповедовал и причащал.

И вот, как только выяснилось, что Наташа беременна, они решились эмигрировать, уехать, пока дело не кончилось арестом.

Их выпускали с презрительной поспешностью, даже документы были уже оформлены. До отъезда оставалось дней пять или шесть.

Отец Леонид сказал, что многие друзья их осуждают. «Если все порядочные люди покинут страну, что станет с несчастным народом, оставленным на произвол мерзавцев из Политбюро, живущим так, как не снилось римским императорам?»

Надо сказать, что в отличие от Наташи отец Леонид не был окончательно уверен в правильности выбора, терзался. Чем и поделился со мной в тот вечер.

— В самом деле, что меня здесь ждет? Тюрьма? Наташу — несчастья? Что ждет нашего будущего ребенка? Не могу допустить, чтобы он хоть один миг дышал воздухом неволы. А там, во Франции, под Парижем, мне обещан приход русской зарубежной церкви.

Ему оставалось купить уже заказанные билеты на самолет.



А еще через день, апрельским утром, когда Москва, умеющая, несмотря на все несчастья, становиться в эту пору неповторимо прекрасной, он вдруг позвонил, хотя мы вроде бы простились навсегда; попросил приехать к нему как можно скорее.

Я понимал, что по пустякам он меня дергать не стал бы.

Они жили в одном из старомосковских домов у Никитских ворот, и мне стало жаль, что больше у меня не будет повода войти в это просторное парадное, подняться по деревянной лестнице с узорчатыми перилами, крутануть ручку еще дореволюционного звонка.

Дверь открыла Наташа. Обычно улыбчивая, радушная, она в этот раз поразила меня строгостью, какой-то ожесточенностью.
— Проходите. Он там, в спальне,—она проводила меня к комнате, в которой я раньше никогда не был. Оставалось предположить, что отец Леонид внезапно и так некстати заболел перед самым отъездом.

Но нет, он был, по крайней мере на вид, вполне здоров. Хотя белки глаз красные, как у человека, не спавшего ночь.

— Садитесь,—он усадил меня прямо на застеленную двуспальнюю кровать.

Я почувствовал себя крайне неловко.

Отец Леонид шагнул к находящейся между окном и кроватью тумбочке, перекрестился, дрогнувшими руками взял стоящую там довольно большую икону в серебряном окладе.

Это была Богородица. И она плакала.

Под изображением глаз медленно, но непрерывно набегали две большие слезы...

Мы с отцом Леонидом с ужасом посмотрели друг на друга.





Сердце

Некоторые говорят о себе — у меня сердце здоровое, другие — у меня сердце шалит. А многие почти не помнят о том, что у них имеется сердце. Работает, словно его и нет.

И уж совсем редко кто задумывается, а как это оно там, в груди неустанно, без единой секунды отдыха, днем и ночью стучит и стучит.

Независимо от нас.

Можно отдавать приказания своим рукам, ногам. По своей воле открывать и закрывать глаза, морщить нос... Сердцу, как говорит пословица, не прикажешь. Оно само по себе.

Многие скажут: ну и что тут такого удивительного? Кровь по аортам и венам проходит сквозь сердечные клапаны, желудочки и предсердия. Сердечная мышца сокращается, как насос, гонит кровь по всему организму. Все просто. Об этом написано в любом учебнике для медучилищ.

Но вот что я вам расскажу.

...Небо было серым. И море было серым. За лето море устало от сотен тысяч баламутящих воду купающихся людей, детского визга, суеты прогулочных катеров, яхт, водных велосипедов, пассажирских лайнеров.

У моря не осталось сил ни на что, даже на зыбь. Оно лишь мерно вздыхало, приподнимаясь и опадая. На его серой поверхности одиноко чернело что-то похожее на опрокинутую букву «Т».

Это была лодка. И в лодке был я.

С рассвета бороздил морскую ниву, отпускал с большой металлической катушки самодур — леску со свинцовым грузилом



и двенадцатью крючками, скрытыми разноцветными перышками на разные глубины, пытался нащупать косяк хоть какой-нибудь рыбы.

Улов обычно покупали на берегу рыночные торговки. Вырученных денег хватало, чтобы оплатить день-другой проживания в самом дешевом номере гостиницы и на еду. И снова я должен был браться за весла.

Итак, клева не было. С рассвета поймалось лишь несколько ставридов, таких мелких, что я сразу выкинул их за борт.

Наступил полдень, время полного бесклевья. Пора было, что называется, сматывать удочки. Напоследок я еще раз поддернул леску, косо ушедшую примерно на восьмидесятиметровую глубину, и начал наматывать ее на катушку.

Как назло, зацепился за что-то. Стал дергать леску под разными углами — влево, вправо. Счастье не отпускало. Словно зацепился за подводную лодку.

Жалко было обрезать лесу. Порой часами мастеришь сюмодур — тщательно привязываешь 12 разноцветных перышек к двенадцати крючкам, каждый на отдельном поводке...

Я вынул нож. Пытаться разорвать толстую леску руками значит прорезать ладони до крови.

Но тут леска дернулась. Да так, что я едва успел ухватить ее. Лодку развернуло. Дело происходило на Черном море.

Я испугался, что меня утащит за погранзону, и чуть не час боролся с неведомой силой, отвоевывая у нее леску сантиметр за сантиметром.

С одной стороны, я понимал, что влип в непонятную, опасную передрягу — чего доброго в конце концов окажусь у берегов Турции; с другой, вспыхнул азарт — увидеть, кто же это так мощно тянет. Ни одна из известных мне черноморских рыбин не могла сделать ничего подобного. Разве дельфин? Но дельфины обычно резвятся близ поверхности.





Порой натяжение лески ослабевало, она обвисала, и я судорожно выбирал ее, швырял в лодку, думал, что все кончилось, сорвалось. Но леса снова туго натягивалась, и лодку влекло неведомо куда.

«Нет и не может быть в Черном море ни китов, ни акул, — думал я. Фантазия моя разыгрывалась. — А если зацепился за топающего по дну шпиона-водолаза? Или за утопленника, которого в толще воды носит течение?»

Я опасливо глянул за борт.

...Сквозь тонкий слой воды бок о бок с лодкой почти во всю ее длину виднелась акула. Бросился в глаза ее благородный зеленовато-серый, как бы фосфоресцирующий цвет.

Часть самодура вместе с грузилом скрывалась в ее низко расположенной пасти. Остальные крючки с перышками впились в морду. Вот почему удалось подтянуть ее к поверхности.

Теперь, пока она тихо шевелила своими плавниками, я должен был мгновенно принять решение: или все-таки благоразумно обрезать леску, и тогда — прощай, акула! Или неизвестно как перевалить опасную добычу к себе в лодку. Иначе кто поверит, что мне в Черном море попалась такая редкость?

Я решительно сдвинулся по скамье к самому борту, так что лодка от моей тяжести накренилась боком в сторону акулы, сунул обе руки в ледяную воду под рыбину, нечеловеческим усилием перевалил ее в лодку.

В этот момент мое суденышко могло запросто перевернуться, я мог вывалиться в море, запутаться в леске и вместе с акулой пойти на дно. К счастью, подобные мысли приходят в голову после того, как ты совершил что-то опасное. Или не приходят вовсе, ибо им уже не к кому приходить.

Так или иначе, мы с акулой потихоньку-полегоньку дошли на веслах до берега, до лодочного причала. По пути акула начала было бунтовать, попыталась измочалить лодку в щепки,





и поэтому мне пришлось вытащить весло из уключины и настегнить ей удар в морду.

Я был убежден, что серо-зеленая красавица случайно заплыла сюда из Средиземного моря через Дарданеллы и Босфор.

Рыбаки, как обычно, околачивающиеся на причале, помогли вытащить добычу. Объяснили, что этот вид акулы называется катран. Образцы гораздо меньшего размера иногда попадаются в сети. Однако такого крупного экземпляра никто из них никогда не видел. Один из рыбаков тотчас предложил продать ему за хорошие деньги акулью печень, так как, по слухам, жир, выпотупленный из нее,—лучшее средство от чахотки и рака.

Я, конечно же, не соблазнился. Хотя рыночные торговки проходили меня напрасно и давно ушли, и я не заработал ни на оплату номера в гостинице, ни на обед.

Я сбегал к ближайшему телефону-автомату и позвонил своему другу, хозяину лодки, капитану первого ранга в отставке Георгию Павловичу Павлову. Объяснил ситуацию.

Минут через двадцать он подъехал к причалу на такси, да еще догадался привезти с собой плотный мешок для хранения зимней одежды, куда мы и засунули акулу вниз головой. Хвост ее торчал наружу.

Когда мы поехали, акула очнулась. Сбила хвостом фуражку с головы таксиста. Досталось и нам с Георгием Павловичем.

Домик, где он жил с женой и взрослой дочерью, стоял во дворе за каменной оградой в двух шагах от управления порта.

Во этом дворе, Георгий Павлович немедленно приступил с помощью топора к разделке акульей туши. Жене и дочери велел тем временем соорудить костер и подвесить над ним чан, полный воды, сдобренной солью, перцем, лавровым листом и прочими пряностями.





Меня же, видя, что на мне лица нет от усталости, за ненадобностью отправили спать в тихую комнатку, затененную шторами. У меня еще хватило сил стянуть с себя просоленную брезентовую робу и умыться. После дня, проведенного на море, вдвадцать пять лет спиши, как молодой бог!

Разбудило чувство голода. И запах. В дом вносили миски с отварной акулятиной.

Но, прежде чем усадить за стол, Георгий Павлович подвел меня к подоконнику.

Там между горшков с геранями стояло блюдечко. Оно было наполнено водой, и в этой воде мерно сокращался окружлый кусочек мяса.

—Сердце твоей акулы,—почему-то шепотом сказал Георгий Павлович.—Чуть подсолил воду, и вот оно бьется...

Мне стало не по себе.

Акулье мясо оказалось деревянистым, невкусным, несмотря на все ухищрения хозяек.

Ночью я несколько раз подходил к подоконнику, зажигал спички. Оно билось, без крови, без вен, без аорт. Таинственно выполняло потерявшую смысл работу.

И этого смысла лишил его я.

Сердце акулы билось еще сутки! Чем дольше сжимался и разжимался этот трогательно маленький кусочек жизни, тем больше охватывало меня запоздалое чувство вины.



Товарищ Сталин

Он опустил руку с постели, попытался нашарить на ковре письмо с прихваченной скрепкой групповой фотографией.

Очевидно, нужно повернуться на бок, ниже опустить руку. Но для этого требовалось лишнее усилие.

Над изголовьем горел не погашенный с ночи свет. Вчера он перенес письмо из рабочего кабинета в спальню, чтобы еще раз поглядеть на фотографию. Если бы не она, аппаратчики не передали бы письмо секретарю и тот не положил бы его в особую папку. Письмо, как это принято, было вынуто из конверта, следовательно, без обратного адреса. В любом случае конверт наверняка остался в отделе писем.

Он все-таки заставил себя повернуться к краю постели, опустил руку, нашарил письмо на ковре. Снова улегся на спину.

Голова не то чтобы кружилась, но какая-то дурнота опять расходилась по всему телу. Последнее время он стал замечать, что каждое усилие дается не без труда, стал ловить себя на том, что заранее рассчитывает каждый шаг, каждое движение...

Вспомнилось, как в прошлом мae он, одинокий старик, привлекал сюда на маевку Климентия, Никиту, Лазаря и Лаврентия. Сами делали шашлык у костра над ручьем, пили, пели «Сулико», «Смело, товарищи, в ногу». Подвыпившие Никита и Берия отвратительным дуэтом исполнили песенку из «Волги-Волги»: «Отдыхаем — воду пьем, заседаем — воду льем...» Потом всегда моложаво выглядящий Климентий пустился в пляс, стал словно барышня кружить с платком вокруг него, Сталина, вызывая на танец, и вдруг остановился, пристально глянул.





Предложил вызвать из дома дежурного врача. Что он заметил, непонятно. Пришлось послать их со всеми их заботами матом.

Но никогда не забыть, как переглянулись они, словно стервятники, почувствовавшие падаль.

«Февраль кончается,—подумал он.—В эту зиму ни разу не сгребал деревянной лопатой снег с дорожки. И об этом им тоже доложат. Все врачи каждый раз дают им сведения... Лучше не вызывать никаких лекарей. Поднимусь—сам приму какую-нибудь таблетку».

...Вот он, еще молодой и сильный, сидит в сапогах в тесном окружении стоящих вокруг родственничков. Семейное фото оказалось в чужих руках, черт знает у кого. Погибшая от пули жена Надя Аллилуева. Дети—Светлана и Васька, еще маленькие. Брат первой жены, Коте, Алеша Сванидзе. Расстрелян в 42-м году. Сын от нее—Яшка. Первенец, так сказать. Опозорил отца, Верховного главнокомандующего: ухитрился попасть в плен к Гитлеру... Другие родственники Аллилуевых. Сгрудились, как куры вокруг петуха. Еще матери тут не хватает для полного комплекта. Мать тогда была жива. Сидела у себя в Грузии, в Гори, безвыездно. Вязала. Присыпала посыпки в Кремль.

Он ее к себе не приглашал и сам к ней не ездил.

Почувствовал нелюбовь к матери, презрение к ней с тех пор, как, будучи мальчиком, однажды ночью проснулся от скрипа кровати. Показалось, что пьяный отец душит, убивает мать, навалясь на нее, и та как-то странно квохчет. Вскочил, кинулся на помощь. Те тоже вскочили голые, потные.

Потом отец долго драл его широким ремнем по заднице. Мать не вступилась. Уехать от них в Тбилиси, учиться на попа в духовной семинарии было счастьем.

Он еще раз глянул на фотографию и, открепляя ее от письма, с досадой вспомнил, как на днях начальник охраны гене-





рал Власик доложил, что Васька, как всегда, пьяный, явился со своими летчиками-прихлебателями и бабами в грузинский ресторан «Арагви», приказал метрдотелю выкинуть всех посетителей, в том числе каких-то дипломатов. Был очередной скандал...

Скандально начиналось и это письмо, нагло написанное не на пишущей машинке, а от руки. *«Товарищ Сталин! Я знаю, что никакие мы не товарищи, и Вам, «отцу народов», нет никакого дела до обыкновенного московского старшеклассника. Я читал, что Вы работаете по ночам. Много раз этой зимой ночью ходил вокруг Кремля, надеялся что Вы, пусть и с охраной, выйдете прогуляться за его стены, и можно будет сказать Вам что-то важное. Но Вы не выходите. Мне даже не удалось увидеть свет ни в одном из окон кремлевских дворцов. Пересылаю фотографию, которая по праву принадлежит Вам. Ее задолго до войны подарила маме Ваша жена. Моя мама врач. Она еврейка. Она никакой не вредитель, не убийца, как пишут сейчас во всех газетах.*

Когда мне было девять лет, меня «за отличные успехи и примерное поведение» наградили в школе книжкой под названием «Самое дорогое». Эта книга – посвященное Вам творчество народов СССР. Вы ее читали? По-моему, позор – допускать в отношении себя такую лесть. С тех пор прошла война, послевоенные годы, а лесть продолжает распространяться по всем газетам и журналам, по радио. Вы же неглупый человек. Неужели Вам на самом деле приятно? Или Вы в связи с громадной занятостью не читаете даже «Правду»? Или так сознательно поддерживается Ваш авторитет? Но это приводит к обратному результату, к карикатуре. Об этом я и хотел Вам сказать, если рядом с Вами нет нормальных, незапуганных людей».

Сталин откинулся на стул, поднялся, отдернул на окне тяжелую штору. Стенные часы показывали начало второго. За окном кунцевской дачи уже начинал смеркаться серый февральский день.





За спиной тихо приотворилась дверь. Всунулась повязанная белым платком голова встревоженной стряпухи.

— Что будете завтракать, Иосиф Виссарионович?

— Яичницу.

— Опять яичницу, Иосиф Виссарионович?

Сталин молча прошел к застекленному книжному шкафу, где помещалась часть его личной библиотеки. Раскрыл обе дверцы, оглядел полки, тесно установленные дареными книгами. Выдернул из плотного ряда книгу в сером матерчатом переплете, на котором красными, торжественными буквами было выведено: «Самое дорогое». Полистал.

На глянцевитой бумаге стихи народных сказителей, акынов перемежались цветными фотографиями ковров, где были вытканы изображения товарища Сталина.

Толстым, негнувшимся пальцем перевернул скользкую страницу, прочел:

«На дубу высоком,
На дубу зеленом
Два сокола сидели.
Один сокол — Ленин,
Другой сокол — Стalin».

Рядом на полях его же рукой было написано: «Ха-ха!»

Голова все-таки кружилась. Чтобы подойти к тумбочке с лекарствами, нужно было обойти стол, за которым он принимал пищу. Стол можно обойти справа, можно и слева. Справа получалось дальше на шаг или полтора.

Он подумал об этом, запихивая книгу обратно в шкаф. Подумал и о том, что пора одеваться. У постели поблескивали новые шевровые сапоги. И он пожалел о старых, разношенных, со стертymi каблуками и подошвами.

Так и не добравшись до лекарства, сидел на постели, одевался рядом с измятым письмом.





«Не понимает в политике этот трусливо не подписавшийся еврейчик. Наверняка не оставил обратного адреса на конверте... Лесть, даже самая грубая, необходима. Необходимо, чтобы этот народ имел объект поклонения вместо бога. Поймет, когда совсем скоро отправится эшелонами вместе со своей мамой, всей суевийской нацией, путающейся вроде Троцкого в ногах у истории, навсегда уберется подальше отсюда, на Дальний Восток... Нечего разгуливать вокруг Кремля! С другой стороны, ведь подохнет».

Он подсел к столу, где на скатерти рядом с графином воды лежала подложенная вчера секретарем папка самых неотложных дел. Отыскал в ней секретное постановление Политбюро о высылке евреев и вывел в верхнем углу первой страницы: «*Доставить живыми до места назначения не меньше 50%.* *И. Сталин*».

Теперь нужно было встать, чтобы пойти за лекарством.

До его смерти оставалось еще пять дней.





Суд

На протяжении полувека эта история зачем-то всплывает в сознании. Время от времени словно одергивает меня, заставляет вспомнить.

Малиново-красное солнце с ярко-голубого неба освещает стены домов, утренних прохожих. Если не опускать взгляда, не видеть тротуары, покрытые снегом, не чувствовать лютого январского мороза, можно подумать, что наступил апрель. Кажется, ноздрей коснулся неповторимый запах ранней московской весны.

Мне девятнадцать лет. Иду по Неглинке в черном пальто, кепке. Куда и зачем — не помню. Зато хорошо помню, как от мороза деревенеют уши, коченеют ноги в ботинках. Непонятная сила вдруг заставляет свернуть с пути, примкнуть к небольшой группе толпящихся поблизости от нотного магазина замерзших людей, увязаться за ними на заседание районного суда.

Какого рожна? Зачем? Случайные люди, преимущественно старики и старухи, сползлись сюда не столько погреться, сколько в ожидании дармового развлечения.

— Подсудимый Михайлов Сергей Иванович, признаете себя виновным? — спрашивает женщина-судья.

Он сидит у стены за решеткой на позорной скамейке, тщедушный человек в потертом костюме, со сбившимся набок галстуком, дрожащей рукой поправляет очки на лице. У клетки скучает милиционер.

— Встаньте, подсудимый! Вы признаете себя виновным?





Встает.

— В чем? В том, что люблю дочь, свою Машеньку? Что прописал на своей площади жену, а теперь, пока уезжал на два месяца в командировку на Север, она завела себе хахаля, и они хотят отнять комнату в коммунальной квартире?

— Врет! — вскакивает с переднего ряда женщина с шапкой белесых, крашенных пергидролем волос. — Все время пристает к Маше, живет с ней! Скажи, Маша, скажи!

— Живет, — заученно подтверждает невзрачная девочка лет восьми, привставая рядом с матерью.

— Как именно живет, Маша? Расскажи подробно. Расстегиваешь штаны?

— Нет. Как приедет, сажает меня на плечи, носится по комнате. Подбрасывает.

— Не только! — визгливо вмешивается мать. — Расстегивал брюки? — Да, — подтверждает девочка.

— Переодевался при мне в домашние штаны.

— Все-таки не понимаю, — говорит женщина-судья. — Вставлял он член в ее влагалище, или нет? Или придется откладывать и назначать медицинскую экспертизу?

— Да что тянуть? — подает голос плеший верзила, сидящий рядом с девочкой и ее матерью, вероятно, тот самый хахаль. — Прижать гниду на полный срок, и делу конец!

Кто-то из стариков аплодирует.

— Вставлял или не вставлял? Расскажи, Машенька, мне и народным заседателям.

...Стон выводит меня из оцепенения. Выламывая себе пальцы рук, тщедушный подсудимый от бессилия и ужаса стал еще меньше. Почему-то этот русский Сергей Иванович Михайлов на глазах становится похож на замученного еврея, каких я видел в кинохронике о нацистских лагерях смерти.

— Вставлял или не вставлял? — не унимается судья.





—Это вас надо судить!— вскочил, ору срывающимся голосом.— Как можно при девочке, при ребенке? Неужели не ясно, что затеяла эта тварь?!

—Кто вы такой? Выведите из зала!

Милиционер выпихивает меня вон. Последнее, что, обернувшись, вижу—затравленный, устремленный прямо в душу взгляд.





Население нашего местожительства

Мне понадобилось отыскать одну из своих давних рукописей. В полутора кладовки искал среди старых, потрепанных папок. Наконец, нашел, перенес в комнату, на столе развязал тесемки.

Поверх рукописи покоился большой конверт из грубой оберточной бумаги с грифом «Госкомитет по радио и телевидению СССР». В конверте оказались письма с подчеркнутыми моей рукой строчками.

...Много лет назад, во время оно, я получил внештатную работенку в радиокомитете. Нужно было отвечать на письма радиослушателей, такой был порядок. Судя по тому, что письма остались у меня, я на них не ответил. Лишился скромного заработка. Да и что можно было ответить?

...«Дорогая редакция! В настоящее время у нас в райцентре проблема найти демисезонное пальто, размер 54,рост 4, свободного покроя, темно-синего цвета для женщины брюнетки ценю до 80 рублей». ...«Прошу принять меры к нашему зоотехнику. Подобно Дон Жуану, он сожительствует со многими колхозницами».

...«Пишу вам один скандальный случай и плачевное дело для государства. Наш начальник ни к кому не вежлив. И у него укоренилась частная собственность. Но не это главное. Главное ниже. Вчера он снова начал опохмеляться, и до того наопохмелся, что стал разгонять всю нашу контору райпотребсоюза в разные стороны».

...«Все население нашего местожительства просит вас засыпать лужу на Староводопроводной улице. Начинается падеж котов и кошек. Горсовет поник головой».





...«Прошу передать по радио мою клятву. Клянусь: я буду абсолютно неузнаваем во всех отношениях. Я клянусь святой клятвой и даю нерушимо слово разным родным, знакомым и всем радиослушателям. Пусть Леночка, услышав эту передачу, сообщит по моему адресу. Помогите наладить счастье нашего будущего дитя!»

...«Сторонники великих семашкинских оздоровительных заповедей просят вас сообщить, думают ли санврачи прогрессировать свою науку так, как прогрессируют их коллеги – футболисты, космонавты и мастера эстрадного искусства?»

...«У мужа моего одна мелодия – пить вино, быть жену и увлекаться гражданкой Мещаевой Марией. Прожив со мной всего восемь лет, он стал алкоголиком и развратником семейных жизней».

...«Мы хотели сделать в парикмахерской итальянскую прическу. Но вместо заказанной прически мастер заявляет, что не лучше ли подстричься под мальчика. И в безвыходном положении приходится стричься под мальчика. И, конечно, под всякую прическу нужен соответствующий костюм, так что приходится шить узкую юбку. И виновниками всего этого безобразия являются мастера дамских залов».

...«Нельзя ли исполнить по радио мою космическую частушку? Не будьте строги к содержанию и форме. Ведь это – народное творчество. Если моя песенка вам подходит, то я очень прошу, чтобы композитор вместо слов «ти-ти-ти-ти» подобрал слова со звуком ракетных сопел.

O, Аэлита,
Твоя орбита
Сошлась с моей!
И мы летим (Ти-ти-ти-ти),
И мы летим (Ти-ти-ти-ти).

Кто-то посмеется. Кто-то с презрением процедит слово «Совок!»

А мне плакать хочется о населении нашего общего «местожительства».





«В этом борделе, где мы живем»

Между мной и им почти ничего общего.

В отличие от него я не убивал, не грабил. Правда, однажды в Мадриде, в супермаркете на Гран Виа, спер упаковку рыболовных крючков. В чем каюсь.

Он родился в 1431 году, в пятнадцатом веке. Когда умер – неизвестно. Кажется, этого беспутного человека в конце концов повесили. Нас разделяют шесть веков!

Время от времени томясь в тюрьмах, он предавался сочинению стихотворений. Лишь малая часть из них уцелела, а из той, что уцелела, совсем немного дошло до меня в переводах с французского. Переводы плохие и не очень плохие. Читаешь и чувствуешь, как переводчики изо всех сил пытаются причесать беспутного автора. Так сказать, ввести за руку в приличное общество. Беспутный-то беспутный, но этот пьяница и грабитель с беспощадной трезвостью видел мир, куда попадает человек после рождения...

Странное дело, сквозь отысканные мною переводы стихов разбойника с большой дороги проглядывало лицо очень рабиного человека.

Общее между нами лишь то, что я тоже пишу стихи.

Я был молод, одинок. Иногда ловил себя на том, что мысленно с ним разговариваю, как мысленно говоришь с близкими тебе людьми.

Безусловно, существует таинственная, необъясненная связь между тем, о ком ты думаешь, что генерируют твои мысли, и так называемой реальной действительностью.





...Однажды одной девушке приходит в голову уговорить меня заехать вместе с ней к незнакомому человеку, навестить какого-то разбитого инсультом старика—бывшего эмигранта, вернувшегося из Франции в Советский Союз.

—Что тебя с ним связывает?—спросил я.

—Собираюсь замуж за одного из его сыновей.

Еще ни о чем не подозревая, я вошел за ней в небольшую, слишком уж тесно заставленную мебелью квартиру.

Хозяин принял нас в кабинетике. Подволакивая ногу и придерживая здоровой рукой другую, парализованную, он прошелся к обложенному подушечками креслу за письменным столом, уgnездился, попросил жену принести чаю.

И мы стали пить чай с принесенным нами печеньем.

Этот тощий, побитый сединою человек поначалу показался мне сущим глупцом. Нужно же было ему сразу после Второй мировой войны вернуться с семьей сюда из Франции, из Парижа! Из патриотических побуждений... При этом он был даже не русский, а бывший рижанин, увезенный после революции отцом и матерью в эмиграцию.

Там, во Франции, он стал летчиком. Во время оккупации немцами Парижа примкнул к партизанам—маки. После войны получил орден, пенсию. Почему-то занялся филологией, публиковал эссе на литературные темы.

И вот дернула нелегкая явиться в сталинский СССР. Тут-то его, голубчика, и взяли за жабры, посадили на Лубянку.

Меня несколько насторожило то, что срока он не получил, в концлагерь не попал, а залетел в ссылку. До разоблачения Хрущевым культа личности Сталина, до реабилитации ютился с женой и двумя сыновьями на чердаке в Ульяновске.

Где его и хватил инсульт.

Язык не парализовало. Наверняка он не первый раз рассказывал о своих злоключениях. Говорил много, с за-





метным французским акцентом, грассировал. И все-таки чувствовалось — многое недоговаривает. Он проворчал, что нуждается, хотя вновь получает французскую пенсию ветерана. Недавно заключил договор с московским издательством — впервые переводит на русский повесть своего бывшего однополчанина-летчика, которая станет литературной сенсацией.

Летчика звали Антуан де Сент Экзюпери.

Все это становилось интересным, и я не смог удержаться, чтобы не задать вопрос, не знает ли он, где можно раздобыть наиболее полное издание стихов моего любимого поэта.

— Такового на русском не существует, — веско сказал он. — Переведена самая малость. И то с современного французского. А он писал на старофранцузском. К вашему счастью, я им владею. А так же средневековой латынью. А ну-ка возьмите вон с той полки том старофранцузского словаря. А там, на подоконнике, в одной из стопок книг отыщите академическое издание вашего анфан террибль. С научными комментариями. Выпущено еще до войны в Сорbonне. Попробую кое-что перевести вам с оригинала.

Я затрепетал от волнения. Только вскочил со стула, как в квартире раздался грохот.

В кабинет ворвались два похожих друг на друга чернявых молодца с усиками и набриолиненными прическами.

— Папа! Отоварились! Посмотри! Пришлое нанять пикап. Дай денег. Шофер ждет в передней.

Мы с моей спутницей вышли вслед за хозяином в гостиную осматривать три привезенных кресла. Они были как новые. Только с продранной там и сям черной обивкой.

Девушка познакомила меня со своим женихом Гастоном и его братом Сержем. Выяснилось, оба учатся в институте иностранных языков и одновременно подрабатывают в качестве





гидов-переводчиков на выставках, устраиваемых Францией в Москве. По окончании выставок всегда остается какая-то часть оборудования, которую обратно не вывозят.

Я представил себе, как ждут закрытия каждой выставки эти молодые шакалы...

Разнокалиберной мебели было и без этих кресел слишком много в квартире. Наверняка часть ее уходила на продажу.

Сыновья хотели есть. Хозяйке и хозяину стало не до нас. На прощание он пригласил меня прийти в любой день, чтобы мы, как он выражился, «продолжили наши изыскания», всучил папку с началом перевода повести Сент Экзюпери, попросил подправить русский текст.

—Братцы наверняка сотрудничают с КГБ,—сказал я своей спутнице, когда мы вышли на улицу. Действительно собираетесь замуж за Гастона?

—Наверное, опрометчиво сделала, что завела вас в эту семью,—сказала она, не отвечая на мой вопрос.—При старике тоже не следует говорить лишнего.

Стало совсем гадко на душе. Тем более, стариk мне понравился. Не мог и не могу жить в атмосфере подозрительности.

Начало повести Сент Экзюпери оказалось замечательным. Несколько корявый перевод я подправил и через несколько дней уже самостоятельно пришел в гости к экс-эмигранту.

За плотно задернутыми шторами сияло солнце. А здесь, в кабинетике, горел свет настольной лампы. Хозяин в плотно запахнутом халате, следя за тем, как я выкладывал перед ним папку с его переводом, неожиданно спросил:

—Вы давно знаете девицу, с которой приходили?

—Год-полтора.

—Были ее любовником?

—Нет. Отчего вы так решили?





—Она сексапильна. Любой мужчина захочет потащить ее в постель, не так ли? Я бы и сам не прочь. Мой Серж собирается на ней жениться.

—По-моему, Гастон.

—Гастон тоже. Но сначала она жила с Сержем.

У меня голова пошла кругом от этой семейки.

Наконец мы перешли к делу, ради которого я пришел. Для начала он открыл том французской энциклопедии. О моем любимце было известно лишь то, что у него не было отца-матери, что некий Гийом дал ему фамилию, обучил грамоте. Затем был раскрыт изданный в Сорbonne фолиант. Началось чтение на старофранцузском.

Я вслушивался в мелодику непонятных строк, судорожно старался уловить их ритм и размер.

После этого хозяин подал лист бумаги, авторучку и долго, как мне показалось, с занудной скрупулезностью, сверяясь со словарем, слово за словом продиктовал двенадцать строк из «Большого завещания», написанного поэтом в тюрьме перед повешением.

То, что я записал, меня ошеломило. Это было чем-то похоже на стихи раннего Маяковского!

—Попробуйте перевести. Если получится, сделаю вам еще один подстрочник.

Дома, снедаемый нетерпением, боясь позабыть своеобразную музыку стиха, в ту же ночь я перевел эти строки:

Еще есть милый

Метр Гийом,

Что дал мне прозвище —

Вийон.

Вытаскивал меня живьем

Из всякой заварухи он.

Спасти сейчас





Не выйдет, нет...
Втянули в дело шлюхи,
Лишил виселица выдернет
Из этой заварухи!

На следующее утро мой перевод не без ворчливых приди-
рок был все же одобрен. И мы приступили к изготовлению
подстрочника довольно большой баллады.

Удивительно, но переводить эту написанную шесть веков
назад беспощадную исповедь было легко. Как если бы сам
Вийон заговорил во мне на русском языке.

БАЛЛАДА ПРО ВИЙОНА И ПРО ТОЛСТУХУ МАРГО

Не скажет никто, что я дурак,
Если с такою красоткой живу.
Сколько отменных женских благ
Кажет красотка Марго наяву,
Когда с посетителем, как в хлеву,
Она валяется вверх животом...
Для них я за сыром бегу и вином,
А после монету не брезгую взять.
Если вам женщину нужно опять,
Пожалте в бордель, где мы живем!
Но вот неприятность бывает, когда
Без посетителей и монет
Марго является. Вот беда!
Смотреть на нее мне силы нет,
С нее срываю юбку, жакет
И грожу все это продать.
Она же ругается в бога мать.
Тогда я поленом и кулаком
Ее стараюсь разрисовать
В этом борделе, где мы живем!





Потом воцаряется тишина да гладь.
Громкий залп издает Марго,
Меня за бедро начинает щипать
И называет: «Мой го-го».
И брюхо ее — у моего,
И на меня залезает жена,
И нет мне тогда ни покоя, ни сна.
Скоро я стану плоским бревном
В этом борделе, где мы живем.
Ветер. Град. Мороз. Весна.
Я развратен. Развратна она.
Кто кого лучше — картина ясна:
По кошке и мышь, согласимся на том.
С нами бесчестными — честь не честна.
С нами грязными — жизнь грязна.
...В этом борделе, где мы живем!

Мой составитель подстрочников умер от инфаркта, повздо-
рив со своими сыновьями, накануне того дня, когда я снова
пришел к нему.





Смерть Хемингуэя

Под старым дебаркадером лениво похлопывала река. Ее гладкая поверхность слепила глаза отраженным солнечным светом. И хотя шел только десятый час утра, я и двое моих спутников изнемогали от зноя. Скрыться от него было негде. На пустынном берегу не росло ни одного дерева, а здесь, на дебаркадере, имелась лишь хлипкая будочка кассы, где сидела старушка, продавшая нам билеты.

Еженедельный рейсовый катер именно сегодня должен был появиться с верховьев реки ровно в полдень. Так, по крайней мере, гласило выцветшее расписание, с которым мы первым делом ознакомились две недели назад, когда с пересадками прибыли в эту глушь из Москвы.

Мои спутники, муж и жена, угнездились на рюкзаках в кучей тени у кассы, а я от нечего делать достал из чехла одно из своих удилищ, состыковал нижнее его колено с верхним, наживил на крючок завалывшееся в кармане распаренное зерно пшеницы, уселся на дощатый край дебаркадера, свесил ноги и закинул удочку.

Движимые нетерпением, слишком рано свернули мы наш лагерь в четырех километрах отсюда. Там на берегу залива стояли среди сосняка две палатки, покачивалась на воде привязанная к иве лодка-плоскодонка, которую мне выписали на расположенной за мысом базе общества «Рыболов-спортсмен».

Красный поплавок плыл по течению. Когда леска натягивалась, я перезакидывал его влево и снова следил за ним и все думал о том, как чудесно было на реке в первые дни.





На рассвете, подгоняемый нетерпением, я вылезал из своей палатки, подходил по росной траве к палатке друзей, будил Всеволода. Тот выполз задом наперед—большой, могучий, весь еще во власти сна, спрашивал: «Который час? Седьмой? Чего не разбудил раньше?»

Наскоро наливали из термоса в бумажные стаканчики горячий кофе, приготовленный с вечера Людой, переносили в лодку удочки, подсачек, жестяные банки с наживкой, вставляли весла в уключины и отправлялись к середине залива.

Люда никогда не рыбачила с нами. Она предпочитала спать часов до десяти. Зато по возвращении нас ждал приготовленный на костре завтрак.

Действительно, чудесны были эти первые дни. Особенно когда, опустив на веревке якорь, мы закидывали удочки, и начинался клев.

Вдруг поплавок наполовину вылезал из воды, ложился набок, косо уходил в глубину. Тут-то и нужно было подсекать.

Ловились только лещи. Килограмма по три, похожие па округлые зеркала. То я, то Всеволод орудовали подсачком, помогая друг другу вытащить и перевалить в лодку тяжелую добычу.

«Да не греми ты»,—зашипел на меня Всеволод, когда в пылу схватки я как-то задел и опрокинул на решетчатое дно лодки две банки с червями. Потом он забросил удочку, подумал и продекламировал впервые в жизни сочиненные стихи: «задевали жестянку ногово, опрокинули пару вещей, шум и шухер стоял над рекою—сценаристы ловили лещей».

Всеволод был известным киносценаристом. Множество картин по его сценариям постоянно снимались на различных студиях СССР, после того как, вернувшись раненным с фронта, он кончил ВГИК. Всегда был завален все новыми заказами, договорами.





...Красный поплавок задергался. Я подсек, и на доски дебаркадера шлепнулась серебристая уклечка.

—Эй, кого ты там изловил?—крикнул Всеволод.—Хочешь бутерброд с сыром?

—Нет.

Я поддел крючком под верхний плавник трепещущей рыбешки. Снова закинул удочку.

—В термосе остался чай!—крикнула на этот раз Люда.—Может, выпьешь?

Я ничего не ответил. Уклейка, шныряя под поверхностью воды, водила мой поплавок из стороны в сторону,

«Имел когда-нибудь дело с женскими брюками?»—как-то спросил Всеволод, когда поутру мы вдвоем выгребали к середине залива, где водилось стадо лещей.

—Что-что? Ты, кажется, еще не проснулся.

—Понимаешь, приходится бывать в киноэкспедициях. Естественно—гостиница, отдельный номер. Всегда подворачивается баба, ну, актриса какая-нибудь. Грех не попользоваться. Да вот завели себе моду—носить брюки. Странное чувство, когда ее раздеваешь...

—Не знаю. Не испытывал.

Там, на берегу спала в палатке Люда, на которой он женился, еще будучи студентом ВГИКА.

Я был знаком с ним, а потом и с Людой больше года. Всеволод начал бывать у меня. То заходил, чтобы забрать какое-нибудь лекарство, которое добывала для него моя мама, то недавно без всякой моей просьбы взял почитать мой сценарий, купленный «Ленфильмом», но так и не поставленный.

Он был по-своему обаятелен, этот истинно русский человек, талантливый, много и легко пишущий, удачливый. Кроме того, бывший фронтовик. И я, будучи моложе Всеволода, дорожил нашим знакомством.



Поэтому так обрадовался, когда он в разгар душного московского лета предложил поехать куда-нибудь на рыбалку.
—Ты ведь состоишь в обществе «Рыболов-спортсмен»? Сможешь устроить нас с Людой на какой-нибудь базе, добыть лодку? Только в глухи. И чтобы была гарантия клева.

Так мы оказались здесь. Зачем я увязался с ними?

—Парень! На поплавок ловишь? А где он?

Я успел обернуться, увидеть, что сзади меня скопились прибывшие к рейсовому катеру колхозники. Поддернул удочку и почувствовал, как на крючке ходит какая-то очень крупная рыба. Вот-вот могла лопнуть тонкая для такой тяжести леска.
—Всеволод! Подсачек! Быстро!

Все-таки это было чудо, что она у нас не сорвалась — никогда мною ранее не виданная рыбина с изящным изгибом пасти. Сверкала под солнцем, в ярости лупила хвостом по щелястому полу дебаркадера.

—Жерех,—сказал бородатый мужик с перекинутой через плечо корзиной, откуда высовывались гуси.—Красавец!

—Чего будем делать?—спросил Всеволод.—Пока на катере, да ждать поезда, да ночь пути. В такую жару до Москвы протухнет.

—Протухнет-протухнет!—подтвердили собравшиеся возле нас мужики и бабы.

—А я его выпотрошу,—сказала Люда.—Заверну в мокрую мешковину. Довезем!

Она достала из рюкзака нож, присела на корточки и принялась за дело.

—Половина тебе, добытчик, половина нам!—постановил Всеволод.—Нет возражений?

—Нет.

—Показался, паразит!—вскричала какая-то тетка с бидоном.—В этот раз без обмана, по расписанию. Слава тебе, Господи!

Из-за изгиба реки выплыло белое суденышко.





...Мы сидели на корме у своих непомерных рюкзаков и свернутых палаток. Дырявый тент над головами почти не защищал от солнца, но зато здесь было не душно, как внизу в салоне, набитом пассажирами.

Я-то по какому-то инстинкту никогда не упускал случая оказаться в гуще людей, послушать, о чем судачит народ, но Всеволод, который один за другим писал сценарии именно о жизни простых людей, к моему удивлению, всегда барски пренебрегал подобной возможностью.

«Быдло, оно и есть быдло!»—вырвалось у него, когда однажды я разговорился с подкатившим на велосипеде к нашим палаткам подвыпившим пастухом. У него кончилось курево, и я отдал ему пачку «Стюардессы» из своих запасов.

Несколько дней назад Люда, вымыв после ужина посуду, ушла спать. Мы остались вдвоем у догорающего костра. Все-волод вдруг сказал:

— Между прочим, перед отъездом я прочел твой сценарий. В некоторых местах прошелся по нему рукой мастера. Мало того, ты говорил, что «Ленфильм» не может найти на него режиссера. Заметь на будущее: только олухи пишут сценарии, не имея режиссера... Так вот, я успел передать твоё творение на студию Горького. Там нашелся свободный режиссер. Они перекупают сценарий у «Ленфильма». У них горит план. Поэтому сразу же и запустят. Рад?

— Спасибо. Но почему ты говоришь об этом только сейчас? И потом — что это ты там сделал своей рукой мастера?

— Умей быть благодарным! Снимут фильм — половину гонорара отдашь мне. Нет возражений?

Вот тогда-то я и пожалел о том, что увязался с ними в это путешествие. Видимо, иногда нужно держаться подальше от преуспевающих людей. Чтобы не видеть их самодовольства, вечных устремлений извлечь из всего выгоду.



Катер вышел из устья реки и стал пересекать Волгу, чтобы приchalить к пристани городка, где проходит железная дорога. Я стоял у поручней, глядел на суматоху барж, дизель-электроходов и юрких катерков.

Рядом встала Люда.

— Не обижайтесь на Всеволода. Он зачеркнул всего две-три ремарки, сам мне сказал. И, кажется, один эпизод.

— Какой?

— Не знаю,— она пожала плечами.

«Прах его побери с его рукой мастера!» — подумал я. Это был мой первый сценарий, и он был мне дорог.

С другой стороны, чего я капризничая? Все-таки пристроил, потрудился.

Но что-то саднило душу. С того самого разговора о женских брюках.

...По шатким сходням сошли мы вслед за галдящей толпой пассажиров на пристань. Обливаясь потом, дотащили наш тяжкий скарб до железнодорожного вокзала, сдали в камеру хранения, купили билеты на поезд, который отправлялся отсюда только в шесть вечера.

— Давайте завалимся куда-нибудь в ресторан,— предложил Всеволод.— Наконец-то пообедаем по-человечески!

Пыльными, замусоренными улочками, вымершими от жары, дошли до базара, рядом с которым, как нам объяснили, находился единственный в городе ресторан «Волна».

По пути я задержался у деревянного стендса выгоревшей газетой. Две недели мы были оторваны от новостей.

Номер «Известий» оказался трехдневной давности. Передовица разъясняла политику партии в отношении сельского хозяйства, славила «нашего дорогоого Никиту Сергеевича Хрущева» за внедрение кукурузы, и я в который раз подивился тому, что человек, мужественно разоблачивший культа Стаг





лина, допускает в отношении себя все ту же лесть... Вдруг мое внимание привлекло маленькое сообщение в конце соседней страницы.

Оно извещало о самоубийстве Эрнеста Хемингуэя.
— Где ты там? — дошло до моего слуха. — Иди скорей! Жрать хочется.





Хорошенький- пригоженький

Субботним утром в октябре машин на улицах мало. Можно было бы быстро домчаться до Черемушек. Но Георгий Сергеевич старался вести свой «Пежо-205» как можно медленнее. Неприлично было бы явиться раньше установленного срока — десяти часов.

Ночью он не раз просыпался, взглядывал на часы. Как ребенок, торопил время, ждал и не мог дождаться когда же на конец, наступит утро.

Он и предположить не мог, что давно забытая страсть пробудится в нем с такой силой.

Ровно неделю назад, вечером в прошлую субботу, по первому каналу центрального телевидения о нем, Георгии Сергеевиче — хирурге одной из московских больниц — был показан пятнадцатиминутный документальный фильм. Оскорбительный, по сути дела. Ибо телевизионщиков привлекло не столько его профессиональное мастерство, репутация знаменитого сосудистого хирурга, сколько то, что он делал сложные, подчас многочасовые операции, стоя на протезе. В двенадцать лет попал под трамвай, катаясь с мальчишками на «колбасе», и ему отрезало правую ногу выше коленного сустава.

Кажется, после гибели глазного хирурга Федорова он один остался таким.

Ни к чему была вся эта съемка, вся эта суeta. Но главный врач упросил дать согласие. Для поддержания репутации больницы.

Фильм был как фильм. Хотя, глядя на экран телевизора, Георгий Сергеевич внутренне ежился от изобилующего не-





точностями дикторского текста, сопровождавшего изображение, от слашаво-восторженных интонаций дикторши.

На следующее утро, конечно, звонили коллеги, друзья. Поздравляли, восхищались.

За многие десятилетия он привык к протезу и не чувствовал за собой никакого геройства. Просто после операций кулья, как свинцом, наливалась усталостью. Вот и все.

— Это про тебя было кино? — раздался через несколько дней голос в телефонной трубке. — Помнишь тысяча девятьсот пятьдесят второй год? Я Эдик. Помнишь Эдика на катке?

— Извините, какого Эдика? — машинально спросил он. И тут же с необычайной ясностью понял, кто это неожиданно объявился из такой дали времени. — Эдик, приятель Юры Новикова?

— Вот-вот! Юрка лет тридцать как помер.

— А как вы меня узнали? По ноге?

— Конечно. Позвонил в больницу, дали твой домашний телефон. Без проблем. А ты почему-то мало изменился. Может, поделившись, каким образом? Тебе сейчас сколько? Под семьдесят? В чем секрет?

— Не знаю секретов. — Георгий Сергеевич давно отвык, чтобы с ним говорили на «ты». Это было бы даже приятно, если бы в хрипловатом голосе собеседника не звучало какое-то наглое превосходство, смахивающее на пренебрежение.

— Ладно врать-то! Знаю я вас, врачей. Достаете по своим каналам какие-нибудь особые лекарства, витамины... Короче, я что-то совсем разрушился. Можешь спасти меня? Озолочу. — Эдик, вы на пенсии? Работаете?

— Работы невпроворот. Только теперь самая работа. День и ночь.

— Так нельзя. Переключайтесь каким-либо образом. Я когда-то собирал марки. Кем все-таки вы стали? Генералом?





—Марки собираешь? Вот уж ерунда! Слушай, приезжай ко мне. А марок этих у меня два чемодана альбомов. Недавно жена нашла на чердаке дедовой дачи. Сюда привезла.

—И какие там марки? —Шут их знает. Трофейные, с войны. Если хочешь — забирай все вместе с чемоданами.

—Минуточку, это же должна быть большая ценность.

—Говорю, у меня с деньгами проблем нет. Могу тебе подкинуть, если подлечишь. Приезжай!

—Когда? Я, собственно, не терапевт.

—Хоть в субботу. Посидим. И марки захватишь.

—Ну, хорошо. Какой адрес?

...Тогда, в 1952 году, сколько ему, Георгию Сергеевичу было лет? Шестнадцать. Учился в девятом классе. А этот Эдик, несмотря на юный возраст, уже почему-то щеголял в лейтенантской форме.

Георгий Сергеевич вспомнил, как однажды зимой Юрка Новиков, сосед по парте, зашел к нему под вечер, предложил вместе отправиться на каток. Предложение было нелепым, если учесть отрезанную ногу. Протеза тогда не было, скакал на костылях. Но он пошел с Юркой, потому что вскоре должны были вернуться с работы родители, а они тогда вечно ссорились. Дома было нехорошо.

Георгий Сергеевич вел машину и отчетливо видел перед собой тот огромный двор в центре Москвы, кажется, где-то возле Петровки или Столешникова переулка, куда его привел Юрка. Разноцветные лампочки над катком, где под музыку из «Сerenады Солнечной долины» кружили конькобежцы.

Не заходя в раздевалку, Юрка сел на скамейку, снял валенки, надел ботинки с коньками и выехал на лед. А он, Георгий, остался мерзнуть рядом со своими костылями.

Пестрый, косо заштрихованный падающим снежком мир катка был полон девушек в меховых шапочках. Парней поч-





му-то было немного, и среди них выделялся один — красавец в пушистом белом свитере, лихо закладывающий виражи. Катался он на коньках, о которых тогда никто и мечтать не мог. Это были высокие серебристые «Космос-оригинал».

К нему-то и подкатил Юрка. Вроде что-то передал. Потом они катались порознь.

Со стороны было хорошо видно, что свои виражи красавец все чаще закладывает вокруг рослой девицы в коротеньком коричневом полушибке. Двигалась по льду она плохо, порой падала, и всякий раз он галантно помогал ей подняться.

Наконец ей, видимо, надоело получать синяки, и она показала к раздевалке. Красавец направился вслед.

Раздевалку эту, куда его привел Юрка, Георгий Сергеевич запомнил особенно хорошо. Из-за тепла и длинного, накрытого белоснежной скатертью стола со сверкающим самоваром, вокруг которого теснились стаканы в подстаканниках, стояли тарелки с нарезанными ломтиками лимона, бутербродами с колбасой, сыром, черной и красной икрой. Здесь же можно было выпить рюмку коньяка или водки.

Но ярче всего запомнилось Георгию Сергеевичу, что, когда они с Юркой вошли, буфетчица — дородная тетка в накрахмаленном кружевном чепце и переднике, стоя на коленях перед диваном, на котором сидел красавец в белом свитере, расшнуровывала ему ботинки с коньками.

— До чего хорошенький-пригоженький, — приговаривала она. — Мамочка звонила уже, беспокоилась.

Он и вправду был красивый, белокурый. К тому же замечательный апельсиново-нежный загар покрывал лицо.

«Хорошенький-пригоженький» пригласил его и Юрку сесть рядом на диван, угостил бутербродами, чаем, поинтересовался, что с ногой, сказал: «Считай, повезло. В армию не загребут». А когда к столу подошла высокая девица,



он как бы невзначай предложил довезти ее до дома на машине.

— Я и сама способна взять такси,—горделиво ответила она.

— Зачем? У меня свой «Форд»,—небрежно ответил «хорошенький-пригоженький» и добавил:—Меня, между прочим, зовут Эдуард. А вас?

— Нина.

С этой минуты она, как говорится, была уже вся его. Стояла у стола, обжигаясь, пила чай.

Тем временем Эдуард вышел в гардероб.

«Конечно, трепло,—не без зависти подумал тогда Георгий.— Сын каких-нибудь шибко ответственных работников. Всего года на два старше нас. Приедет за ним папочка на машине, и все дела».

Но вот он появился. Еще более красивый, щеголеватый, неожиданный в новенькой, с иголочки, лейтенантской форме, надраенных до блеска сапогах.

Скорее всего чтобы скрыть замешательство, Георгий Сергеевич спросил:

— Слушай, где это ты так загорел?

— В Барселоне.

— Где-где?

— В Испании, на курорте.—Он надел шинель и бросил взгляд на девицу, торопливо дожевывающую бутерброд.

— Врешь! В Испании фашизм, Франко. У нас с ними ничего общего. Нет даже дипломатических отношений.

Вот тогда-то «хорошенький-пригоженький» тихо, но внятно произнес:—Политика—это для засранцев. А есть кое-что еще. Для белых людей.

После Георгий Сергеевич, стоя на улице с Юрий, видел, как он садится за руль заграничной машины и открывает дверцу девице в коротком полушубке.





Вот к этому человеку, так неожиданно объявившемуся через полвека он сейчас и ехал.

...«Хорошенький-пригоженький» долго не открывал дверь. Георгий Сергеевич снова нажал кнопку звонка, потом еще раз.

В эту минуту он осознал, что алчет только этих чемоданов с марками. Его собственная коллекция марок, к которой он давным-давно не притрагивался, в девятнадцати толстых альбомах стояла за стеклами книжного шкафа, совсем забытая, и ему удивительно было чувствовать, с какой силой вспыхнула в нем сейчас надежда пополнить ее множеством почти на-верняка редких, уникальных экземпляров.

За дверью возник приближающийся шорох. Шаги—не шаги... Посыпалось звяканье цепочки, щелканье ключей. Дверь медленно отворилась.

И перед Георгием Сергеевичем предстал... баба в цветастом восточном халате. Распухшее лицо было странным, землисто-серым. Редкие, седые пряди волос прилипли к потному лбу.

—Приехал?—недоброжелательно произнес «хорошенький-пригоженький», ибо это был он.—Ну заходи. Водку привез?

Держась неестественно прямо, он проконвоировал Георгия Сергеевича через обширный холл прямо на кухню. Там он рухнул на стул у стола, нисколько не позабочась усадить гостя.

—Не привез выпить? Пойди и купи водку. Жена забрала наличные, кредитную карточку, сволочь. Затаилась на даче, понял? Пойди и купи водки.

—Эдик, по-моему, вы и так смертельно пьяны.—Георгий Сергеевич с грохотом пододвинул стул, из-под которого выкатилась пустая бутылка «Абсолюта», и тоже подсел к столу, где громоздились тарелки, полные остатков пищи, перемешанной с окурками.—Понимаю, у вас похмельный синдром...





—Значит, не купишь водки?

—Вам пить нельзя, мне тоже, я за рулем.—Решив отвлечь его от навязчивой идеи, Георгий Сергеевич спросил:—Что вы теперь делаете? Работаете? Кем?

—По снабжению,—ответил тот, глядя на него вялым, рыбьим взглядом.

—По снабжению кого?

—Саддама Хусейна и «Абу Саяф». Слыхал?

Вдруг его шатнуло в сторону. Он схватился за живот, согнулся, как от удара, и его вырвало гущей темно-красного цвета. Георгий Сергеевич вскочил с места.

—Неужели никого нет дома? У вас язвенное кровотечение! Где телефон?

—Много знаешь, сука. Нельзя мне болтать. Уходи.

—Эдуард, спустимся. Довезу до больницы. Вам необходимо переливание крови, можете умереть.

—Ушлый! За марками припер? Хотел меня ограбить? Сейчас вызову охрану.

Георгий Сергеевич двинулся вон из квартиры. Хлопнул за собой дверью.

...Вернувшись домой, он набрал номер Центрапункта, назвался, продиктовал адрес Эдуарда, сообщил, что у того прободение язвы, что он пьян. Дежурная «Скорой» пообещала немедленно госпитализировать больного и после обязательного позвонить.

Долго Георгий Сергеевич ждал этого звонка.

Все ему было противно, и прежде всего он сам себе стал противен с этой погоней за дармовыми марками. Противно ощущение какой-то жуткой правды, прозвучавшей в невольно вырвавшемся признании «хорошенького-пригоженького». Конечно, и тогда, пятьдесят лет назад, говоря о Барселоне, и теперь — о том, что он участвует в снабжении террористов,





видимо, российским оружием, он мог врать. Но чувствовалось—здесь есть что-то, переворачивающее привычный порядок вещей, некая подлая, закулисная сторона...

Лишь к вечеру раздался звонок. Дежурная сообщила, что, когда бригада «Скорой» вошла в квартиру, пациент был уже мертв.





Маня

Она опять кралась за ним вдоль забитой людьми платформы метро «Маяковская».

На прошлой неделе в восемь пятнадцать утра впервые заметила здесь исхудалого старика в черном костюме, аккуратно повязанном галстуке. Шарящими движениями руки он слепо нащупывал среди пассажиров проход, ориентируясь на грохот раскрывшейся двери вагона. Маня прошмыгнула вслед. Старик тотчас схватил металлическую стойку. Стоял. Не захотел сесть, когда какая-то тетка предложила ему место. На его руке между большим и указательным пальцем синела татуировка — якорек.

Старик сошел у «Речного вокзала». Убедившись, что он благополучно дошел до эскалатора, Маня перешла на другую сторону платформы, покатила обратно к «Соколу», где рядом с метро был грузинский ресторанчик. Там она работала судомойкой за скромную, можно сказать, символическую плату. Зато хозяин каждый раз давал бесплатный обед. Да еще можно было наполнить судочки тем, что не реализовывалось за день,— остатками харчо, лобио, даже чахохбили. Судочки Маня приносила домой для своих престарелых родителей.

Она и сама была уже немолода. Ей шел сорок девятый год.

Отец и мать десятилетиями не уставали корить ее за то, что лишиены счастья лелеять внуков, за то, что она ходит в церковь, а в свободное время принимается вышивать бисером никому не нужные иконы. Ни одной не кончила, не продала. Имея профессию парикмахера, работает судомойкой.





Маня не вступала в споры, помалкивала. Она жила в мире с самой собой. И единственное, что ее тревожило последние дни,—старик в метро. Боясь, что однажды он свалится с края платформы под колеса поезда, она теперь каждое утро подстерегала его, шла рядом, как невидимый ангел. Подстраховывала.

Слепой, он почему-то обходился без палочки. Никто его не провожал, не встречал у «Речного вокзала». Он появлялся в метро лишь в будничные дни. Из чего Маня сделала заключение, что он где-то работает. Но кем мог работать этот отчаянный человек с якорьком на руке?

...Когда-то, когда Мане было восемнадцать лет и она училась в комбинате обслуживания населения парикмахерскому делу, вот так же заворожил ее один бородатый клиент—парень, который по окончании стрижки как бы невзначай попросил ее отнести письмо по адресу, написанному на конверте.

«Почему не по почте?»—удивилась Маня. «Так надо,—ответил бородач.—Меня зовут Лева».

С тех пор она чуть ли не год выполняла его таинственные поручения: передавала какие-то рукописи неразговорчивым людям, забирала у них книги, пачки листовок.

Она догадалась, что Лева является борцом против несправедливости, диссидентом и испытала чувство гордости за него, когда однажды зимой застала в бойлерной, где он дежурил по трое суток в неделю, группу иностранных журналистов с их микрофонами, фотоаппаратами и кинокамерами. Лева давал интервью по поводу «Хроники текущих событий».

Леву могли арестовать в любую минуту. Она боялась за него так же, как теперь за слепого старика.

Лева же ничего не боялся. Говорил, что его хранит Бог. Он был верующий. Приобщил и ее к вере в Иисуса Христа. И когда его знакомый священник тайно крестил Маню у себя дома,



Лева стоял рядом со свечкой в руках, стал крестным. После совершения таинства поздравил ее, поцеловал в щеку.

Маня обожала его, безоглядно выполняя все поручения. Была убеждена, что вскоре тот же священник их обвенчает.

И тем невыносимее, как мука смертная, было услышать от Левы: «Манечка, поедешь завтра утром провожать меня в Шереметьево? Уезжаю в Америку. КГБ принудил к выбору: эмиграция или арест».

...Они приехали рано, в шесть утра, за пять часов до вылета самолета. Нужно было пройти таможню, где перетряхивали и прощупывали все вещи, книги из двух больших чемоданов Левы. Отдельно Лева вывозил плотно завернутую в kleenку деревянную скульптуру Христа, подобранный им когда-то на перекрестке молдаванских дорог у подножия поломанного креста. Скульптура была уже без рук.

Он не успел оформить в комиссии при Министерстве культуры разрешение на вывоз высокохудожественного произведения искусства. И таможенники вывоз запретили.

—Возьми себе,—сказал Лева.—Будет память.

Маня в отчаянии отказалась.

—Родители не позволят. Выгонят вместе с Христом.

Тогда Лева, сдав наконец вещи в багаж, вместе с Маней и снова завернутой в kleenку скульптурой выбежал из аэропорта, взял такси. Они примчались к живущему неподалеку знакомому писателю. Маня несколько раз бывала у него, передавала какие-то книги и записки от Левы.

—Вы—верующий человек,—сказал Лева.—Возьмите Христа. Пусть хранится у вас. И, пожалуйста, позаботьтесь о Мане. Она остается совсем одна...

Лева улетел.

А Маню этот писатель больше никогда в жизни не видел. Деревянная скульптура висела у него на стене напоминанием





об этом внезапном визите. Не раз он пытался найти Маню. Но ни ее адреса, ни общих знакомых у них не было. Из-за свирепых правил тогдашней конспирации.

Ему в голову не могло прийти, что Маня, не вынеся одиночества, вакуума, в котором она внезапно очутилась, вздумает поехать в Троице-Сергиеву лавру за утешением к какому-то известному тогда старцу. Тот не только настрого запретил ей общаться с друзьями и знакомыми Левы, но и наложил епитимью — полугодовой запрет на причастие. «Всякая власть от Бога,— заявил старец.— А они восстают противластей. Грех это, грех! Напиши-ка мне их адреса и телефоны...».

У Мани хватило ума прикинуться дурочкой, сказать, что она ничего не знает.

Но старец есть старец. Она послушно выполнила его наказ. Замкнулась в себе. Кужасу родителей забросила парикмахерское дело, стала совсем пропадать по церквам. Уходила утрами в платочек и длинное платье, начала учиться вышивать бисером иконы.

Потек год за годом. Ела она мало, так что поститься не составляло труда. Нарядами Маня не интересовалась. Постепенно она пришла к выводу, что ей от жизни ничего не нужно, что так она доживет до самой смерти, и там, у Бога, ей будет совсем хорошо. Не станет этих ужасных скандалов, которые она терпела от самых близких людей, с которыми вынуждена была жить в однокомнатной квартире.

Они старели, болели. Старела и Маня. В той церкви, куда она чаще всего ходила, ее уже чуть не в глаза называли старой девой. Иногда какая-нибудь из прихожанок обращалась с просьбой прийти посидеть с заболевшим ребенком или убраться в квартире, погладить белье. Маня никогда не отказывалась. Стеснялась взять заработанные деньги.

А потом наступили времена, когда стало возможно устроиться на работу в частный рестораник. По вечерам туда перио-





дически приходили заранее заказавшие пиршество грузинские компании, и до Мани, трудолюбиво мывшей посуду за тонкой перегородкой, доносились чудесные грузинские песни.

Эти песнопения навели Манию на ослепительную мысль.

Утром в пятницу, когда она должна была получить месячную зарплату, она, как обычно, подстерегла слепого на платформе метро «Маяковская», сопроводила его до «Речного вокзала». У эскалатора, набравшись храбрости, потянула за рукав. Остановила.

— Не бойтесь,—сказала Мания.— Я каждое утро вижу вас. Как вы один ездите на метро. Извините, можно, если вы не против, вечером, когда будете возвращаться, пригласить вас поужинать в грузинский ресторан? Во сколько возвращаетесь? Встречу вас тут наверху у входа в метро. Вместе доедем.

Старик улыбнулся. Нашупал рукой ее голову, погладил.
— Эх, девочка, когда-то сам приглашал женщин в ресторан...
Если на паритетных началах — лады, принимаю предложение.
Но учтите — у меня уже было четыре жены!

Весь рабочий день Мания волновалась. Думала о том, что означает это высказывание о четырех женах, что такое «на паритетных началах». Разбила глубокую тарелку. Сама сказала об этом хозяину. Сказала и о том, что вечером приведет ужинать знакомого.

Хозяин — толстый, пожилой грузин, выдавая зарплату, не только не вычислил стоимость тарелки, но и поинтересовался, что она собирается заказать. Посоветовал шашлык на ребрышках и бутылку «Алазанской долины».

Вечером все три официантки — Дали, Марго и Нино — беспрестанно выглядывали из кухни, созерцали одинокую парочку. Других посетителей не было.

Мания замечала эти взгляды. Ей было стыдно, неприятно. Разливая вино в рюмки, она чувствовала себя грешницей.





Осушив первую рюмку, старик повелел называть себя Володей. Попросил Маню рассказать о себе.

Она рассказала обо всем. Благо, и рассказывать-то было почти нечего.

— Вот что, Манечка, я маюсь один в двухкомнатной квартире. Забирайте-ка свои иконы и прочее, переезжайте ко мне,— сразу сказал Володя.— Если не против, оформим брак, станете владеть собственной жилплощадью. Мне семьдесят семь. Помру— вам останется. Лады?

— А если я авантюристка какая-нибудь?— ошеломленно прошептала Маня.

— Э, девочка, того, кто был в разведке морской пехоты, не прорвешь! Я людей по голосу определяю. Налей-ка еще, лады?

Оказалось, Володя, ослепший от ранения во время войны, окончил два института, всю жизнь работал на каком-то заводе. А теперь преподает в техническом колледже.

В воскресенье она сочла нужным познакомить Володю с отцом и матерью. Он принес бутылку коньяка, торт. Увидев, что представляет из себя избранник дочери, родители онемели. Воцарилась могильная тишина.

Тогда Маня собрала немногочисленные пожитки, и ушла вместе с Володей.

Через несколько месяцев к его дню рождения успела вышить бисером с полудрагоценными камешками икону святого Владимира. Изумительной красоты.

Один из знакомых Володи, бывший искусствовед, сказал, что можно продать этот шедевр в специальном магазине за несколько тысяч долларов.

Но они не продали.





Дом

Не хотел, ни за что не хотел я сюда приезжать через столько лет. По иногда доходившим слухам, все здесь отвратительно изменилось со времени моей юности.

Заперев за собой дверь комнаты, вышел было в парк. Потом вернулся, надел забытые на тумбочке очки.

Шел по дорожке мимо обмерших от августовского зноя кустов и деревьев. Все слышней доносился гул голосов с набережной, звуки музыки.

...Московский поезд пришел вчера в Феодосию с трехчасовым опозданием. Подъезжая поздно вечером последним автобусом к Коктебелю, издали увидел с высоты холмов полукруг набережной, обозначенной пунктиром фонарей, и с надеждой подумал, что, может быть, все осталось по-прежнему, как остались эти холмы, ночное зеркало залива. Уже стоя с чемоданчиком в административном корпусе дома творчества перед конторкой дежурной, оформлявшей мои документы, обратил внимание на объявление: «Администрация за сохранность не сданных в наш сейф денег, драгоценностей и других ценных вещей не отвечает». За услугу нужно было платить по-сугально. Вдобавок дежурная таинственно прошептала: «Весь Коктебель поделен между воровскими мафиями – ростовской, симферопольской, феодосийской и местной». После чего выдала пропуск и ключ от комнаты в корпусе, стоящем ближе всех к морю. Ключ как ключ. Подобрать подобный было не-трудно. Но я не стал сдавать в сейф деньги. А драгоценностей не имел отродясь. И все-таки на душе стало тошно.





И сейчас, когда я вышел через калитку в воротах парка в пестрое многолюдье набережной, это ощущение усилилось. Оглянулся, чтобы увидеть горы—Карадаг, Сюрю-каю. Но отсюда их не было видно.

Между двумя рядами торговцев текла нескончаемая толпа курортного люда. За парапетом на гальке пляжа, на сколько хватало глаз, виднелись сотни, тысячи выжаривающихся на солнце тел.

Над кипящими от купальщиков прибрежными водами взлетали мячи, слышался визг детей, перебивающие друг друга вопли магнитофонных певцов и певиц.

Пожалел о том, что поздно вышел поплавать, что приехал вообще, поддался на уговоры друга.

Приостановился. Закурил.

Спускаться к пляжу, искать себе место в этом лежбище, пропискиваться к взбаламученной воде—не таким я представлял себе свидание с морем.

Ничего не оставалось, кроме как влиться в поток людей и направиться к пляжу дома творчества, куда пускали по пропускам и где заведомо должно было быть посвободнее. Зато там ждала другая напасть—неминуемая встреча со знакомыми писателями, бесконечные пересуды о литературных делах, последних новостях политики.

Шел в толпе мимо торговцев, продающих поделки из полурагоценных коктебельских камней, открытки с видами того же Коктебеля, надувных резиновых крокодилов, плавки, панамки, солнцезащитные очки. Тут же дымили мангалы с жарящимися шашлыками.

И, наконец, увидел возвышающийся над металлической оградой, над вершинами деревьев Дом поэта.

Серый, с деревянной лестницей, ведущей к широкой открытой террасе второго этажа, с высокими венецианскими



окнами мастерской, площадкой над мастерской, где когда-то стоял телескоп. Дом, казалось, пребывал вне этого курортного мельтешения, этого торжища, вечный, как холмы и море.

Вспомнилось, как после грохота февральского шторма, когда подхваченные бурей соленые брызги срывались с седых гребней волн, долетали до стекол, неожиданно грянула солнечная теплынь и тишина.

Мария Степановна впервые отперла передо мной дверь мастерской, где в пол-окна синело море, а на полу, на картине Диего Риверы, на бюсте царицы Таиах, на мольберте, высоких тюбиках красок лежали солнечные блики.

Только теперь я понял: много лет ждал этой встречи с Домом, ради нее приехал. Мария Степановна давно умерла и, по слухам, похоронена на вершине отдаленного холма рядом с могилой своего мужа, Максимилиана Волошина. Хотелось верить, что осиротелый дом все эти годы ждал меня, когда-то долгими зимними ночами слышавшего потрескивание половиц, словно по комнатам бродили призраки людей, чьи фотографии в старинных рамочках висели по стенам: тот же Максимилиан Волошин, Цветаева, Горький, Мандельштам... Пончувствовав, что призраки этих славных, знаменитых людей ощутимо давят, мешают быть самим собой, я вынес свой столик на террасу и в любую погоду работал за ним, закутанный в пальто и шарф.

...Шел вдоль ограды, убыстрял шаги, пока не увидел там, в садике, за шеренгой аккуратно подстриженных кустов тамариска большую группу курортников, перед которыми с указкой в руках стояла женщина-экскурсовод.

— Пока предыдущая группа заканчивает осмотр,—говорила она,— я расскажу вам об этом всемирно известном доме поэта и художника Максимилиана Александровича Волошина. Граж-





данка, вон та, в шортах, косточки от абрикос нужно кидать в урну. Итак, продолжаю...

Дошел до калитки, увидел возле нее сидящую на табуретке старушку-контролершу и понял: чтобы попасть на заповедную территорию, теперь нужно приобрести билет.

Будочка кассы была тут как тут. Встал в конец разомлевшей от зноя и безделья очереди. Будочка оказалась оклеена афишами, извещавшими о вечернем концерте какой-то певицы—исполнительницы романсов на стихи Марины Цветаевой и о цикле лекций московского литературоведа «Новое об отношениях между М. Волошиным, А. Грином, М. Цветаевой и другими гостями Дома поэта».

Покупая билет, я усмехнулся в душе, вспомнив, как вдова Волошина Мария Степановна однажды призналась мне, что возненавидела Грина—этого одинокого спивающегося человека, обладающего редчайшим даром подлинного романтика. Возненавидела после того, как застала зимней ночью в гостиной, писающего в кадушку, где росла пальма.

...И вот я поднимался вслед за экскурсионной группой по лестнице на столь памятную террасу.

Наверху оглянулся.

Карадаг, гора Сюрю-кая были на месте.

—Итак, мы с вами находимся в доме, который не раз посещали знаменитые писатели и художники,—тараторила женщина-экскурсовод.—Кроме уже перечисленных, здесь бывали Андрей Белый, Богаевский, Валерий Брюсов, прославившийся до революции своими строчками: «О, закрой свои бледные ноги!» Кто из вас знаком с творчеством Валерия Брюсова?

Я обогнул почтительно внимавшую толпу и вошел в приоткрытую дверь первой комнаты.

—Куда вы?!--раздалось за спиной.—Все идут вместе со всеми!
Да еще с полотенцем!





Навстречу уже шла изможденная женщина в очках.

— Гражданин, возвращайтесь в общую массу.

— Жил тут полгода,— затравленно произнес я, снимая с плеча полотенце.— Вместе с Марией Степановной, больше пятидесяти лет назад... Хочу увидеть комнату, где спал, взглянуть на мастерскую и все—уйду.

— Погодите, погодите! А Мария Степановна вам что-нибудь рассказывала? Вспоминала?

— Рассказывала, вспоминала.

— Любочка! Люба, у тебя ключи?— обратилась она к появившейся в проеме другой двери девушке в сарафане.— Открой, пожалуйста, товарищу все помещения, в том числе кабинет и мастерскую, а потом возьми чистую тетрадь, и мы запишем его воспоминания. Они могут быть бесценны. Я, видите ли, цветаевовед, а последнее время занимаюсь еще и Александром Степановичем Грином. Посвятила двум этим гениям свою жизнь.

Девушка, звеня связкой ключей, повела меня по дому.

Я, замерев, стоял на пороге той комнаты, где возле рояля ютилась когда-то раскладушка. Рояль был цел. Однако что-то здесь изменилось. Исчез узкий карниз на стене, где стояли иконы, под которыми горели лампадки, а в Рождество Мария Степановна, встав на стул, зажигала еще и длинный ряд свечек.

— Любочка, а где иконы?— тихо спросил стоявшую за спиной девушку.

— Ой, наверное, с тех пор, как вы здесь были, столько раскрашено.

— Милиция не охраняет?— Вы знаете, честно говоря, последние годы не столько милиция, сколько местная мафия,— она понизила голос точно так же, как дежурная в доме творчества.— Им, ворам, выгодно, чтобы сюда стекались посетители со всего Крыма. Автобусами возят.





—Понятно. Что ж, заглянем в мастерскую? И еще я хотел бы подержать в руках ту дореволюционную Библию, которую меня заставила впервые прочесть Мария Степановна. Можно?

—Ой, не знаю. Вся библиотека Волошина заперта в шкафах. Ключи у директора музея, а он сейчас в Москве на симпозиуме.

—Что ж...

Мы перешли в мастерскую, где все как будто оставалось по-прежнему. Потянуло найти полку с коллекцией заморских раковин, посидеть на ступени лесенки, ведущей наверх в кабинет, как сидел я когда-то, слушая несколько неодобрительные рассказы Марии Степановны о том, как Макс занимался здесь магией, читал эзотерические сочинения Папюса. Но сюда уже вваливались туристы со своей экскурсоводшей.

—Кем вы здесь работаете? — спросил я девушку, когда мы вышли на опустевшую террасу.

—Стажируюсь. Я аспирантка из Санкт-Петербурга. Со школы изучаю творчество Цветаевой. Знаете, честно говоря, последние годы она мне сниается, чувствую, что вступила с ней в духовный контакт...

—Ясно. А можно пока что здесь покурить?

—Конечно-конечно! Я сейчас сбегаю за тетрадью, и мы с моей начальницей — замдиректора по науке, вас подробно опросим.

Я закурил. Подошел к перилам террасы. Внизу скапливалась новая группа.

Остроконечная гряда Карадага все так же обрывалась в море могучим профилем Максимилиана Волошина. Впрочем, теперь больше похожим для меня на профиль человека, настоящего на том, чтобы я поехал сейчас в Коктебель.

Лестница задрожала от топота. Снизу поднималась новая экскурсия.





—Не сметь курить! В очках, а не видите — написано: «Не курить», — экскурсоводшу тряслось от негодования.

—Извините, — я сбежал по ступенькам лестницы.

Не прошло и десяти минут, как я плыл в море, оставив одежду и полотенце на гальке писательского пляжа.

«О чём им рассказывать? — думал я. — Что Максимилиан Александрович не мог иметь детей, и Мария Степановна от этого очень страдала? Что фашисты, захватившие Крым, хотели занять Дом под комендатуру; что потом, уже в послепобедный год, партийные власти пытались отнять Дом для отдыха адмиралов черноморского флота... В обоих случаях Мария Степановна, раскинув руки, становилась на пороге и просила: «Сначала убейте меня! И тогда делайте, что хотите!» Только воля Божия спасала хрупкую, беззащитную женщину. И Дом. Спасет ли его теперь?»

Отсюда, из чистых вод морской дали, куда я заплыл, виднелся лишь верх башенки-мастерской над зелеными кронами деревьев.

В год, когда мне довелось там жить, меня отделяло от Максимилиана Волошина и его гостей гораздо меньше времени, чем сейчас от самого себя тогдашнего...

Эта мысль поразила.

От долгого плавания я ухитрился подмерзнуть и лег ничком на расстеленном поверх раскаленной гальки полотенце.

Послышалось, будто кто-то окликает меня. Приподнял голову. Долговязый молодой человек с русой бородкой шел, переступая через тела загорающих, растерянно выкрикивая мое имя.

Встал, в одних плавках направился к нему.

—Меня зовут Александр, я дьякон, — представился незнакомец. — Александр Мень, когда узнал, что мы с женой уезжаем





в Коктебель, просил непременно отыскать вас в доме творчества. Чтобы вам не было тут одиноко.

— Так и сказал?

— Да.

Мы тут же уговорились к вечеру, когда спадет жара, встретиться у Дома поэта и пойти на могилу Волошина.

Удивительно! Обласканный заботой друга, теперь, возвращаясь с пляжа по набережной, я не только не испытывал раздражения при виде торжища, жарящихся шашлыков и коловращения курортного люда, но поневоле залюбовался колоритной картиной кипения жизни.

...Путь к вершине одного из холмов, где находятся одинокие могила Максимилиана и Марии Степановны долог. По дороге Александру, его жене и мне удалось собрать скромные букетики полевых цветов, переложенных горько пахнущей полынью.

Когда-то поверх могилы Волошина был выложенный агатами, халцедонами и сердоликами крест. Теперь его не было.

Зато мы положили наши букетики. Дьякон отслужил панихиду. А я стоял с горящей свечой в руке и думал о том, что Волошин и его самоотверженная Мария Степановна славно прожили свои, именно свои неповторимые жизни. В отличие от сонма волошиноведок, цветаеведок, живущих чужими жизнями...

В небе затрепетала первая звезда, когда мы двинулись обратно.

Холмы отдавали тепло прошедшего дня, дорога вела под уклон. Сверху стала видна безлюдная бухта.

— Искупаемся? — предложил я.

Мы спустились к воде, разделись и поплыли под звездами.

Александр нырнул, с шумом вынырнул, снова нырнул.

Мне тоже захотелось нырнуть, хотя я не умею этого делать.



Попытался кувырнуться вниз головой. Почувствовал — произошло непоправимое. Завопил:

— Очк! Морем стянуло очки!

— Минутку! — отфыркиваясь, крикнул показавшийся из воды Александр.

Тут же нырнул. Скрылся из глаз. Через минуту в темноте поднялся силуэт руки с очками.

— Как тебе удалось их нашарить? — удивилась по пути назад его жена.

— Ничего особенного. Они выделялись на светлом фоне песка.

... Впереди теплились огни Коктебеля.





Катапульта

В этой истории ничего не выдумано. Пересказываю так, как услышал ночью в коридоре вагона от очень старого человека, который вез с собой мольберт и прочее снаряжение живописца. Мы стояли у полуспущенного окна, курили, глядя на проносящиеся в темноте редкие огни.

Порой с незнакомым человеком легче разговориться, чем с самым близким.

Помню, меня в те годы особенно мучило несоответствие между тем, о чем я пишу, и тем, как вынужден жить сам. Между словом и делом. Родные люди, да и читатели моих книг, познакомившиеся со мною, видят, что я не совпадаю с их представлением об авторе.

Не все понимают, руки связаны... Я знал, конечно, что с писателями, людьми искусства вообще так бывает всегда или почти всегда. И это меня тем более мучило: неужели полное соответствие невозможно?

Мой попутчик улыбнулся.

— Еще не хватает, чтобы старушка Агата Кристи на самом деле была убийцей... Но вот что я расскажу вам. Я, видите ли, наверное, один из последних оставшихся, кто брал Перекоп. Мы ворвались в Крым, громя белую армию. Меня ранило. Шарахнуло из пулемета по ногам. Мне было тогда восемнадцать лет. Представьте себе — раненый красноармеец, у которого в России никого не осталось. Так я и загнивал в Крыму, в госпиталях. То после очередной операции лежал распятым на деревянных досках, то лечили евпаторийскими грязями...





За эти годы начал рисовать. И пристрастился к чтению. Что я мог еще делать в моем положении? Книги мне добывали санитарки, врачи... Что добывали, то и читал. Случайные книги.

Так, случайно, попала в руки книжечка одного автора, который меня жутко заинтересовал. Потом, нескоро, другая. Я просто грезил его рассказами и повестями. Он был не похож ни на каких писателей в мире!

Погодите-погодите. Скоро сами догадаетесь, о ком идет речь.

Короче говоря, страстно хотел увидеть его, познакомиться. Думал, что-то необыкновенное, чего в жизни не бывает и быть не может. Но он был. Живой. И, как слышала одна медсестра, относительно близко — где-то в Старом Крыму!

Теперь догадались?

Так вот, представьте себе такое, несколько плакатное зрелище: красноармеец на костылях, в буденовке, в запотпанной шинели, с тощим вещмешком за спиной движется пехом из Евпатории по восточному Крыму... Лето, жара. Хорошо хоть тогда в русских и татарских селениях были добрые люди: можно было напиться воды, переночевать.

Вы, наверное, думаете — наглец. Ведь я стремился туда, где меня никто не ждал. Точного адреса не было, не мог послать вперед себя открытку или письмо.

По молодости лет я был убежден, что этот писатель обитает в каком-нибудь старинном замке вроде Ласточкина гнезда или, на худой конец, в древней генуэзской башне вроде той, у развалин которой я заночевал в Судаке.

Попасть оттуда в Старый Крым можно, преодолев горный перевал. Нужно фанатическое стремление к цели, безрассудство молодости, чтобы в тогдашнем моем положении решиться на эту авантюру. Хорошо хоть я вышел рано — в четвертом часу утра, до жары. Чуть заметная тропа вела через буковый лес к хребту.





На перевале, помню, встретились два пастуха, перегонявшие стадо коз. Угостили молоком, сыром. Там я отдохнул, спал. Спускаться было полегче.

Бывали ли вы в Старом Крыму? Тогда, во всяком случае, это был утонувший в пыли поселок, состоявший из однообразных глинобитных домишек вроде украинских хат, огороженных плетнями. Чахлые, выжженные огородишки. Куры.

Я вошел туда после полудня, и мне казалось, что все здесь вымерло. Ни души. Бродячие псы с высунутыми от жары языками лениво тянулись за мной.

Но вот я увидел наконец человека. Татарская девушка в низко повязанном платочек, с монистами выбирала воротом из колодца ведро воды. Сперва она испугалась. С трудом поняла, о чем я спрашиваю. Потом оставила свое ведро, провела через проулок к какой-то полуоткрытой калиточке в изгороди и убежала.

Замечали ли вы, что порой, оглядываясь назад во времени, ясно видишь: судьба приводит тебя куда нужно в самый нужный момент?

Домишко белел в глубине участка, в тени старых деревьев. Он и сейчас там стоит. Подновленный, конечно. Был там снова лет двадцать назад. Теперь это музей. А тогда, повторяю, затрапезная хата. На изгороди висел сарафан, выжаривался матрац.

Поднялся со своими костылями на крылечко, постучал в дверь. Безмолвие. Набрался храбрости, толкнул ее. Заперто.

Я решил, что хозяин уехал. Быть может, давно. Уж больно все вокруг казалось вымершим. Сидел на ступеньках, думал о собственной глупости, о том, что, если бы не это путешествие, уже мог бы добраться из Евпатории до Симферополя и мчать поездом в Москву, где должен был явиться в Реввоенсовет, встать на учет.



На прощание с, так сказать, несбывшейся мечтой я решил хотя бы обойти домишко, поглядеть, как тут живет необыкновенный, ни на кого не похожий писатель.

Свернул за угол и от неожиданности замер.

Привязанный к склонившейся от тяжести ветке грушевого дерева покачивался на веревке огромный камень.

Под камнем была четырехугольная яма, водоем, полный воды. У подножия дерева валялись два ведра и деревянная лестница. Потом я обратил внимание на широкую доску. Один ее конец находился между водой и камнем, другой скрывался в раскрытом настежь окне.

Я подошел к нему, осторожно глянул в темноту комнаты. И столкнулся взглядом с человеком, в руках которого было ружье. Человек был абсолютно голый.

—Кто такой? Что надо? Идите к двери!

Он произнес это так яростно, что было понятно — я оторвал его от какого-то важного дела.

Встретил меня на крыльце уже в потрепанных шароварах. Худой, усатый, с ружьем в руке.

—Кто такой?

Думаю, не столько мои путаные объяснения, сколько kostyli смягчили его суровость.

—Заходите.

Так я оказался в гостях у своего кумира.

Пили мы самогон, закусывали арбузом и сухарями из моего вещмешка.

—Случайно не помните, как Джакомо Казанова бежал через свинцовую крышу флорентийской тюрьмы? — спросил он первым делом. — Меня интересуют подробности.

Ни о каком Казанове я, конечно, в то время не слыхал.

—Ладно, придется сходить в Коктебель к Максу. У него в библиотеке, кажется, есть мемуары. Правда, на итальянском языке.





Замученное, покрытое вертикальными морщинами лицо писателя вдруг приблизилось ко мне.

—Как вы думаете, можно с одного выстрела из вот такого охотничьего ружья попасть в веревку? У моего героя только одна пуля. Один шанс бежать из тюрьмы от расстрела.

—Кто он?

—Эсер.

У меня голова пошла кругом.

—Хотите, выстрелю? Попробую попасть.

—Какого черта?! Это должен сделать он! То есть я!

Хозяин провел меня в комнату с перекинутой через подоконник доской. Объяснил, что если встать на конец доски, перешибить единственным выстрелом веревку, камень со рвется, ударит по другому краю, и она, как катапульта, выбросит героя из камеры смертников. Тот перелетит через предполагаемую ограду тюрьмы и упадет в ров с водой, откуда уже можно выплыть на волю...

—Здорово! — сказал я. — Сами придумали?

Тут-то он меня и проводил к двери. Заперся. Я уходил, оглядывался, ожидая услышать звук выстрела.

...Не знаю, как вы, а я прочел впоследствии все его романы, повести и рассказы. Все собрания сочинений. Нигде не встретил подобной сцены. Он рано умер, в 32-м году. У него была тяжелая жизнь. Читали его автобиографическую повесть?

—Читал...

Я почему-то постеснялся тогда сказать ночному попутчику, что был знаком с вдовой писателя, Ниной Николаевной. Она принимала меня в той самой хатке. Измученная жертва сталинских лагерей.





Солнечный зайчик

Памяти Мурки

Серая, пушистая кошечка с белой грудкой. На кончиках ушей — кисточки, словно у рыси.

Она появилась на свет зимой где-то в недрах МХАТа имени Чехова, и ее подарили моей маленькой дочери. Недолго думая, я предложил назвать котенка Муркой.

Мурка позволяет девочке делать с собой все, что та хочет: обнимать, прижимать, катать в кукольной коляске, таскать за шиворот.

Ночью Мурка появляется у меня, вспрыгивает на тахту, проходит по одеялу, под которым я сплю, словно по горному хребту, достигает моей головы и обязательно засовывает мордочку в мое ухо, щекочет жесткими белыми усами. После чего шествует обратно к ногам, где и сворачивается в клубок. Засыпает.

А я, проснувшись, долго не могу заснуть.

Утром по пути на работу жена отводит дочку в детский сад. Уже конец марта. Весеннее солнце весело светит в восточное окно, ярко озаряет часть комнаты.

Мурка мешает мне стелить постели, прибираться. Ей явно хочется поиграть. Знает, что через полчаса я усядусь в своей комнате за работу и ей ничего не останется, кроме как вспрыгнуть на стол, расположиться подобно сфинксу поодаль. Иногда она пытается ухватить лапкой авторучку, сбросить ее на пол. Мол, хватит терять время, поиграем!

Сегодня в восточной комнате особенно яркое солнце. Оно резко разделяет комнату на освещенную середину и ту часть, где держится утренний полумрак.





Мурка лежит на теплом, прогретом лучами паркете, следит за тем, как я поливаю из леечки цветы на подоконнике.

Вдруг замечаю, она подняла голову, настороженно следит за чем-то на потолке.

Там шныряет солнечный зайчик.

Не сразу соображаю, что это — отражение круглого стеклишка моих часов. Сняв их с руки, направляю ослепительный кружок света в темный угол — сначала к корзине с детскими игрушками, потом к дивану. Мурка кидается вслед. Замирает солнечный зайчик — замирает Мурка. Вся подобралась для прыжка, хвостик ходит ходуном. Стремглав кидается к цели.

Но зайчик уже на диване. С пола ей не видно, куда он делся. Тогда я перевожу его повыше — на спинку дивана. И вот она мечется за ним взад-вперед по дивану, по его спинке, пытаясь зацепить лапой, ухватить зубками.

Помню, что пора работать. Было бы стыдно, если бы кто-нибудь застал меня за таким времяпрепровождением. Но сейчас я тоже как котенок. Так азартно следить за прыжками этого пушистого густка жизни...

Направляю зайчик повыше — на висящую над диваном большую карту Палестины времен Иисуса Христа.

Мурка исхитряется прыгнуть ввысь со спинки дивана, достигает синевы Мертвого моря. И соскальзывает с глянцевитой поверхности карты, плюхается на диван.

Теперь, когда зайчик медленно проползает мимо нее, она лишь в бессильном негодовании клацает зубками. Кажется, поняла, что зайчик неуловим, эфемерен.

Пора перестать заниматься глупостями. Нужно вернуться в свою комнату, усаживаться за работу.

Мурка уснула. Выдохлась. А я все гляжу на подрагивающее пятнышко солнечного света, думаю о том, что все, кажущееся



доступным, материальным, за чем гонимся мы всю жизнь, пытаемся урвать, в конечном итоге такой же бесплотный фантом.

Горький вспоминал, как однажды подсмотрел сидящего на садовой скамье Антона Павловича Чехова. Тот с беспомощной улыбкой ловил шляпой солнечный зайчик. Бедный Чехов, умер от чахотки, совсем не старым!

...Надеваю часы, поворачиваюсь к окну и взглядаю в упор на Солнце.





Люк

— Опять, корова, приклеилась к телевизору? — донесся из кухни голос матери. — Завтрак готов, марш за хлебом!

— Не пойду! — отозвалась Виолетта.

Она знала, что за этим последует. Но так не хотелось с утра пораньше бежать в магазин, а потом в школу. Вчера под предлогом совместного приготовления уроков до позднего вечера мерила у соседки-одноклассницы ее платья, вместе смотрели концерт поп-групп по тому же телику, потом сражались в карты — в подкидного дурака.

Полчаса назад мать еле разбудила ее, растолкала, заставила одеться. И вот теперь не по возрасту ядреная, неумытая семиклассница с сонными глазами навыкате тупо смотрела на экран, где показывали рекламу зубной пасты и женских гигиенических прокладок.

— Виолетта, прекрацай! Беги мыться и марш за хлебом! — мать, ворвавшаяся из кухни, вырвала из ее руки пульт, выключила телевизор. — Немедля иди мыться, от тебя пóтом воняет!

— От тебя самой воняет! — огрызнулась дочь. — Давай деньги. И чтобы на жвачку осталось.

Она лениво слезла со стула, прошла в переднюю, надела сапожки, насунула на голенища концы модных голубых джинсов с бахромой, сняла с вешалки оранжевую куртку-пуховку, вытащила из рукава красную вязаную шапочку. Одевшись, застыла у зеркала.

— Что стоишь-любуешься?! — гаркнула мать, подавая деньги и хозяйственную сумку. — Купиши батон и половину круглого, серого. Одна нога здесь, другая — там. Понятно?



—А на жвачку?

—Останется тебе! Иди наконец.

...Тусклое ноябрьское утро было пустынно. На подмерзшие за ночь тротуары и мостовую медленно падал снег.

В дверях магазина Виолетта столкнулась с выходящим оттуда стариком в линялом, надвинутом на лоб берете, в черных очках с трещиной.

Они с матерью не раз видели это чучело в их квартале. Мать говорила, что это обедневший профессор, недавно похоронивший жену.

Когда Виолетта топала из магазина с хлебом в сумке и при торно-сладкой жвачкой во рту, она увидела впереди себя спину удаляющегося старика.

Он суетливо семенил со своей мотающейся авоськой с буханкой, припадая то на одну, то на другую ногу. Словно все время нырял и выныривал.

Виолетта постепенно нагоняла его. Смешно было наблюдать за этой одинокой фигурой в летнем плащишке, подпоясанном каким-то перекрученным ремнем.

Чучело слепо переступило с покрытого наледью тротуара на край проезжей части, где было не так скользко, двинулось дальше вдоль бровки.

Виолетта почти поравнялась с ним, когда увидела — впереди у края мостовой чернеет что-то круглое.

Это был канализационный люк с откинутой рядом крышкой.

Две толстые женщины в оранжевых жилетах поверх телогреек стояли поодаль с ломиками в руках у разукрашенной изображениями золотистых драконов витрины китайской закусочной.

Старик неуклонно двигался прямо к люку.

Виолетта замерла. Челюсти ее перестали разминать жвач-





ку. Еще можно было крикнуть, добежать до старика, отдернуть его, остановить...

Она жадно смотрела — что будет?

Вдруг старик исчез. Только беретик и очки лежали на белом снегу.

Виолетта прошмыгнула мимо толстых теток и, лишь сворачивая к себе во двор, услыхала за спиной их вопль.





Записная книжка

К тому времени я уже знал, что в жизни каждого человека бывают полосы бед.

Все началось с того, что в апреле умерла мама. Сразу после похорон выяснилось: моя книга, которая около четырех лет лежала в издательстве и вот-вот, наконец, должна была выйти в свет, выкинута из плана выпуска, ибо ее место заняло свежеиспеченное сочинение секретаря Союза писателей.

Сразила бессонница. Гудел от боли затылок, кружилась голова.

Знакомый врач измерил давление, заподозрил развитие гипертонической болезни. Я молча сидел перед ним.

— Ты стоик, — сказал он. — Улыбаешься...

А я и не знал, что улыбаюсь.

— Боюсь, как бы не стать лежиком.

После смерти матери я остался совсем один.

И в довершение всего как-то вечером в пятницу обнаружилось: потерял записную книжку. Старую записную книжку со всеми телефонами и адресами. Обыскался — не нашел.

На фоне того, что произошло, ничего особенно страшного. Но эта мелочь меня добила.

Каждый знает, тошнотворное дело — переписывать в новую записную книжку со старой переполнившие ее номера телефонов и адреса. А тут и переписывать не с чего. Неизвестно, как восстановливать. Тем более, всегда старался не загружать память тем, что может хранить бумага.





Я уже не улыбался. И телефон молчал, как назло. Никому почему-то в голову не приходило позвонить мне.

Прежде чем неизвестно как восстановливать связи с миром, нужно было для начала обзавестись новой записной книжкой.

Утром в субботу я уже собрался пойти за ней в магазин, как раздался звонок телефона.

— Случайно не вы потеряли записную книжку, старую такую, потрепанную?

— Потерял! — я необычайно остро почувствовал, что зловещая полоса моих бед завершается. — Где вы ее нашли?

Очевидно, звонил пожилой человек с несколько скрипучим голосом.

Он объяснил, что подобрал ее на металлической подставке в будке телефона-автомата у метро «Сокол», куда зашел позавчера вечером, чтобы позвонить в шахматный клуб.

Эти подробности меня не интересовали. Я вспомнил, что действительно звонил из этого автомата знакомому, который, как оказалось, отбыл в командировку. Только кажется, что в записной книжке много телефонов твоих друзей, но когда ты один, и тебе плохо, где они, друзья?

— Как вы раздобыли мой номер телефона?

— Просто. Пришел домой, обзвонил семь-восемь человек из вашей записной книжки. Они вычислили, кому она может принадлежать.

— Спасибо. Как мне с вами встретиться?

— А где вы живете?

Я сказал.

— Так это почти рядом со мной. Записываю адрес. Могу минут через двадцать занести.

Я подумал: «Хочет слупить с меня деньги за находку и доставку».





И вправду, вскоре он появился у меня, этот человек. Я ошибся—он был вовсе не стар. Вихрастый блондин лет тридцати, не больше.

Я думал, отдаст записную книжку, поблагодарю, вручу какую-нибудь денежку. Но он топтался в передней, с любопытством глядел на меня.

—Зайдите. Присядьте.

Он с готовностью стал расшнуровывать и снимать ботинки. Прошел в носках в комнату, уселся на стул, начал озирать стены. Потом, вспомнив о цели своего визита, выложил на скатерть записную книжку.

—Еще раз спасибо. Сколько я вам обязан?

—Нисколько. А вы играете в шахматы?

—Нет.

—Почему?

—Потому что не играю. Некогда тратить время жизни на передвижение деревяшек по деревянной доске.

—Вы так думаете? Интересно. А как вы относитесь к разводу?

—Как к шахматам.—Этот посетитель со своим скрипучим голосом начал меня всерьез раздражать.

—А я вот женился два года назад, маленький ребенок... Семейная жизнь не складывается. На работе тоже. Служу в Госкомстата. За шесть лет никакого повышения зарплаты. Вообще я там как белая ворона... Вот разводиться собираемся.

Передо мной сидело само Одиночество.

—У вас ребенок,—сказал я.—Может быть, все наладится.

—Вы так думаете?—он нерешительно поднялся.—Вам хорошо! У вас вон сколько друзей и знакомых, целая записная книжка.

Я тоже встал.

—А как вы относитесь к пиву? Хотите, пойдем выпьем пива?





Мне было не до пива.

Но раз уж так получилось, я решил выйти вместе с ним, чтобы купить новую записную книжку. Переписать в нее все необходимое. За вычетом номеров телефонов мнимых друзей.

Он сопроводил меня до одного из павильончиков в подземном переходе, где я и приобрел искомое.

—А знаете что? — спросил он, понимая, что пора расставаться.— Вы не запишете мой телефон? На всякий случай.

—На какую букву? Как вас зовут?

—Володя.

—Хорошо, тезка. Есть авторучка?

Я почувствовал себя ханжой и святошей.





Клиенты

Он был медвежатник. Не из тех, кто взламывает сейфы. А из тех, кто действительно охотится на медведей.

И фамилия его была Медведев.

Я долго не мог уразуметь, зачем нужно такому добродушному человеку убивать мишек.

За полтора года нашего знакомства автослесарь Володя Медведев десятки раз приезжал ко мне по вечерам после работы в автосервисе при мотеле. Обязательно привозил с собой бутылку водки.

—Нет, но ты мне скажи,—хрипел он, разливая ее по стопарикам,—почему христиане считают, что развод—грех? А если она не может родить? Если бесхозяйственная? С другой стороны, оставлю ее—кому будет нужна?

Он видел, что эти разговоры мне тягостны, но продолжал бубнить:

—У меня лежачая старуха мать. Второй год, как сломала шейку бедра. И мать, и жена на моей шее. Из-за них все не могу взять из детдома какого-нибудь пацаненка, у которого ни папки, ни мамки. Я бы его охотиться научил, рыбачить...

Он пил и не пьянял. Только взгляд останавливался, наливался тоской. Сжимались кулачища, покрытые шрамами от тяжелой работы.

—За смену надышишься сваркой, выхлопами. Извини,—он выходил к умывальнику в ванной—отхаркаться.

А вернувшись к столу, вдруг задавал какой-нибудь нелегкий вопрос. До сих пор помню, как сказал: «В перерыв ели сосиски





ски в буфете, один жестянщик трепал, что нельзя доказать существование Бога. Ты как думаешь, можно?»

Уходил от меня Володя Медведев поздно. Не очень-то хотелось ему возвращаться в родные стены.

И вот как-то осенью пригласил к себе в гости.

Ехать не хотелось. Но не поехать не мог. Мало того, что Володя периодически чинил мой автомобиль. Он почему-то прикипел ко мне. Хотя ничего общего между нами, казалось, не было и быть не могло. Да и в качестве собутыльника я был ему не по плечу.

...Двухкомнатная квартирка с низкими потолками тесна была Володе Медведеву, самому похожему на медведя. Печать неухоженности, запустения лежала на всем, даже на пыльной медвежьей шкуре, распятой над продавленным диваном.

Сначала он провел меня на захламленный балкон, где похвастался огромной пластиковой бочкой, предназначеннной для вымачивания в каком-то растворе медвежьих шкур, жаровней с шампурами.

—Скоро будешь есть шашлык из медвежатины. Сам замариную в сухом вине. С луком, перцем и солью.

Он усадил меня в кухне, забросил в морозильник принесенную мною бутылку «Столичной», накрыл на стол. Поставил в центре его половину здоровенного арбуза, банку маринованных маслят. Худощая жена Володи молча разложила по нашим тарелкам дымящиеся сардельки, сняла с плиты кастрюлю отварной картошки и вышла в комнату к лежачей больной.

—В конце недели уезжаю в отпуск,—сказал Володя, нарезая хлеб.—На десять дней. Охотиться на Топтыгина. Задумал—забыю зверя, выделаю шкуру тебе в подарок. На память о Володе Медведеве.

—Спасибо, тезка. Но какого рожна? Ты ведь знаешь, как я к этому отношусь... Отправляйся лучше на рыбалку. Октябрь,





время предзимнего жора судака, щуки. Сам бы с тобой снарядался.

— Обязательно! Порыбачим,—он достал охладившуюся водку.— Только в другой раз. Понимаешь, такой случай представился: на днях подкатили на работу три клиента на «Волге» — отец и два взрослых сына, здоровенные лбы. У машины проблемы с карбюратором, задним мостом, дверцу заклинивает. Пока чинил, возился, слово за слово рассказали, что летом на своем аппарате колесили по Румынии, Болгарии. Где-то там на уток охотились. Тут я возьми и подосадуй: «Октябрь наступает. Не отыхал. А медведи сейчас по лесу бродят, коренья выкапывают, жиরуют, к зиме готовятся, к спячке...» Короче, загорелись: «У нас машина. Поедем вместе! Покажешь места». А это в глухи, в Тверской области. Пока доберешься на поезде, на автобусе, потом пешком километров пятнадцать... Короче, в пятницу выезжаем.

— Кстати, Володя, почему у тебя до сих пор нет машины? Невужели не накопил, не заработал?

— Копить не умею, не люблю,—буркнул Володя.—Впрочем, сейчас узнаешь... — он поднялся и вышел.

Я сидел один за столом. Вспомнился терпкий запах осеннего каштанового леса в причерноморских горах над Лазаревской, хруст, с которым поедал пушистый мишка усеявшие землю плоды каштанов, и позавидовал я тому, что вот Володя поедет, а я останусь в Москве.

Он вернулся, держа в руках ружье, упрятанное в щегольской чехол с молнией.

— Гляди! Карабин. Коллекционный. Ездил за ним на завод в Тулу. Стоит больше нового «жигуля». Слона можно убить.

Оружие действительно оказалось серьезное. Снабженное оптическим прицелом. Очень красивое. Серебряные инкрустации украшали его. На прикладе — золоченая пластина с монограммой и особым номером.





—Заряжен? Убери на всякий случай. Мы тут пьем водку, мало ли что.

Итак, Володя уехал. Я помнил — на десять дней.

Прошел месяц. В начале ноября я позвонил к нему на работу в автосервис.

—Кто спрашивает?

—Друг.

—Какой еще друг?! — яростно заорал начальник смены. — Если друг, почему не был на кладбище? Кроме наших, ни одна собака не пришла проводить! Три недели как похоронили. Нет Володи Медведева. Убили где-то под Тверью...

Вечером позвонил к нему домой. Узнал от жены, что местный лесник наткнулся на расстрелянное тело среди обломанных кустов. Видимо, сопротивлялся до последнего.

—А карабин?

—Следователи искали — не нашли. Никого не нашли.

«Вот и попробуй доказать существование Бога, — подумал я. — Мир праху твоему, бедный Володя!»





Прощание

Новый хозяин сидел за рулем, когда я в последний раз въехала во двор и ты вышел у своего подъезда.

Продал ты меня. Предал.

Стукнула дверь. И больше я тебя никогда не видела. Даже не оглянулся.

...Помнишь, как хорошо было выезжать по утрам, когда я была в росе? И перед нами взлетали голуби, пившие воду из лужи, пролетала над газоном бабочка...

Сберегали друг друга от аварий. Во всяком случае, за долгие годы ни одной вмятины на моем корпусе не появилось. Кроме того раза, когда ты остановился ночевать в Купавне у своего знакомого капитана первого ранга и доверил его подчиненному мичману отвезти меня на ночь в гараж. Тут-то он ударил мною по впереди стоящему «Запорожцу». Помнишь? Автомобиль, как жену, как невесту, нельзя ни на миг отдавать в чужие руки.

А помнишь тот вечер, когда мы отвезли из Москвы в Семхоз нашего друга-священника? На обратном пути, уже ночью, прежде чем выехать на Ярославское шоссе, заплутались в путанице узких проездов, как вдруг из-за угла, не снижая скорости, вылетел встречный «КамАЗ» с выключенными фарами. Водитель был вдребезги пьян, и мы оба погибли бы в долю секунды, если бы не спас Бог — чудом успели скользнуть к краю кювета.

Нам есть что вспомнить. Но ты не знаешь всего.

Не знаешь, как однажды ночью два человека подошли ко мне во дворе. Ты спал дома, а они разбили пассатижами





ветровичок. Один просунул руку, открыл дверь изнутри. Другой сел на твое водительское место и стал выдирать проводки из замка зажигания, чтобы завести двигатель и украсть меня у тебя.

Они светили себе фонариком, чертыхались. Но не тут-то было! Я не поддавалась, пока кто-то из твоих соседей, вздумавший прогулять собаку, не спугнул их. Только по зернистым осколкам стекла ты мог догадаться о том, что я пережила ночь — безмолвная, лишенная голоса.

Продал ты меня. Предал.

В последние годы почти перестал ездить зимой. Но все равно откапывал меня после снегопадов. Присаживался за руль, включал двигатель. Сердце мое начинало биться...

А прошлой весной мы поехали в одну глазную клинику, в другую. Ты возвращался мрачный. Ехали обратно к дому очень медленно, осторожно, и все равно чуть не сбили старушку, выскочившую на мостовую. Помнишь?

С тех пор ты сел за руль только раз — когда вместе с каким-то брыластым человеком подъехал к нотариальной конторе. Оказалось, оформил доверенность. И продал меня в чужие руки!

Думаешь, я не понимаю, что после того случая со старушкой ты постоянно боролся с соблазном снова сесть за руль? Ведь мы так любили ездить сначала вдвоем, а в последние годы с твоей женой и дочкой. Ты никогда не отвозил меня на мойку. Мыл сам теплой водой, до блеска протирал тряпками.

Ну, стояла бы я у тебя под окном. Мы бы видели друг друга. Иногда садился бы с дочкой в салон, давал ей тихонько нажать на гудок...

...Новый хозяин строит дачу. У него есть и другая машина, иномарка. А на мне он возит доски, кирпичи. Перегружает





так, что я еле переваливаюсь по рытвинам. Через полгода такой жизни у меня стал портиться двигатель.

Неделю назад, возвращаясь с дачи в Москву, он бросил меня у Преображенской площади. Рассчитал, что дешевле бросить, чем чинить мотор. Даже не захлопнул дверцу. Ушел в метро.

Как стервятники, накинулись на меня ночные люди.

Свинтили колеса. Раздели.

...Подъезжает грузовик-эвакуатор. Сейчас погрузит лебедкой и отвезет под пресс, на переплавку.

Прощай!





Бескорыстное музицирование

Совсем не помню, кто познакомил меня с этим пожилым философом, как я оказался поздним вечером у него в гостях на зимней даче в Переделкино.

Кажется, пили чай с каким-то вареньем. Я читал хозяину и хозяйке свои стихи. Вроде бы варенье было сливовое.

В то время я пребывал поблизости — в Доме творчества писателей. Он пустовал. Было межсезонье. И поэтому мне выдали бесплатную путевку. Так сказать, для поощрения молодого таланта.

К концу чаепития философ вышел на крыльце дачи. Вернулся, позвал в переднюю. Подал валенки, снял с вешалки черный полушубок, меховую шапку.

— Одевайтесь. На улице идеальная ночь.

Я влез в тяжеленный полушубок. Валенки оказались великоваты. Он тоже утеплился — надел дубленку, женские сапоги «аляски» на меху, солдатскую шапку-ушанку. После чего мы стали подниматься по крутой деревянной лестнице на чердак. Я был уверен, что подобный нелепый маскарад ни к чему. В конце концов, начался март. Днем явственно припекало солнце.

Но когда он отпер дверь чердака и мы оказались в темноте крохотного помещения с настежь раскрытым окном, меня сразу охватил пронзительный, лютый холод.

— Осторожно. Не стукнитесь. Сейчас зажгу свет.

Он нашарил на стене выключатель. Осветился столик с маленькой лампочкой под колпаком. На столе лежали какие-то





таблицы. В полутьме прступил силуэт стоящего на треноге телескопа.

— Цейсовский,— сказал философ, свинчивая крышку с передней части трубы.— Садитесь рядом на табуретку. А я пока настрою. Луна сегодня в первой четверти, не помешает обзору.

Он опустился в низенькое кресло и стал вращать какие-то колесики, поворачивать трубу задранного в небо механизма.

В раскрытом окне, кроме маленького месяца и нескольких звездочек, ничего не было видно.

...Когда-то, мальчиком, я посетил с мамой московский планетарий. Показ планет Солнечной системы и лекция особого впечатления на меня не произвели, поскольку я понимал, что все это ненастоящее, игра каких-то замысловатых приборов, нечто вроде кино.

Он долго колдовал с телескопом, поглядывал в свои непонятные таблицы. Я засунул в карманы тулупа одеревеневшие от стужи руки. Потом стали замерзать ноги.

— Здесь вот, на этом чердаке, открыл несколько комет,— похвастался философ.— Состою членом Астрономического общества.

Я почтительно промолчал, проклиная в душе ледяную ночь.

— Поменяемся местами. Пройдемся для начала по освещенной Солнцем части лунного диска.

Кресло оказалось настолько низким, да еще откинутым назад, что я, в сущности, полулежал, уперев взгляд в ледяной окуляр. От холода заломило бровь.

— Страйтесь не шевелиться. Что вы видите?

...В бархатной черноте я увидел край ослепительно желтой пустыни. С буграми, ямами. Казалось, пустыня так близко, что достаточно протянуть руку и зачерпнешь горячий песок...





Тосклиwyй вой сторожевого пса достиг моего слуха. В ответ послышалось отдаленное гавканье других поселковых собак.

Чем дольше обследовал я безжизненную поверхность, тем отчаяннее казалось мне одиночество Луны.

—Стыдно спросить,—сказал я,—но что такое тяготение? Почему она все-таки не падает? Что держит в пустоте Луну и все звезды? Кружат по своим орбитам. Почему сила, которая поддерживает эти шары чудовищной тяжести, не убывает со временем? По законам Ньютона должна убывать, разве не так?

—Их всех, как и нас с вами, держит любовь Бога,—твердо ответил философ,—Создал и любит—просто так, бескорыстно.

Мне стало жарко.

Потом я увидел Марс. Красноватый, с действительно похожими на каналы длинными бороздами то ли высохших рек, то ли разломов. Мой взгляд через волшебное устройство телескопа касался его поверхности, и мне казалось, что вот сейчас застигну хоть какое-то движение, а может быть, там возникнет фантастическое существо, помашет рукой или лапой...

Напоследок мне был показан Сатурн. Он висел в черном бархате космической бездыны со всеми своими кольцами. На столько непостижимо далекий, что начала кружиться голова.

Вернувшись к середине ночи в Дом творчества, я не мог заснуть. В мозгу вращались огромная Луна, Марс с Сатурном. Я думал о том, как это они помещаются там, в голове, да еще все то, что я знаю о Земле, о знакомых людях со всеми их историями, о зверях, деревьях... И что произойдет со всем тем, что в меня вместилось, после моей смерти?

Рассвет выдался солнечный, по-весеннему ранний.

Подмерзший за ночь снежный наст похрустывал и ломался под моими шагами, пока я бродил по пустынным просекам мимо дач и заборов, оглушаемый тренъканьем синичек.



Мир непонятным образом преобразился. Теперь становилось очевидным, что все той же любовью Бога создан этот сладкий мартовский воздух, эти перепархивающие с сосны на сосну пичуги, мое как бы само по себе бьющееся сердце, мозг со всеми продолжающими оставаться там планетами.

Приустанов, я вернулся к Дому творчества. Не хотелось идти завтракать в столовую. Не хотелось никого видеть.

На каменной балюстрадке перед входом у круглого столика стояли три пустых соломенных кресла. Я опустился на одно из них. Почувствовал теплую ласку солнца на лбу, словно дотронулась материнская ладонь. Я закрыл глаза.

—Извините, не помешаю?

Человек, которого я раньше здесь не видел, невысокий, почти маленький, в демисезонном пальто, с непокрытой благородно поседевшей головой, сел напротив меня, счел нужным поделиться:

—Сейчас со своей дачи придет Борис Леонидович Пастернак, и мы вместе поедем в Москву на электричке.

Я почтительно кивнул. В другое время весть о предполагаемом появлении любимого поэта меня бы взволновала.

...«Энергия, которая держит и кружит планеты, должна же откуда-то подпитываться. Вечно. От какого-то сверхмощного источника,—я старался мыслить логически.—Иначе инерция первого толчка давным-давно должна бы угаснуть, сойти на нет... А если тот, кто это все создал, перестанет заботиться, разлюбит, все полетит в тартарары?»

—Извините, с вами что-то случилось? У вас трагическое лицо.

—Так. Доморощенные мысли...

—Вы прозаик, поэт?

—Пишу стихи.





При всей назойливости человечек был славный, открытый. И поэтому я с удовольствием пожал протянутую через стол маленькую горячую руку. Удивился, услышав:

—Меня зовут Генрих Густавович Нейгауз. Бываете в консерватории?

—Признаться, редко. Я люблю музыку. Но мешают слушать ужимки музыкантов, их гримасы, когда они насилиуют свои инструменты... Дирижер, как сумасшедший, размахивает своей палочкой, позирует... У меня есть пластинки с вашим исполнением.

—И на том спасибо,—улыбнулся Нейгауз.—Стихи пишете для славы?

—Не знаю. Не могу не писать.

—Именно! Видите ли, молодой человек, недавно выпустил книгу «Искусство фортепианной игры». Сожалею, нет с собой экземпляра. С удовольствием подарил бы. Там есть одно выражение, счастливо пришедшее в голову,—«бескорыстное музенирование». Если с любовью занимаешься музыкой, вообще искусством, для себя, бескорыстно,—так же интимно, с любовью оно будет восприниматься слушателем, читателем.

—Как любовь Бога,—планеты продолжали вращаться в моем мозгу.

—Именно, именно!—Он вскочил и побежал со ступенек балюстрады навстречу своему другу. Пастернак был в кепке, бежевом плаще, застегнутом до горла.





Мальчик

Справа бесшумно открывались и закрывались автоматические стеклянные двери, слева тянулись стойки для регистрации пассажиров и сдачи багажа.

Передо мной, пятый час сидевшим в одном из кресел посреди зала отлетов, виднелось начало какого-то темноватого коридора, ведущего, вероятно, в служебные помещения.

Моя доверху нагруженная чемоданами и дорожными сумками тележка возвышалась рядом. Принадлежащий мне рюкзачок лежал на самом верху.

Зал отлетов аэропорта испанского города Аликанте был подобен морю, подверженному действию приливов и отливов. То говорливой волной его наполняли прибывшие на автобусах пассажиры какого-нибудь рейса. Они регистрировались и улетали. Некоторое время зал оставался пуст. И снова заполнялся калейдоскопом возбужденных предстоящим полетом людей.

Тележка с багажом, словно якорь, прочно держала на месте. От этих приливов и отливов у меня рябило в глазах.

...А за стенами аэропорта простирался город, название которого — Аликанте — известно мне с детства, с того времени, когда я носил красную пилотку с кисточкой, как испанские республиканцы, вслушивался с папой в доносящиеся из нашего радиоприемника «Си-235» тревожные сообщения о ходе гражданской войны в Испании.

Аликанте был рядом и недоступен.

Есть не хотелось. Но я вытащил из кармана круглую пачку, вынул оттуда бисквит с кисловатым джемом, поднял стоящую





у ног бутылку кока-колы, запил из горлышка. Глупо было так вот периодически перекусывать, хоть как-то разнообразить свое великое сидение у тележки, ибо каждый раз неминуемо возникало желание покурить. А здесь это было запрещено.

Поставил бутылку на пол. Взглянул на часы. До возвращения двух моих спутниц, до начала регистрации вечернего рейса Аликанте—Москва оставалось еще два с половиной часа. ...Утром мы вместе прибыли сюда на арендованной ими машине из Хавии—курортного городка, расположенного между Аликанте и Валенсией, где я месяц дописывал роман и плавал в Средиземном море. Они любезно прихватили меня в свой «Опель», и, когда мы, сдав машину и погрузив багаж на тележку, вошли в здание аэропорта, чтобы поскорей избавиться от тяжелой клади и на весь день отправиться в путешествие по городу, выяснилось—здесь нет камеры хранения.

И мне ничего не оставалось, как отпустить своих попутчиц шастать по улицам и площадям Аликанте, по магазинам. Тем более, у них оставалась валюта. А я на последние деньги купил себе пачку бисквитов, кока-колу и остался стеречь багаж.

Те, кто вылетел в начале моего пребывания в одном из кресел посреди зала, давно уже были у себя дома—в Париже, Стокгольме, Лондоне, не говоря уже о Мадриде.

К аэропорту периодически подкатывали все новые и новые автобусы. И опять бесшумно раскрывались стеклянные двери, новая волна людей заполняла зал.

Они выстраивались в очередь к стойкам регистрации—отдохнувшие, загорелые, с детьми, собачками, куклами в национальных костюмах, кружевными зонтиками.

Это была наглядная демонстрация благополучия. Вряд ли кто из этих людей покусился бы на мой багаж, тем более что зал иногда пересекали двое полицейских. И я злился на себя, добровольно избравшего роль сторожевой собаки.



Порой из глубины темноватого коридора возникала фигура какой-то на редкость безликой женщины. С безразличным видом она обходила зал, как бы невзначай осматривала углы, урны, поглядывала на меня, мою тележку и вновь исчезала в таинственном коридоре. Нетрудно было догадаться, что она — агент секретной службы.

То вытягивая ноги и откидывая назад на спинку кресла затекшее тело, то подбираясь при очередном приливе пассажиров, слушая объявления по радио на английском и испанском языке о начале регистрации на очередной рейс, я старался поддаться своеобразному очарованию благодушной, почти праздничной атмосферы.

Впервые объявили о задержке рейса в Женеву. Несколько суетливая дама подвела и усадила в стоящее рядом со мной свободное кресло старушку в милых кудряшках. При ней была палка, которая грохнулась на пол, как только компаньонка старушки убежала в сторону касс.

Я поднял палку, подал владелице.

— Мерси, мсье! — она улыбнулась, достала из кармана кофточки круглую коробочку, сняла крышку и предложила мне взять карамельку.

Я отказался и в свою очередь предложил ей угоститься бисквитом из наполовину опорожненной пачки.

Она взяла. Как ни странно, при моем ничтожном знании французского, мы разговорились.

Я испытывал удовольствие уже оттого, что заговорил после многочасового молчания. С еще большим удовольствием я отправился искать туалет, попросив доброжелательную собеседницу приглядеть за моим багажом.

...Перед тем как выйти из туалета, подошел к умывальнику вымыть руки, и тут за спиной раздался голос:

— Сеньор...





Обернулся. Возле кафельной стены на корточках сидел мальчик лет семи. В драном свитерке, шортах. С накрашенными губами!

Он сделал пальцами неприличный жест, развернулся ко мне спиной и приподнял попку.

Я вылетел в зал. Издали увидел — старушка успокоительно махнула мне ладонью. Доставая на ходу сигарету из пачки, чуть не ткнулся лицом в стеклянные двери. Они разошлись передо мной.

С дымящейся сигаретой в зубах стоял перед красноватым, угасающим солнцем Испании, лихорадочно думал: «Как я его не заметил при входе в туалет? Вообще, откуда он взялся? Худой, тени под глазами...»

Швырнул сигарету в урну, вернулся в зал как раз в ту минуту, когда компаньонка поднимала старушку из кресла. Она опять помахала мне, улыбнулась на прощание, тряхнув своими кудряшками.

Я не знал, что мне делать. Отнести мальчику остаток бисквитов? Но я боялся его, как, видимо, будут бояться земляне существ с другой планеты...

Пошел в глубину коридора навстречу тайной агентше. Остановил. Как мог, по-английски, по-немецки, по-французски втолковывал: нужно немедленно спасти ребенка.

— Мы знаем, — она пренебрежительно улыбнулась. — Марокко. Эмиграция.

Двинулась в зал.

Я ринулся за ней, побежал. И увидел, как к тележке с багажом торопливо приближаются мои вернувшиеся из города попутчицы.

По радио объявляли о регистрации на рейс Аликанте — Москва.





Джим

Там, дома, из окна его берлоги на одиннадцатом этаже видна была статуя Свободы. С течением лет она все меньше нравилась ему, и он думал, что было бы лучше, если бы скульптор вместо этой истуканши с невыразительным лицом и факелом в руке взял за образец мятежную девушки из картины Делакруа «Свобода на баррикадах».

Здесь же, в Москве, кроме густой кроны дерева, смутно освещенного отблеском дворового фонаря, ничего не было видно. Моросил ночной дождичек. Такой московский, как в детстве.

Бородатый человек с завязанной узелком жидкой косичкой на затылке оторвал локти от мокрых перил лоджии, со столом разогнулся и повлек себя в комнату. Покряхтывая, придерживаясь то за шкаф, то за кресло, добрался до постели. —Нужно хотя бы снять ботинки,—сказал он вслух.—Для приличия. То ли трещина в ребре, то ли сломано. И что-то с шеей. И затылок саднит... «Скорая» ко мне не приедет, до завтрашнего вечера никто не придет...

Ботинки он все-таки снял, в три приема. Уложил себя поверх покрывала. Закрыл глаза. И увидел дерево, каким оно бывает днем: с поблескивающей среди желтеющих листьев леской, застрявшими в ветвях пластиковыми пакетами, тряпкой и чьими-то трусами—всем тем, что с верхних этажейбросили жильцы или сдул ветер. Десятый день гостил он в этой квартире уехавшего вчера в командировку друга и все больше проникался сочувствием к несчастному дереву.





Лежал на спине, чувствовал, как кружится голова.
...Два часа назад здоровенный метрдотель с официантом выбросили его из опустевшего к полуночи зала ресторана. Ресторан находился на втором этаже.

Пьяный, он катился вниз по ступеням, пытался хоть за что-нибудь ухватиться. Было смешно и больно.

Двое полузабытых, еще школьных приятелей пригласили его, заезжего американца, поужинать, ушли, уплатив за еду и выпивку; а он ни за что не хотел уходить, остался, слушая тихую джазовую музыку, как привык это делать в Нью-Йорке после смерти жены. В Нью-Йорке можно было сидеть хоть всю ночь.

Чтобы не так кружилась голова, он открыл глаза.

Колеблемая дождем тень дерева чуть шевелилась на потолке.
«Еще хорошо, что не было с собой бумажника с паспортом, обратным билетом и остатками долларов», — с запоздалой тревогой подумал он, вспомнив, как таксист сначала не впускал его в машину — пьяного, покрытого кровоподтеками, а потом, когда он, обнаружив в кармане пиджака русскую сотенную, сунутую на прощание приятелями, продемонстрировал ее водителю, тот соблазнился. Тем более, ехать было недалеко. — Сукин сын! Не побрезговал вытащить авторучку, шарил в карманах, — пробормотал он. Попытался повернуться со спины на бок, чтобы не видеть шевелящейся по потолку тени, отчего еще больше кружилась голова, и застонал.

Дуло. Он досадовал на себя, что оставил дверь лоджии открытой. С другой стороны, порывы холодного воздуха вроде бы выветривали муть из головы.

Перед тем как совсем заснуть, он вспомнил, что в застегнутом на пуговицу заднем кармане брюк у него есть заначка — несколько десятков рублей, которых должно хватить на водку, чтобы опохмелиться утром.





Вот так же, порой не раздеваясь, чувствуя, что опускается, засыпал он на диване в своей нью-йоркской комнатке-студии с газовой плитой и холодильником в углу.

Через год после смерти жены он совершил открытие: оказалось, в Нью-Йорке есть ночной рыбный рынок, куда на сейнерах и мотоботах подходят рыбаки, чтобы выгрузить свежий улов и продать его оптовикам.

Там, в лучах прожекторов, среди грохота лебедок, шума подъезжающих рефрижераторов всю ночь работает двухэтажный стеклянный бар, откуда можно видеть выгрузку со сверкающих сигнальными огнями судов. Трепещущие груды лососей, семги, осьминогов, омаров, лангустов... Сделки заключаются тут же на пирсе или же в баре, где договоренность можно увенчать стопкой другой виски.

Вот сюда ежемесячно в день выплаты пособия этот человек, постаннывающий сейчас во сне, привык являться под вечер со складной тележкой на колесиках.

Наедине с рюмкой того же виски или рома одиноко сидел за столиком бара, освещаемый всполохами огней, слушая тихую музыку джаза...

Ближе к рассвету, пошатываясь, спускался из бара, покупал лосося или семгу, приторачивал длинную рыбину к своей тележке и пускался в путь к дому, похожий на путешествие.

Этой рыбы, разрезанной на куски и замороженной в холодильнике, хватало надолго. Тем более, ел он мало.

Так постепенно сэкономились деньги на поездку в Москву, в которой он не был восемнадцать лет. Устроил сам себе подарок к шестидесятилетию.

...Кто-то кричал. Хрипло орал, казалось, над самым ухом.

Спросонья он рванулся встать с постели и чуть не взвыл от боли с правой стороны груди. Все же сел. Снова услышал не-





внятный крик со стороны лоджии. За окном сияло сентябрьское солнце. Дождь кончился.

Добравшись до открытой двери и выйдя в лоджию, он сразу увидел среди ветвей ворону, повисшую вниз головой и беспомощно хлопающую крыльями, запутавшись лапками в прядях поблескивающей сквозь листву лески.

Он, кряхтя от боли, перегнулся через перила, протянул руки к дереву, но смог ухватить только несколько мокрых листиков на конце ближней ветки. Дерево росло метрах в четырех от дома. Перелезть на него из лоджии было невозможно.

Ворона снова забилась в путах, отчаянно закаркала.

—Не ори,—сказал он.—Освобожу.

Но чем дольше он обследовал квартиру друга, тем в большее замешательство приходил—ничего полезного не находилось. В идеале нужна была длинная прочная палка с крючком на конце, чтобы пригнуть поближе ту часть ветвей, где находилась ворона. Но откуда подобному орудию найтись здесь? Такие палки-багры бывают разве что у пожарников.

Он почувствовал, что приходит в отчаяние.

Нашел в кладовке телескопическое удлинище, раздвинул его, безнадежно потыкал хлипким концом в ветвь, с которой свисала ворона. Она уже не вскрикивала, только вертела головой с мощным клювом.

Он решил все-таки вызвать пожарную команду, но, уже подойдя к телефону, сообразил, что дело может кончиться скандалом, штрафом за ложную тревогу.

Ничего не оставалось, кроме как срочно идти вниз, искать домоуправление, чтобы попросить какого-нибудь умельца влезть на дерево и освободить подозрительно умоляющую птицу.

Он сравнительно легко влез в ботинки. С незавязанным шнурком на одном из них спустился лифтом с третьего этажа, вышел из подъезда и испытал прилив неподдельного счастья,





сразу наткнувшись на рослого малого в оранжевой безрукавке, подметавшего палую листву, кинулся к нему, показал на дерево, на ворону.

— Я-то тут при чем? — отшатнулся дворник. — Нужна лестница, ножовка. Без пол-литра не разберешься.

— Будет, будет тебе на пол-литра!

— Тогда другое дело. Давай деньги. Эк ее угораздило! Чего это у вас руки дрожат? — спросил он, получая заначку. — Идите домой, не беспокойтесь. Сейчас сделаю.

И действительно, с лоджии было видно, как он появился с длинной лестницей, приставил ее к стволу дерева, долез с ножовкой до первой разветвики, подтянулся руками, и принялся отпиливать ветку с вороной. Птица забеспокоилась, неуклюже взмахнула крылом. Из листвы показалась рука дворника. Он подтянул к себе полуотпиленную ветку и принялся вынутым из кармана ножом обрубать леску.

Ворона неуклюже выпорхнула из-под кроны, кренясь, полетела прочь. Опустилась на мокрую, еще сочную траву газона. — Эй! — дворник, мелькая оранжевой безрукавкой, стал спускаться сквозь листву и ветви к лестнице. — Чего-то я вас не знаю. Вы кто будете?

— Джим, — раздалось сверху, с лоджии третьего этажа. — Женя.





«Лимончик»

Казис Науседа, коренастый лесничий с окладистой бородой, молил Бога о том, чтобы эти пришельцы из Аргентины исчезли отсюда, испарились.

До их появления по соседству, в бывшем доме мельника у разрушенной плотины, в тот самый год, когда Лайма родила сыночка Кистукиса, он и горя не знал. Берег лес, охотился. Кроме Лаймы, Кистукиса и нескольких лесников в округе никого не было.

Зажиточного мельника с семьей русские сослали в Сибирь сразу после войны с немцами. За долгие годы дом, амбар — все пришло в запустение, разрушилось, поросло мхом. Иногда Казис вместе с Лаймой приходил сюда половить рыбу, сидя на оставшейся части плотины.

За старыми ветлами на трассе, ведущей в Вильнюс, грохотал автотранспорт, но эти звуки не могли заглушить журчания речки, всплесков голавлей, охотившихся за мошкой.

Пришельцы из Аргентины, отец и двое его взрослых сыновей, объявились внезапно. За одно лишь лето восстановили дом, все постройки, поставили высокую изгородь. А между трассой и домом открыли в бывшем амбаре автомастерскую со смотровой ямой и подъемником.

Всякий раз, выезжая на своем «Запорожце» из лесной чащобы, где находилась центральная усадьба лесничества и где он жил, Казис наблюдал эту энергичную семью, вечно занятую делом. Все они были высоченные, в одинаковых синих





комбинезонах с блестящими пряжками, все усатые. Только у сыновей усы золотистые, цвета спелой пшеницы, а у отца — седые.

Это был край нелюдимых людей, хоторян. Прошло не меньше полутора лет, прежде чем глава семьи пришел просить разрешения на порубку леса. Рано или поздно это должно было произойти. Отапливались-то они дровами.

Стоя наверху, у порога своей рабочей комнаты на втором этаже огромного бревенчатого дома, построенного каким-то прусским бароном еще в девятнадцатом веке, Казис не без тайного удовольствия наблюдал за тем, как впущенный Лаймой проситель грузно восходит к нему по скрипучей лестнице, с изумлением поглядывает на чучела — головы кабана, лося, медведя, рыси, словно растущие из стены.

Разрешение он выписал. Крикнул Лайме, чтобы принесла снизу бутылку брусничной настойки, грибков на закуску.

Громадный, еще не старый глава приезжей семьи оказался украинцем Опанасом Павлычко. Еще во время Второй мировой войны сложными путями попал в Аргентину, в Буэнос-Айрес. Женился на латиноамериканке, забивал коров и быков на скотобойне. И вот жена, ярая католичка, умерла, оставив ему двух парней — старшего Пауля и младшего Жакуса. Почему в восьмидесятом году они решили вернуться на родину, на Украину, Опанас Павлычко не рассказал. Зато после третьей рюмки брусничной рассказал о том, как за неделю до отплытия парохода дал своим парням денег с разрешением обойти лучшие публичные дома Буэнос-Айреса.

Пароход прибыл в Одессу.

Чем только они не занимались на Украине! И на скотобойнях работали, и на стройках, и машины научились чинить. Мыкались по наемным квартирам. Нужно было где-то прочно осесть.





Случайный человек — матрос с литовского судна — рассказал, что у него на родине полно брошенных домов, целых хуторов.

Сразу, как приехали и нашли этот дом мельника, Пауль поступил учиться на медицинский факультет, ездит автобусом в Вильнюс, а отец и младший сын чинят машины, поскольку Жакус учиться не желает.

Теперь Казис Науседа обрел ясность. Все стало понятным. Они расстались, довольные друг другом.

Шли годы. Новые соседи были не назойливы, просьбами не обременяли. Наоборот, Казису порой приходилось прибегать к их помощи, когда с его горбатым, первого выпуска «Запорожцем» что-нибудь приключалось.

Опанас и Жакус тотчас отставляли другую работу, чинили то двигатель, то коробку передач. Лишних денег не брали.

Однажды Казису бросилось в глаза, что лицо Жакуса сверху вниз исчерчено шрамами, покрытыми коростой.

Он тогда не спросил, в чем дело. Однако при первой же поездке в Вильнюс, в лесное ведомство, узнал о нашумевшей драке из-за какой-то красотки в одном из центральных кафе.

Он был красавцем, этот Жакус, сказалась латиноамериканская кровь.

Старшему, Паулю, окончившему медицинский факультет с отличием и быстро ставшему известным в городе врачом-реаниматором, часто приходилось перед возвращением домой из Вильнюса разыскивать младшего в злачных местах, спасать от бандитов, вызволять из милиции.

Отец и сын много зарабатывали на починке машин. И если бы деньги не жгли Жакусу руки, они бы давно обзавелись собственным автомобилем. Уже невмоготу было зависеть от рейсового пригородного автобуса, который и ходил-то нерегулярно.





Казис Науседа тоже копил деньги на новые «Жигули».

Дряхлый «Запорожец» еще служил кое-как. Еще можно было таращить на нем по лесным просекам, останавливаться на их перекрестьях, выходить с Лаймой и Кистукисом, набирать полные корзины грибов, перемещаться на машине к следующему квадрату заповедного лесного царства. Можно было в субботу или воскресенье потихоньку съездить на озеро в Тракай. Но рискнуть добраться до Вильнюса становилось опасным да и зazorным. Уж больно непригляден становился железный конек. Останавливали автоинспекторы, требовали отметку о техосмотре.

Шло время. Однажды зимой, как всегда некстати, сел аккумулятор. Только-только Казис получил по рации сообщение от одного из своих лесников, что на рассвете какие-то порубщики свалили в глухомани несколько дубов, трактором волокут их из леса. Чертыхаясь, с ружьем за плечами пытался завести машину. Потом снял аккумулятор, погрузил на санки, попросил Лайму вместе с Кистукисом съездить в мастерскую. А сам встал на лыжи, ринулся вглубь леса.

Порубщиков он задержал. Наложил штраф.

К вечеру, когда Казис Науседа возвращался, мороз усилился. Потрескивали деревья по сторонам просек, поскрипывал под лыжами снег. Хотелось ужина с горячим чаем, хотелось завалиться с Кистукисом на диван, рассказать сыночку какую-нибудь историю, а после того как Лайма отведет его спать, включить «Спидолу», послушать сквозь глушилку «Би-би-си» или «Голос Америки». Его интересовало, что думает Запад о появившемся в Москве Горбачеве.

Ни жены, ни сына дома не оказалось. Бывшая усадьба мельника находилась в полутора километрах. Забеспокоившийся Казис Науседа снова встал на лыжи, пошел было встречать их под звездами.





Бежал по лыжне. Издали увидел — идут, тащат санки с аккумулятором.

— Что там так долго делала?! — накинулся он на раскрасневшуюся от мороза Лайму.

— Мы ждали, пока зарядится аккумулятор,

Она смутно улыбалась, чего-то не договаривала.

С этой минуты ревность жалом впилась в сердце Казиса. Шрамы сделали лицо Жакуса еще более красивым, мужественным. За последнее время парень вроде бы перебесился, слухи о его скандальных приключениях в Вильнюсе утихли. Чинил и чинил машины. И вот на тебе! Лайма молода, красива. Все это можно было предвидеть. Целыми днями одна с ребенком...

Казис без лишних слов потряс перед лицом жены кулаком, запретил общаться с бывшими латиноамериканцами. Но сердце его было неспокойно. Приходилось на день, а то и на два уходить по работе вглубь лесов, ездить на совещания в Вильнюс.

Весной при очередной поломке «Запорожца» он отдал машину Опанасу и Жакусу. Просто так, бесплатно. Лишь бы не было повода видеть их рожи. Тем более, подошла очередь — купил «Жигули».

В начале апреля Лайма, которая никогда раньше ничего особенного для себя не просила, вдруг пристала с уговорами поехать на католическую пасху в Вильнюс, в костел Петра и Павла.

Казис удивился. Лайма и он были крещенными с детства, как и большинство прибалтов. Не более того. Никаких там посещений церкви, молитв и прочих ритуалов.

Но тут подворачивался случай с ветерком прокатиться на новенькой машине в самый центр столицы.

В соборе среди празднично приодетых прихожан возвышались Жакус и Пауль.



Они молились вместе со всеми.

Когда после причастия выходили на площадь, маленький Кистукас, как назло, подбежал к ним, поздоровался. Жакус погладил его по голове.

Пришлось посадить братьев в «Жигули», по-соседски довезти до их дома.

В пути из разговора Лаймы с братьями Казис Науседа узнал, что Пауль получил квартиру в Вильнюсе, понял, что жена не только нарушила запрет, ходит к ним с Кистукасом или даже одна; она берет у них какие-то книги.

—Что за книги?—спросил он дома.

Вот с этой самой минуты и начал Казис молить Бога, чтобы эти пришельцы исчезли, испарились.

Что произошло с Жакусом? Отчего он так резко изменился? Это навсегда осталось тайной. Пауль отпустил к усам еще и бородку, надел очки—интеллектуал. От него всего можно было ожидать, но Жакус, этот покрытый шрамами кот, бабник, чего он хочет от Лаймы, от него, Казиса, от Кистукаса? Дарит ребенку католические книжечки с бреднями об Иисусе, деве Марии. Морочит Лайме голову.

Что, он, Казис Науседа, не христианин? Кажется, никогда никого не обидел.

Жалкими были вырвавшиеся у Лаймы слова о том, что она будто спала до сих пор, а теперь проснулась.

—Ну тебя к черту!—в сердцах заорал Казис.—Ты сошла с ума!

«Уж лучше бы изменияла!»—подумал он однажды. Он всерьез забеспокоился, как бы не пришлось везти жену в психиатрическую больницу.

Как-то летом, возвращаясь на машине из города, свернул с шоссе, увидел у автомастерской обоих братьев с отцом все в тех же синих, ободранных и запятнанных комбинезонах.





Остановился. Решил поговорить с Паулем — наиболее разумным, как ему казалось, членом семьи.

Вышел. Мельком обратил внимание на то, что они колдуют над его развалюхой «Запорожцем», лишившимся краски. Отвел Пауля в сторону.

Выслушав угрюмую речь Казиса, Пауль только и сказал:

— Ты хороший человек. Но ты еще не родился.

— Как это?

— Слушай свою жену.

По сравнению с ним Пауль и тем более Жакус были сопляки. Ему шел уже сорок шестой год. Как это — не родился?

Но ведь не дураки же они были, эти трое Павлычко.

Не дураки. Все свободное от других работ время возились с его «Запорожцем». Приварили новое днище из толстого листа нержавеющей стали, заменили коробку передач, перебрали двигатель.

Изредка проезжая мимо автомастерской, с ревностью видел, как Опанас и Жакус меняют электропроводку, подкатывают к колесам новые шины; как по субботам и воскресным дням к ним присоединяется Пауль.

Осенью, в один из последних теплых дней заново окрашенный из краскопульта в редкий лимонный цвет, отлакированный «Запорожец» высыхал на ветерке и солнышке у входа в мастерскую.

— Лимончик! — сказал Кистукас.

А Казис Науседа почувствовал себя обокраденным.

...Бог внял его молитвам.

В первые годы после перестройки, когда распался Советский Союз и Литва стала независимым государством, семья Павлычко остро почувствовала, что здесь ненавидят чужаков. Повсюду открывались частные американализированные автомастерские. Новоиспеченный богач из Каунаса купил все





их хозяйство с намерением открыть придорожный ресторан «У плотины».

Без лишних слов оставили возрожденный «лимончик» у входа в лесничество. Позднее Лайма получила права. Стала возить Кистукаса в воскресную школу при костеле.

Павлычко уехали куда-то в Среднюю Азию. Кажется, в Ташкент. С тех пор в душе Казиса Науседы образовалась пустота.





Ну и комики!

Шторм налетел ночью со стороны Турции.
К рассвету пассажирский лайнер вынужден был прервать
рейс, ошвартовавшись у причала в ближайшем российском
порту под прикрытием волнорезов.

Спали на судне измученные качкой пассажиры.

Я спустился по трапу на пирс.

Город тоже спал в лучах поднимающегося солнца, словно
убаюканный грохотом зеркально отсвечивающих волн, рас-
шибающихся о парапет набережной.

Она была пуста. Если не считать единственного человека,
передвигавшегося по противоположной ее стороне от витри-
ны к витрине.

Я тоже перешел на ту сторону в надежде найти какое-ни-
будь открывшееся кафе.

Мотались под ветром веера кургузых пальм. Моталась чер-
ная, давно не стриженная грива волос двигавшейся навстречу
нелепой фигуры. Это был высокий старик в распахнутой чер-
ной шинели, и в валенках.

Поравнявшись со мной, он ткнул рукой в витрину магази-
на, пробормотал:

—Гляди!

Но, прежде чем повернуться к витрине, я увидел при-
винченный к шинели облупившийся орден Красного Зна-
мени.

Это оказался магазин «Коллекционные вина», где под боль-
шими фотографиями всемирно известных супермоделей





были напоказ выставлены шикарные коробки с вином. Самое дешевое стоило сто долларов.

Что-то бормоча, старик двинулся в обратный путь. И меня повлекло вслед за ним, как за Рип ван Винклем—человеком, проспавшим невесть где сто лет... Мы прошли мимо открывшегося, несмотря на рань, казино, у распахнутой двери которого истуканом высился швейцар в ливрее и красном цилиндре; мимо входа в салон со скромным объявлением «Массаж для мужчин и женщин и прочие услуги»; мимо зеркальных окон и золоченых ручек дверей «Российского банка» с выступающим из стены банкоматом; мимо большого ресторана—за его стеклами официанты в белых куртках и галстуках-бабочках накрывали столы.

Старик все время что-то бормотал, какую-то одну и ту же фразу.

Возле музыкального магазина «Хит-парад» он остановился, взирая на выставленные за стеклом фотографии эстрадных монстров—певцов с длинными, как у женщин, волосами, косицами, певиц, наоборот, коротко остриженных или даже с выбритым черепом, зато почти голых.

— Ну и комики!..—пробормотал старик.

— Извините, откуда вы?—не выдержал я.—Где вы живете?

Он неприязненно глянул на меня.

— Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится. На Алтае. В богадельне. Слинял помереть на воле...

В его могучей гриве не было ни одного седого волоса.

— Ну и комики!—повторил он, уходя в никуда.





Вано

Китаяночка была, как ей и положено, раскосая. Он старался не показывать ее знакомым. Коротышку, стесняющуюся своей некрасоты, малообразованности, непохожести на обитающих в России людей.

За полгода он не смог привыкнуть к ее длинному трехсложному имени. Называл по первому слогу — Ли, Лиля.

Она уже два часа как ушла в районную поликлинику, где работала в регистратуре, а Вано только проснулся.

Хотя оконце было маленькое, весенний солнечный свет беспощадно озарял убожество комнатушки. Повсюду свисали лохмы выгоревших обоев, за которыми отчетливо виднелись почерневшие от времени бревна старого, видимо, еще дореволюционного дома, полуразвалившийся стенной шкаф, оставленный за ненадобностью прежними хозяевами, две табуретки и столик с тарелкой, накрытой надраенной до ослепительного блеска никелированной крышкой.

Из-за стены и из коридора не доносилось ни звука. Соседи по коммуналке тоже давно ушли на работу. А полупарализованный старик-пьяница из комнаты против уборной наверняка еще дрых.

Вано пора было подниматься, чтобы успеть до возвращения с работы Лили осуществить свой план. Но он продолжал лежать, закинув руки за голову. В который раз вспомнился родительский дом посреди шелковиц и грушевых деревьев, собственная комната, набитая книгами и грампластинками, проигрыватель, охотничья двустволка на стене. Вот так же





в родительском доме, когда лили зимние дожди, он мог без конца валяться, слушать томительную итальянскую песню с заезженной пластинки: «Кози, кози, белла кози аль ди дольче мадонна...» Не хотелось ни идти на работу в колхоз, ни помогать матери по хозяйству—задавать корм курам, индюшкам. В такие вот мартовские дни сад и все село полны пением птиц, на склонах окрестных гор доцветают кусты мимоз, а через колхозное поле, на берегу Черного моря ждут курортников и курортниц дом отдыха, танцплощадка...

«Лилька, детдомовка, никогда не видела моря,—подумал он, отбрасывая со своего худого, жилистого тела лоскутное одеяло и вскакивая с низкого топчана на деревянных ножках.— Все-таки из-за нее стал москвичом, получил прописку! Хотела затащить в церковь венчаться. Когда-нибудь заработаю денег, повезу, покажу Лильке море, Сухум. Хотя родители и Хутка не примут ее, скажут: «На ком женился? Страшнее не мог найти? Да еще китаянка!»

«Я еще им всем докажу!—думал он, умываясь до пояса на кухне над пожелтевшим рукомойником с отбитым краем.— Поступлю в институт, окончу, стану не хуже Хутки. Перестанет издеваться при всех: «Мой брат-близнец—мой черновик: первым родился, и такой урод!»

Хутка был признанный красавец, удачник. Появился на свет всего через несколько минут после него—и такая разница! Ухитрился увернуться от армии, купил диплом об окончании московского пединститута, устроился работать в республиканский журнал, получил двухкомнатную квартиру в городе, женился на одной из самых красивых девушек—дочке заместителя председателя горисполкома. По субботам приезжает с женой и годовалым Зуриком в село на отнятом у отца «Запорожце».

Отец, инвалид войны, без обеих ног, едва получив машину в собесе, вынужден был отдать ее Хутке. «Кто был на фрон-





те, в конце концов?!» — не выдержал обычно покладистый отец. За Хутку вступилась мать: «У них маленький ребенок, не на чем ездить к нам за продуктами, не душиться же в автобусе...»

Лиля не раз говорила Вано, что он не должен ненавидеть брата. Но и теперь, поедая еще хранивший отголосок тепла омлет, Вано испытывал все то же чувство обиды на судьбу.

Почему все-таки Хутка красив, а он, Вано — с горбатым носом на длинном лице — некрасив, всегда неудачлив?

Он подошел к висящему на двери шкафа зеркалу, посмотрел на себя. Незадолго до армии, семнадцать лет, попытался ухаживать за женщиной из дома отдыха, вдвое старше себя. Сорвал с клумбы у танцплощадки самый красивый цветок, прежде чем поднести ей, понюхал и тотчас был ужален в этот самый нос вылетевшей оттуда пчелой.

Нос распух, как картошка. На беду Хутико оказался дома, да еще с друзьями, распивавшими на террасе «Изабеллу». То-то было смеха!

Вано вымыл на кухне тарелку. Хотел вскипятить воду для чая, но шел уже одиннадцатый час. Нужно было успеть сделать задуманное.

Он слегка отодвинул от стены Лилин кухонный столик, вытащил припрятанные за ним рулоны обоев, которые, отстояв очередь, купил неделю назад на Комсомольском проспекте. Лиля не знала, что он купил их на деньги, вырученные за собранные в феврале у помоек и мусорных урн бутылки.

Сначала следовало ободрать старые обои в мерзких следах от раздавленных клопов.

Вот так же сдирал он трусики с купающихся в море девиц. Парни-односельчане каждую зиму ждали начала курортного сезона, когда можно будет приступить к этому опасному спорту — насиливать пловчих прямо в воде. Пловчихи, как прави-



ло, почему-то не кричали, не звали на помощь. Может быть, боялись, что их утопят.

Дело это не доставляло никакого удовольствия. От соленой воды щипало. В ней, как сопли, всплывала сперма... Зато потом на берегу можно было хвастаться своими победами.

Конечно, Вано не рассказывал Лиле о том, как после случая с пчелой стал проводить время на пляже среди таких же загорелых ровесников, выглядывая на мелководье очередную жертву.

Теперь ему было двадцать четыре года, он стал взрослым, семейным человеком, собирающимся делать ремонт в собственной комнате; срывающим лохмотья обоев, как прошлое.

Иногда кажется, чтобы отделаться от прошлого, чтобы стало легче на душе, нужно рассказать близкому человеку хотя бы часть своих злоключений. Двумя из них он с Лилей все-таки поделился.

В то лето, в тот бархатный сезон перед осенним призывом в армию Вано, валяясь на том же пляже, однажды разговорился с тучной отдыхающей из Алма-Аты. От нечего делать примерил ее лежащие на полотенце черные противосолнечные очки. И ушел в них. «Так, сама того не подозревая, началась моя воровская жизнь», — рассказывал он Лиле. — Крал по мелочам. То пачку сигарет и зажигалку из кармана оставленных купальщиком брюк. То тюбик крема от загара. Хотя зачем мне нужен был этот крем?»

Красть почему-то было приятно, но Вано знал, что все эти летние забавы, обычные для многих местных парней, плохо кончаются, и в глубине души был рад тому, что призыв спас его.

На проводах Хутка, остающийся дома, любимец отца и матери, подарил ему авторучку: «Пиши домой хоть раз в месяц. И не лезь на рожон, идиот!»





Вано попал в десантные войска, в учебку под Смоленском. Через полгода он уже бегал в белом маскахалате на лыжах, стрелял из автомата.

Не было в его роте никакой дедовщины. Из дома регулярно приходили картонные ящики-посылки с вяленым мясом, медом, зимними грушами, гранатами, грецкими орехами. Население казармы с удовольствием поглощало плоды абхазской земли. Содержимое посылки исчезало за день.

Все было бы ничего, если бы не заставляли прыгать с парашютом.

Каждый раз командиру отделения приходилось кулаками выталкивать его из самолета. Каждый раз Вано был уверен, что разобьется...

До сих пор помнит он свист холодного ветра, когда обмороочно падал в пустоте неба... В последний момент вспоминал о том, что нужно дернуть за кольцо. И в ту минуту, когда его вздергивали за лямки и парашют раскрывался, странным образом вспоминалась итальянская песенка: «Кози, кози белла кози аль ди дольче мадонна...»—раздавалось между небом и землей. Вано не понимал, о чем поет. Ему казалось, что это молитва.

...Деревянные половицы были усеяны отодранными обоями. Оставался лишь прямоугольный кусок над самой дверью. Прежде чем переставить табуретку, оторвать и его, Вано снова сходил на кухню, принес в комнату хозяйственное ведро с теплой водой, чтобы развести клейстер.

Отдыхал, сидя на табуретке, и за неимением лучшего, размешивал клейстер ручкой веника. Еще предстояло решить, чем намазывать этот клей на новые обои, не зубной же щеткой.

...Вано рассказал Лиле и о том, как зимой на втором году службы стал участником массового сброса парашютистов





на территорию условного противника. Накануне один сержант поведал ему, будто во время подобных маневров определенный процент солдат гибнет; будто в секретных документах этот процент уже заложен...

Когда наступил решающий момент, руки Вано мертвой хваткой вцепились в стойки у раскрытой двери, откуда хлестал ледяной ветер бездны. Остальные самолеты, сбросив живой груз, исчезли, а этот все летел, пока инструктор и второй пилот, матерясь, боролись с Вано.

...Он падал сквозь молочный туман облаков, и когда парашют раскрылся, увидел, что снизу на него надвигается заснеженный лес. Вместо колхозных полей, о которых им говорили во время инструктажа.

Итальянская песенка даже не вспомнилась. Суетливо работая стропами, чтобы не повиснуть на вершине какого-нибудь дерева, Вано удачно приземлился среди сугробов на берегу замерзшего ручья.

Ни звука не было слышно окрест. Где сотни солдат, сброшенных раньше него? Где сборный пункт возле какой-то летней кошары?

Он крикнул раз, другой... Снял парашют, уложил его в ранец. Посмотрел на компас. Стрелка, как всегда, показывала на север. Это ни о чем не говорило. Нужно было до сумерек выбраться из леса, скорее найти своих.

Вано закопал парашют в снег, пошел с автоматом за спиной по течению ручья. Часа через полтора ручей вывел его к речке, тоже замерзшей. На противоположном берегу курились дымками аккуратные домики деревни.

Лед под ногами опасно прогибался. Он благополучно пересек реку, обогнул забор и поднялся на крыльцо первой же избы. На стук отворила перепуганная старушка в переднике. Она что-то вскрикнула на непонятном языке, кого-то позвала.





Из глубины помещения вышла девушка. Она тоже испугалась, спросила: «Ты кто?»

Сейчас, кончив размешивать клейстер и вспоминая, как он рассказывал Лиле об этом приключении, Вано как бы вместе с ней ощущал укол ревности, пережитый ею.

И впрямь, когда выяснилось, что он приземлился в Латвии, когда его накормили картошкой с мясом, поднесли самогона, отогрели и уложили спать, девушка пришла к нему ночью, разбудила...

Ее звали Эмма. Ее брат тоже служил в Советской Армии где-то на Дальнем Востоке.

Утром она решила показать ему город Ригу, который, как выяснилось, находился в полутора часах езды на рейсовом автобусе.

Вано оставил в избе автомат и с легким сердцем отправился с ней на экскурсию, ибо решил после приятного времяпрепровождения найти комендатуру и таким образом найтись.

Но приятного времяпрепровождения не получилось. Сразу же по прибытии в столицу Латвии, на автовокзале, его, одетого в десантную форму, прихватил патруль.

В военную комендатуру он приехал на зеленом «газике», в сопровождении двух автоматчиков.

«Если пропал автомат или парашют,—жестко сказал дежурный подполковник,—трибунала тебе не миновать».

И его на том же «газике» повезли обратно в деревню.

Автомат, к счастью, стоял на месте, в углу возле кровати. И парашют нашелся благодаря ручью.

По возвращении в часть Вано неделю просидел на «губе». До сих пор он не понимал—за что?

Он еще раз сходил на кухню, принес полотенце, которым莉莉а вытирала посуду. Окуная его в ведро с разведенным клейстером, можно было запросто намазывать изнанку обоев.



Солнце переместилось. И теперь только половина комнатки была ярко освещена, другая же погрузилась в бархатистую тень.

Он передвинул табурет к двери и встал на него, чтобы сорвать последний лоскут старых обоев.

Вано оторвал верх. Нижний край был прижат притолокой. Он потянул за нее. Ветхая притолока осталась в руках. И, взбесившаяся в луче солнца, на него посыпался дождь монет.

Золотых.

Переведя дыхание, Вано собрал на полу среди ошметков обоев сорок девять тяжелых царских червонцев. Ошеломленный случившимся, он сложил свою добычу в кухонное полотенце, надежно завязал образовавшийся мешочек тремя узлами. Потом ему показалось, что монет для ровного счета должно быть пятьдесят. Облизал на коленях всю комнату, но кроме Лилиной пластмассовой заколки, ничего не нашел.

Именно эта дешевая трогательная заколочка затормозила первое же полыхнувшее желание: немедленно, сейчас же, пока не пришла莉莉, уехать к себе на юг, найти в Сухуми дельцов или дантистов, которым можно будет продать этот клад за большие деньги, и зажить богачом на зависть Хутке!

Он сидел на табуретке, вертел бледно-розовую заколочку в руках. Думал о том, что у Лильки нет ни туфель, ни плаща, зимой и летом ходит в потрепанной курточке, в кедах.

Принялся клеить новые обои.

Через два дня пожилой, доброжелательный человек с атташе-кейсом, кого-то ждущий у магазина по продаже золота и драгоценных металлов на Садовом Кольце, взял мешочек, бегло глянув на предложенный Вано товар, согласился купить его весь, но с условием, что сидящий в магазине ювелир подтвердит подлинность каждой монеты. Вдруг неизвестно





откуда взявшийся парень налетел на них с криком: «Валютные махинации?!»

Больше Вано ни своих монет, ни парня, ни этого человека с его атташе-кейсом никогда не видел.

А пятидесятую монету вскоре нашла Лия. Золотой червонец непостижимым образом залетел за зеркальце, укрепленное на шкафу.

За скромную плату ювелир сделал им два обручальных колечка.





«Чаби, чаляби...»

Вчера вечером после детского сада моя дочка без конца распевала песенку-читалочку. До того странную, что я поневоле запомнил слова.

Утром, едва открыл глаза, во мне опять зазвучало:

Кони, кони, кони, кони.

Мы сидели на балконе.

Чай пили. Чашки били.

По-турецки говорили:

Чаби, чаляби,

Чаляби, чаби, чаби...

И весенним днем, когда я шел по территории больницы, та же милая детская бессмыслица преследовала меня. «Что такое «чаби, чаляби»? Откуда взялось это словечко?»—беспечно думал я, открывая тугую дверь корпуса, где находится отделение нефрологии.

Нет, я не страдал от болезни почек. Вообще, был совершен но здоров, и навещать здесь мне было некого.

Поднялся лифтом на шестой этаж. Пошел длинным коридором, оглядывая белые двери с черными табличками—номерами палат, пока не увидел надпись—«Зав. отделением нефрологии». Постучал, затем толкнул. Заперто.

Тогда я сунулся в дверь посредству—в «Ординаторскую».

Там у компьютеров и телефонов суетилось несколько врачей в белых халатах. Они с неожиданной злостью выставили меня. Сказали, что Зоя Борисовна находится на обходе. Приказали ждать в коридоре, не отвлекать людей от работы.





«Чаби, чаляби,—думал я, расхаживая взад-вперед по коридору.—Зачем мне все это нужно? Какого рожна я тут делаю?».

...Зоя позвонила часов в десять утра уже со службы. Звонок был неожиданный, радостный для меня. Я любил и уважал эту женщину, принимавшую горячее участие в судьбах многих больных людей, в том числе и моих знакомых. Любил ее мужа, ее ребенка. Мы, что называется, знались домами, но как-то так получилось, что в последнее, послеперестроеочное время давно потеряли друг друга из вида.

Зоя зачем-то попросила срочно приехать к ней в больницу. Голос был строг, отрывист. Впрочем, он всегда был таковым. Единственное, что меня поразило,—она даже не поинтересовалась, как поживают моя жена и дочь.

...Старая санитарка, переваливаясь, провезла мимо погрехатывающий столик на колесиках нагруженный мисками с обедом для лежачих больных, и меня обдало характерным запахом скучности.

—Спасибо, что приехали. Заходите скорей!—Зоя отперла дверь своего кабинета.

В этой комнатке я уже когда-то бывал. Здесь ничего не изменилось. Тот же шкаф со стеклянными дверцами, где на полках лежали коробки лекарств, посверкивали на весеннем солнце какие-то приборы. Вдоль стены книжные стеллажи с медицинскими книгами и справочниками. Диван, покрытый белым чехлом.

Зоя почему-то усадила меня на свое место за столом с телефоном, а сама села напротив. Яркий свет из окна беспощадно высыпал седину в ее черных дотоле волосах, вертикальную морщину над переносицей, тени под глазами—черные, как синяки.

—Володичка, я и главврач больницы где только не были, куда только не обращались. Даже к Ельцину... Обзвонила всю Мо-





скву, зарубежных коллег. Вообще всех знакомых людей. Осталась один вы. Надежда только на вас.

Признаться, я струсил. Пожалел о том, что пришел.

— Помните, когда-то вы говорили, у вас есть русский приятель, который живет и работает в Женеве, во Всемирной организации здравоохранения? — продолжала Зоя. — Вот телефон. У вас с собой записная книжка? Можете сейчас позвонить ему?

— Нет с собой книжки. — ответил я и наконец спросил: — А в чем все-таки дело?

— Если вы не поможете, не позже чем послезавтра вынуждена буду стать палачом. Приговорить к смерти и убить семью из одиннадцати.

И Зоя коротко, не вдаваясь в подробности, проинформировала меня о том, что в ее отделении, в двух палатах, лежат одиннадцать больных с острой почечной недостаточностью. Ждут своей очереди на пересадку почки. Если им периодически не очищать кровь, не подключать к искусственной почке, короче говоря, не проводить гемодиализ, они умрут. Мембранны, сквозь которые происходит очистка, осталось только четыре. Весь аппарат, вся искусственная почка стоит несколько десятков тысяч долларов. До сих пор эта аппаратура более или менее регулярно поставлялась из-за рубежа в качестве гуманитарной помощи. И вдруг, то ли по халатности наших чиновников из Министерства здравоохранения, то ли по какой-то другой причине, поставки прекратились.

— А нельзя отмыть, очистить эти мембранны и снова пустить в ход?

— Мембранны одноразовые! Все одноразовое. Мои больные умрут не позже чем послезавтра. Понимаете? Можно сделать гемодиализ только четырем. Остается семья обреченных... У вас есть деньги на такси?





—Зачем?

—Вот вам деньги. Хватайте машину. Как можно скорей отыскивайте дома телефон, дозванивайтесь в Женеву. Если пришлют самолетом, договорятся с летчиками—можно успеть. Хотите зайти в палаты, взглянуть в глаза этим больным?

—Нет!

Она провожала меня к лифту, когда я спросил:

—Зоенька, а если не получится, как, по какому критерию отбирать этих четырех из одиннадцати?

—По возрасту. По какому еще? Не из личной же симпатии. Спасти хотя бы тех, кто еще мало жил...

...Дома повезло сразу дозвониться в Женеву. Приятель мой был на месте, в своем служебном кабинете.

Несколько путаясь от волнения, я изложил ему суть проблемы.

—Погоди. Я ведь иммунолог. Не по этому делу. Но случайно знаю: наша организация примерно месяц назад отправила в Москву несколько вагонов с аппаратурой для гемодиализа.

—Кому?! Куда отправила?—с самого начала я не верил, что что-нибудь может получиться. И вот—на тебе!

—Обожди. Сейчас попробую узнать.

Стало слышно как он звонит по другому телефону, о чем-то разговаривает на английском.

—В МОНИКИ. Аппаратура для диализа была направлена в Москву, в МОНИКИ. Твоя врач должна знать о таком медицинском центре.

Я не успел толком поблагодарить его. Положил трубку. Снова снял. Торопливо набрал номер Зоиного кабинета.

Она сразу спросила:

—Ничего не получилось?

—Получилось! Получилось, Зоечка! Месяц назад сразу



несколько вагонов были отправлены в Москву, в МОНИКИ!

—Господи... —голос ее разом потускнел.—Неужели вы думаете, мы туда не обращались? Давно все разобрано, роздано по нашим нищим больницам.

Она бросила трубку. И я положил трубку.

«Чаби, чаляби, чаляби, чаби, чаби», — как метроном, начало отстукивать у меня в голове.





Третий глаз

Он был серб. Он был йог. Он был инвалид Отечественной войны — в голове за левым ухом сидел осколок, который хирурги не советовали извлекать.

По утрам в его деревянный домик-развалюху как хозяин вваливался через раскрытую форточку Брахман. Одноглазый рыжий котяра тяжело спрыгивал с подоконника и начинал с грохотом гонять по половицам жестяную миску.

Александр Иванович иногда сутками ничего не ел, но для Брахмана, этого «паразита», как он его называл, всегда хоть что-нибудь да находилось. Иной раз даже варил для него суп из кильки.

Вот и сегодня нужно было встать, накормить этого бродягу. Все равно не давал спать, призывающе мяукал и громыхал миской.

Шел седьмой час утра. Судя по слепящим лучам из окна, день обещал быть нестерпимо жарким.

— Аум мани падме хум,— вслух произнес Александр Иванович, опуская исхудалые ноги со своего продавленного ложа.— Вот однажды придешь, забулдыга, а я дохлый. Что будешь есть? А? Станешь мой нос обкусывать? Или пальцы?

Брахман выжидалительно сидел возле миски. Как статуэтка.
— То-то, паразит! — Александр Иванович прошлепал мимо письменного столика у окна, занятого расхристанной пишущей машинкой «Москва», к закутку у входной двери, где в опасной близости от висевшей на ней одежды находилась газовая плита с деревянными полками над ней, установленными заварочными чайничками, пиалушками, кофеварками-джез-





вами, склянками со снадобьями, баночками с остатками обгорелых ароматических свечей.

В одной из баночек торчала обернутая в бумажную салфетку вареная сарделька, прихваченная вчера с тарелки во время прощального ужина с московским журналистом, который пообещал, что опишет его в одном из своих романов.

Александр Иванович швырнул салфетку в мусорное ведро, но не попал.

Сарделька же упала рядом с кошачьей миской. Он обратил внимание, что трясутся руки.

— Нужно восстановиться после вчерашнего,— сказал он вслух.

Пригнувшись, запустил руку под столик. Вытаскивал и смотрел на просвет разнокалиберные бутылки.

— Сушь, как в пустыне египетской,— пробормотал он.

Вернулся к полкам, снял одну из склянок, где желтел настоящий на спирту золотой корень. Отхлебнув половину, обернулся. Брахман дожидал сардельку.

— И мне надо чем-нибудь закусить,— сказал Александр Иванович.

Сунул ноги в разношерстные сандалии, откинул крючок с двери и оказался в своем огороженном рваными проволочными сетками «саду», где среди нескольких почерневших от зноя и несвоевременной поливки помидорных кустов в глиняных горшочках была размещена «плантация» кактусов пейотль.

Вычитав у Кастанеды о необыкновенных свойствах сока этого растения, якобы дающего при употреблении возможность переместиться на другие планы бытия, на одном из которых обитают люди-вороны, на другом—страшные боги латиноамериканских индейцев, Александр Иванович путем долгой переписки с ботаническими садами добыл-таки несколько чахлых сеянцев величиной с наперсток. Один из них сожрал кот Брахман. Узнать, на каком плане тот побывал,



не представлялось возможным. Кактусы росли крайне медленно, и Александр Иванович с трудом удерживался от соблазна изготовить из них волшебный эликсир.

Он отвернул кран ржавой водопроводной трубы, ополоснул лицо, полил из жестянки «планацию», за содержание которой, как он прочел в книге того же Кастанеды, где-то в Боливии можно было склонять десять лет тюрьмы. Потом просунул руку сквозь дыру в решетке, отделяющей его от столь же крохотного огородика соседки, оторвал прятавшийся в листьях огурец. Похрустывая им, вернулся в дом. Вскипяtil воду в кастрюльке, насыпал в чайничек с отбитым носом щепотку самаркандского зеленого чая № 95, взял пиалушку, перенес на столик к пишущей машинке и уселся продолжать свой ежедневный труд — перепечатку очередного мистического сочинения. В этот раз — о методике поднятия из копчика по позвоночнику волшебной энергетической змеи Кундалини.

Отхлебывал чай, перешепывая в трех экземплярах текст с лежащей сбоку смутно различимой машинописи на папиросной бумаге.

К своей военной пенсии, в основном уходившей на распитие коньячка и водочки в чайхане городского парка, Александр Иванович прирабатывал продажей «эзотерички» — эзотерической литературы.

Продажа происходила на садовой скамейке у той же чайханы, а также на базаре рядом с торговцем глиняными свистульками, или же дома у Александра Ивановича.

Покупали эзотерику преимущественно благодарные пациентки, которые желали направить энергию Кундалини, таившуюся у них в копчике, по нужному руслу, и городские интеллектуалы.

Он лечил самые разные болезни настоями трав и кореньев. Иногда удачно.





Местный Комитет госбезопасности просек источник распространения неподцензурной литературы. Александра Ивановича несколько раз вызывали в КГБ, проводили с ним профилактические беседы. Особенно беспокоило чекистов то, что он по паспорту серб, как бы иностранец. Однако выяснилось, что подозреваемый родился на Украине, отца своего, попавшего туда вследствие катаклизмов первой мировой войны, не помнит.

Спасла Александра Ивановича репутация городского сумасшедшего, справка о ранении в голову и наличие прикрученного клацкану пиджака ордена Отечественной войны второй степени.

Тем не менее, раз в квартал к нему заходил «кум». Интересовался здоровьем подопечного, словно невзначай проглядывал валяющиеся повсюду машинописные труды—нет ли антисоветчины, требовал чего-нибудь выпить и исчезал до следующего раза.

Иногда они встречались где-нибудь на улице.

—Аум мани падме хум!—издали приветствовал «кума» Александр Иванович своей загадочной фразой.

—Хум, хум,—торопливо ответствовал тот, пробегая, словно мимо незнакомого.

Поддерживать репутацию сумасшедшего было нетрудно. Но с течением времени Александр Иванович стал побаиваться действительно сойти с ума, ибо все чаще преследовала мысль: что будет, когда он умрет, кто его похоронит? Все явственнее рисовалась картина того, как голодный Брахман обгрызает лицо или пальцы...

Где-то у него существовал взрослый сын от поварихи военного санатория в Сухуми, куда довелось съездить однажды по бесплатной путевке, выданной собесом. Можно было жениться, переехать в Абхазию, иметь семью.

Но превыше всего ценил он собственную свободу.





Александр Иванович вытащил из пишущей машинки за-кладку, глянул на второй и третий экземпляры. Текст на них оказался почти неразличим. Нужно было менять копирку.

Он выдвинул ящик письменного стола. Копирка кончилась. На тощей стопке оставшейся бумаги валялась потрепанная записная книжка.

Он взял ее, начал растерянно листать. Потом перевел взгляд на висящий у окна отрывной календарь. Было восьмое число.

Копирку, бумагу и даже ленту для машинки в качестве до-брехотного даяния Александр Иванович получал в журнале «Крыша мира». Восьмого числа каждого месяца сотрудникам редакции выавали зарплату. Это был повод для обязательного сабантуя в конце рабочего дня.

Такой день нельзя было пропустить.

Александр Иванович побрился электробритвой «Харьков», достал из-под матраца единственные брюки, снял с гвоздя на двери пиджак с орденом. И вытащил из кармана томик в зеленой kleenчатой обложке.

Это было Евангелие. Подаренное ему вчера на прощанье московским журналистом.

Оставил книгу на столе, нахлобучил соломенную шляпу, прихватил папку с перепечатанными сочинениями Рамачараки и «Кавказскую йогу» безвестного автора. Вышел в город, чтобы, пока наступит время редакционного междусобойчика, заняться на базаре сбытом своей продукции.

«Евангелие всучил,—с неудовольствием пробормотал Александр Иванович.—Что я, Евангелия не читал?»

Читал он Евангелие. И Коран. И «Бхагавадгиту». Даже китайскую «Книгу перемен». Научился сидеть в позе лотоса. В похожей на чалму закрученной женской шапочке, которую выпросил у одной бухгалтерши—покупательницы его перепечаток.



...Потеснив незлобивого продавца глиняных свистулек, Александр Иванович маялся на базаре перед концом длинного прилавка, где был разложен его машинописный товар.

—Аум мани падме хум! —периодически выкрикивал он.— Покупайте, кто еще не купил. Последние экземпляры.

То ли из-за этого Евангелия, неизвестно зачем всученного ему на прощанье московским журналистом, то ли оттого, что настойка золотого корня никак не подействовала, он был, что называется, не в своей тарелке.

—Аум мани падме хум! Покупайте, кто еще не купил.

За весь нестерпимо жаркий день он задешево продал отчаянно торговавшемуся очкарику-студенту лишь экземпляр «Кавказской йоги». На эти деньги все-таки можно было купить в прибазарной чайхане сто граммов водки и порцию пельменей-мантов. Но терзаемый жаждой и голодом, Александр Иванович нашел в себе силы воздержаться от искушения. Нужно было отдать наконец в починку хлопающие отваливающимися подошвами сандалии и прикупить какой-нибудь рыбешки для Брахмана.

Он ринулся с базара в редакцию «Крыши мира», прихватив по дороге у знакомой торговки-кореянки маринованный помидор.

Стремительно шел по городу со своей папкой. После съеденного помидора чувство голода стало совсем невыносимым.

Успел вовремя. Вся компания уже сидела в комнате редакционного художника перед накрытым столом. Цепкий взгляд Александра Ивановича разом уловил возвышающиеся среди тарелок с салатами и прочими закупками две бутылки коньяка и несколько бутылок «Столичной». Тут же дымился котел с пловом из баранины.

—Иваныч, йог твою мать! —вскричал Леша Панкратов, заведующий отделом прозы.— Ты-то нам и нужен! Подсаживайся скорей. Гюля! Тащи ему тарелку, вилку и рюмку!





Редакционная машинистка немедленно принесла требуемое, щедро наложила на тарелку салат «оливье» и другие закуски. Коньянк прогнувшейся рукой Александр Иванович налил сам.

Так радушно его никогда не встречали.

Вся эта компания спивающихся, еще не старых людей облегчила себе жизнь тем, что из номера в номер публиковала в своем журнальчике переводные фантастические повести или детективы, которые им регулярно поставляли три ста-рушки-переводчицы из Ленинграда. Оставшееся место за-полнялось собственными очерками для сохранения хоть какого-то местного колорита, собственными же переводами стихов местных поэтов. За что сами себе выписывали гонорары.

— Пей, Иваныч! Ешь, Иваныч! — снова обратился к нему Леша Панкратов. — Слушай меня внимательно. Ты должен завтра выехать со мной в командировку. На пять дней. Ты нужен мне как эксперт. Вот-вот появится завотделом поэзии Боря Галкин, он, кажется, наравился на материал для мировой сен-сации. Во всяком случае, не для нашей убогой прессы, а для «Известий» или даже «Правды»!

— Лучше для «Огонька»! С фотографиями, — вмешался редак-ционный фотограф Володя Слабинский. — Оттуда распечатают по всему миру!

— Посмотрим, решим. — отмахнулся Леша Панкратов. — Сей-час главное, чтобы ты, Иваныч, удостоверил факт. Ты в горо-де единственный специалист. Дело в том, что вчера какие-то альпинисты, спустившиеся с гор, рассказали Борьке Галкину о том, что на высоте альпийских лугов попали в селение, где живет карлик. Карлик как карлик. Только маленькая деталь: у него вместо двух глаз — один! Посередине лба, над переносицей.

— Третий глаз! — вырвалось у Александра Ивановича.

Вдруг все стало на место. Оказывается, не врут древние и со-временные мудрецы! Вся жизнь его получила оправдание...



Он хватил очередную рюмку коньяка и окончательно взволновался, забыв даже о том, что, пользуясь приподнятой атмосферой, хотел выпросить у Гюли копирку с бумагой.

— Те люди, у кого открыт третий глаз, могут предсказывать погоду, землетрясения и будущее,— заявил он и добавил:— А еще в «Вокруг света» за прошлый год было написано, что есть ящерки, рождающиеся с тремя глазами. Это называется атавизм. Раньше у всех людей был третий глаз!

Он торопился заявить себя настоящим экспертом.

— Погоди, Иваныч, погоди! — притормозил его Панкратов. — Если в самом деле предсказывает будущее, можем задавать вопросы от имени правительства СССР, быть связующим звеном!

— КГБ отнимет его у нас. Вывезет в Москву, — сообразил Александр Иванович. Он почувствовал, что в этот момент берет управление всей операцией в свои руки. — Это должна быть тайна!

Вот так во времена фронтовой молодости командовал он взводом саперов.

— А если этот карлик не захочет с нами сотрудничать? — сказала Гюля. — Может, он вообще малограмотный, дикий человек?

И тут в наступившей тишине раздался веселый голос вошедшего в обнимку с огромным арбузом тщедушного Бори Галкина.

— А ну, скорей очистите место, куда положить арбуз! Сейчас встретил одного из альпинистов — все наврали по пьяни! Как дела, Иваныч! Падме хум?





Амедео

Он живет в городке на берегу африканского побережья Средиземного моря. Испаряющаяся влага соляных промыслов с утра накрывает городок удущливой дымкой. В шесть утра этот большой человек в майке и потрепанных джинсах седлает мопед и выезжает на шоссе мимо сверкающих на солнце соляных гор, где уже копошатся экскаваторы, мимо системы лиманов, где соль пока только выпаривается.

Шоссе черное, бархатистое, построенное бывшими колонизаторами-французами. Мчать по нему — одно удовольствие. Другого транспорта почти нет.

Справа постепенно появляются финиковые пальмы, цветущие кусты гибискуса. Слева серебрятся рельсы единственной в стране железной дороги. Изредка по ним проносится поезд, составленный из списанных вагонов парижского метро, набитый людьми, едущими на работу в столицу страны.

А он через пять километров пути сворачивает в проезд, полускрытый среди густой растительности. Охранник, не покидая стеклянной будки, приоткрывает автоматические сетчатые ворота, и он въезжает в огромный тенистый парк, едет по аккуратной дорожке мимо садовника, поливающего из шланга подножия пальм и кусты роз, подкатывает к одному из крыльев отделанного золотистым мрамором дворца. Здесь его уже ждет сменщик — усатый Ахмед, он же Рафаэль. Они молча кивают друг другу. Ахмед садится на тот же мопед, чтобы вернуться в город после недельной вахты.





А большой человек в майке и потрепанных джинсах проходит сумрачным коридором мимо служебных помещений, отворяет своим ключом дверь комнатенки, где помещаются узкая койка, шкаф, стол, стул и настенное зеркало над рукомойником.

Большой человек снимает майку, тщательно умывается. Затем отворяет дверцу шкафа, снимает две вешалки: одну с ослепительно белыми рубашками, вторую—со строгим черным костюмом. Достает с верхней полки черный галстук-бабочку и одежную щетку, с нижней—черные лакированные полуботинки с вложенными в них чистыми носками.

Рубашки и носки регулярно стирает и отглаживает ему за плату местная горничная.

Он тщательно переодевается, придирчиво оглядывает себя в зеркало, смахивает щеткой пылинки с пиджака и брюк. Напоследок снова бросает взгляд в зеркало и выходит, заперев дверь.

Пройдя дальше по коридору, он появляется из другого выхода совсем иным человеком. Теперь это статный, благообразный господин с галстуком-бабочкой, каких можно видеть на приемах в высшем обществе. Если дома его зовут Салим, то здесь он—Амедео.

Вот он подходит за подносом к укрытому под разноцветным тентом бару с полукруглой стойкой, расположенному у входа в ресторан. Там уже завтракает разноязычное население туристского отеля—любители ранних купаний.

Остальные только проснулись, тянутся гуськом в шортах и панамках кормиться.

—Чао, Амедео!—слышится, когда они проходят мимо.—Амедео, бон жур! Гутен морген, Амедео!

Этот пятидесятилетний человек приветливо кивает всем. Он знает, что обаятелен, что итальянское имя Амедео звучит для них, как волшебная музыка.





За годы работы в отеле он выучился немного говорить по-итальянски, по-французски, по-немецки. Даже на русском знает несколько фраз: «Хорошая погода», «Доброе утро» и «Желаю удачи».

Теперь с утра до вечера он будет разносить из бара заказанные туристами прохладительные напитки и кофе.

Величественно проходит он с высоко поднятым на руке черным подносом, уставленным напитками. Невозмутимо вышагивает повсюду, мелькая черным силуэтом то среди пляжных зонтиков и лежаков с распаренными телами, то в сквозной тени зелени, где расположились в шезлонгах боящиеся солнца.

Часто заказы поступают из номеров.

Плату за прохладительные напитки, пиво и мороженое он отдает хозяину. Чаевые ничтожны. Но не ради этих чаевых он здесь работает.

После того как туристы поужинают после того, как стихнет музыка на дискотеке, он снова моется в своей комнатке, надевает свежую рубашку с галстуком-бабочкой, и, прежде чем выйти, вынимает из ящика стола небольшой пластиковый пакет. Сует его в карман.

И исчезает в лабиринтах пятиэтажного отеля-дворца. Часам к четырем утра дверь одного из номеров приоткрывается. Он выходит в коридор.

—Амедео, ауфвидерзееен!—слышится вслед женский голос.—Чао, Амедео!

Он пересчитывает стопку купюр, степенно прячет ее в бумажник, негромко отзыается:

—Бон шанс! Желаю удачи!

Подобных клиенток за сезон у него бывает много. Может быть, слишком много. Преимущественно пожилые немки. Некоторые приезжают из года в год. Так пройдет неделя,



пока не приедет на мопеде усатый Ахмед—Рафаэль. Тот промышляет тем же.

...Устало идет в темноте под звездами к тому крылу корпуса, где ждет койка, на которой можно спать несколько часов перед началом нового трудового дня.

Он уверен, что постиг, как устроен этот мир людей.

Прежде чем скрыться в темноте коридора, вынимает из кармана пластиковый пакетик с использованными презервативами, швыряет его в урну. Это входит в джентльменские обязанности.

...Жена и двое его взрослых детей знают, на чем основано их скромное благосостояние.





Вырвикишина

— Коль-кя! — раздавался по утрам визгливый призыв в Серебряном Бору. — Коль-кя!

Кто кричал, было не видно.

Но пацан лет восьми, одетый в потрепанную джинсовую курточку и такие же брюки, возникнув невесть откуда на одной из аллеек, тут же безошибочно находил мать, притаившуюся где-нибудь за кустами, забирал у нее авоську с пустыми бутылками и уносился прочь в сторону пункта приема стеклотары.

Она же бесплотной тенью все так же кралась среди мокрой от росы травы и кустов. Иногда ее рука стремительно высовывалась из листвы возле какой-нибудь урны, ухватывала бутылку и исчезала. Прежде чем опустить ее в хозяйственную сумку, эта тень человека запрокидывала сосуд, выпивала последние капли, все равно, будь это капли пива, водки или портвейна.

Так, таясь от конкурентов-пенсионеров, которые при попимке лупили ее, она ухитрялась за утро обежать Серебряный Бор — все аллеи, пляжи, троллейбусный круг. За добротными заборами дач злобно лаяли псы. Открывались ворота, на «джипах» и «мерседесах» важные люди с телохранителями выезжали на работу.

Время от времени проезжал патрульный милицейский «газик». Милиционеры знали о существовании и ее, и Колы. Знали о том, что мать и сын круглый год юятся в неприметной хижине, кое-как сложенной из досок, фанеры и картонных ящиков в закутке на территории лесничества. Не раз держали в руках ее пустыне обмененный, еще советский за-





трепанный паспорт, выданный гражданке Вырвикишиной. И махнули на нее рукой. В конце концов, приносила пользу.

Эту фамилию какие-то идиоты дали найденной на помойке годовалой девочке.

Фамилия сыграла свою роковую роль. Нетрудно представить себе, как издевались на сиротой в детском доме, начальных классах школы, откуда она сбежала. Навсегда.

Никто, никогда, ни разу не погладил этого ребенка, не поцеловал. Даже невезучий дачный вор-пьяница, от которого родился Колька.

Вор сгинул где-то в тюрьме.

Зимой промышлять сбором и сдачей бутылок становилось невозможно. Снег заметал Серебряный Бор. Разрумянившись от мороза лыжники тары после себя почти не оставляли. Река покрывалась льдом. И Колька уже не мог ловить рыбешку драным капроновым бреднем, за ненадобностью подаренным лесничим.

...Она перекидывала через жилистую шею шнурок с крестиком, повязывала на голову платочек.

Прошмыгнув с пассажирами в троллейбус, ехала без билета в центр просить милостыню по храмам.

Изредка ей везло — удавалось съесть церковный благотворительный обед аж из трех блюд — суп, гречневую кашу и компот; или урвать что-либо из раздачи «гуманитарки» — ковбойку для Кольки, свитер, юбку для себя или даже куртку.

Местные бомжи отихивали ее. А нищие на паперти прогоняли пришлую конкурентку, порой били. От нее дурно пахло.

Она без обиды направлялась к другому храму.

Наверное, никто на земном шаре не ждал наступления тепла так, как это существо. Да еще Колька, не умевший ни читать, ни писать, зато знавший устный счет, ибо зорко следил, чтобы приемщица не обсчитывала при сдаче бутылок.





Этим летом им дважды повезло.

Колька изловил бессильно хлопающего хвостом по воде крупного леща; лещ кружился у берега, то ли больной, то ли задетый прогулочным катером.

А в один из выходных дней отставной генерал с молоденькой женой приехал показать ей Серебряный Бор, где когда-то провел детство. Остановил свой «Мерседес» в тени деревьев, чтобы перекусить захваченной из дома провизией. Заканчивая трапезу, молоденькая женщина открыла дверцу машины, выкинула к урне две бутылки из-под пива. Чья-то рука стремительно схватила их. Глаза какого-то существа так глядели на нее сквозь ветки кустов, что она протянула недоеденный бутерброд с черной икрой:

—На!

Дверца захлопнулась. Машина уехала.

—Коль-кя! —раздалось над Серебряным бором, —Коль-кя!..





История одной смерти

Три дня назад, поздно вечером, прибыв с делегацией из аэропорта, он подумал о том, что попал в сказочную полосу везения.

То, что впервые удалось оказаться в Европе, в Западной, что билеты в оба конца, пребывание в отеле, трехразовая кормежка оплачены принимающей стороной, само по себе было удачей.

Их, московских врачей-реаниматоров, было пятеро. А номера были на двоих. И ключ от отдельного номера достался именно ему!

Едва войдя и утнездив чемодан в специальную стойку для багажа, не сняв плаща, он сразу обежал уютную комнату, заглянул в туалет, заскочил в сверкающую чистотой ванную с большим зеркалом, приблизился к нему и сделал то, что делал каждое утро в своей московской квартире, прежде чем начать умываться,— произнес «Чи-из», отчего обнажились зубы, и лицо до лучиков у глаз растянулось в улыбке. Голова отсвечивала благородным серебряным светом седины, подстриженная перед самым отъездом знакомой парикмахершей.

Потом вышел в лоджию. Сквозь ночной дождичек мигали разноцветные огни реклам Амстердама.

Вернулся в комнату, обратил внимание на стоящий у шкафа холодильник. Он оказался набит банками пива и бутылочками с минеральной водой.

Да, это была не какая-нибудь профсоюзная гостиница, как в Варне на берегу Черного моря, где он отдыхал несколько





лет назад с семьей, наблюдая скучающих, сбитых с толку колхозников-хлопкоробов, жителей полупустынь. Это был настоящий европейский отель!

Он не поленился спуститься на лифте вниз в вестибюль и узнать у администратора, что за пиво и воду денег платить не нужно, бесплатно.

Не поленился на обратном пути постучать в оба номера, где обустраивались коллеги и обрадовать их этим известием.

Международный симпозиум длился три дня. Утренние и вечерние заседания с докладами и обсуждениями. Он тоже делал доклад. И испытал счастье только оттого, что в зале в синхронном переводе на английский звучала его речь.

Доклад, по общему мнению, удался. Жизнь удалась. Никогда прежде не чувствовал он себя таким счастливым, здоровым и удачливым.

Вторая половина четвертого дня и первая половина последнего оставались совершенно свободными.

Можно было ходить по музеям, увидеть подлинники знаменитых картин Рембрандта, прокатиться с коллегами на экскурсионном суденышке по каналам. И прошерстить магазины, чтобы истратить жалкое количество разрешенной к вывозу из СССР валюты на самое необходимое.

Удалось купить чудесные итальянские туфли для жены, американские джинсы для сына-подростка и крепкие, сносу им не будет, ботинки для себя. Вернувшись в отель, он полюбовался на покупки, спрятал их в чемодан.

Несколько мелких монеток осталось на память. Он сидел в кресле, пил пиво и думал о том, что первую половину завтрашнего дня до отъезда в аэропорт можно будет провести без забот, просто погулять по улицам, заглянуть в собор, где не нужно платить деньги за вход.





В дверь кто-то постучал. Оказалось, московские коллеги зовут его ужинать в ресторан, ибо в вестибюле отеля уже ждет голландский врач-реаниматор, приглашающий всю компанию на экскурсию в знаменитый квартал красных фонарей.

В составе делегации не было женщин. Для остроты ощущений можно было себе позволить глянуть со стороны на мир порока.

...Было уже совсем темно, когда они вошли в охраняемый двумя полицейскими проход между домами. Снова шел дождик. За широкими окнами-витринами сидели на пуфиках или прыхаживались женщины в накинутых на голое тело халатиках.

Он никогда не имел дела с проститутками, и сейчас испытывал жалость и отвращение к этим дебелым, худым, чернокожим созданиям. Шел, поотстав от всех, и досадовал на себя, что ввязался от скуки в эту прогулку под дождем без зонта. Чего доброго, можно простыть. Да и в Москве могут поползти слухи. Кто-нибудь разболтает, похвастается...

Чувство удачи, везения исчезло, испарилось.

Наконец повернули обратно.

Все так же он шел сзади всех уже не по тротуару, а по мостовой, чтобы держаться подальше от этих витрин с живым товаром.

Вдруг нога его наткнулась на какой-то бугор. Он машинально пригнулся. В падающем из окна отблеске света увидел бумажник. Ухватил его, сунул в карман плаща.

На ощупь бумажник был мокрый, пухлый. Он не вынимал его до того, как вошел в свой номер, запер дверь изнутри.

В бумажнике оказалось шестьсот тридцать пять долларов, несколько пакетиков презервативов и документы, насколько он понял, какого-то турецкого моряка. С вклеенной в паспорт цветной фотографии на него глядел морщинистый человек с непомерно пышными усами.





Решение возникло сразу. Точно так же, как в реанимационном отделении, когда санитары чуть ли не бегом привозят на каталке умирающего больного.

В течение десяти минут созвал в свой номер всех четырех коллег и вручил каждому по стодолларовой купюре. Приятно видеть, когда и другие вокруг тебя попадают в полосу везения. Рассказал им, как нашел бумажник. С пятьюстами долларов.

Никто не узнал, что денег больше. Вместе с как бы законно принадлежащей и ему сотней в запасе осталось еще 135 долларов.

С утра после завтрака вся компания со свежими силами ринулась по магазинам.

Быстро отделился от всей группы, чтобы никто не заметил, каким преимуществом он обладает. Выкинул документы и презервативы в мусорную урну. Бумажник оставил в номере. Это был добротный бумажник, кожаный. Годился в качестве презента.

Потом он обменял в банке доллары на местную валюту и уселся в парке у канала с авторучкой и записной книжкой в руках, чтобы составить список, кому нужно привезти подарки, сувениры.

Жизнь давно подвела его к выводу, что считающийся в Советском Союзе постыдным способ выживания по принципу «ты — мне, я — тебе» — единственно правильный.

Всем — от главврача больницы до медсестер реанимационного отделения, начальника смены автостанции и автослесаря Николая Гавриловича, который без конца чинил его старенькие «Жигули», той же приезжающей на дом парикмахерше Лидии Михайловне — всем им нужно было что-нибудь да подарить. Это были нужные люди. Такие, как мясник Леша, отпускавший с заднего входа в магазин «Грузия» дефицитные мясо и колбасу. А еще имелось множество людей, которых он





просто любил, и теперь не мог отказать себе в удовольствии привезти им что-нибудь из Голландии.

Список получался угрожающе длинным. Он почувствовал, что радостное возбуждение сменяется унынием. Мелькнула мысль: вместо бесконечного количества мелких трат пойти и купить жене чудесное демисезонное пальто, мельком увиденное вчера в витрине, а себе и сыну по хорошей кожаной кепке.

Но он преодолел искушение. Предчувствовал, собственное удовольствие от тех минут, когда он будет раздавать подарки, неизмеримо ценней любого барахла.

Опоздал к обеду, запыхавшись, вернулся в отель за полчаса до посадки в микроавтобус, который уже ждал, чтобы отвезти их в аэропорт. Зато приволок целых три огромных пакета с сувенирами. Несмотря на спешку, аккуратно переложил все это в чемодан, туда, где уже лежали две пары обуви и джинсы, запер замки, затянул двумя ремнями. В один из освободившихся пакетов засунул папку со своим докладом, бумаги и брошюры, полученные на симпозиуме. Спустился к автобусу со своим багажом. Чемодан оказался тяжелым.

Всю дорогу до аэропорта коллеги рассказывали о том, что и почем купили. Все были радостны, как дети. И благодарны ему.

Он же скромно помалкивал. Как, видимо, и подобает благодетелю.

В Москву самолет прибыл вечером. Охватывало особое нетерпение. Хотелось как можно скорее очутиться дома и, пока еще не наступила ночь, обзвонить как можно больше народу, чтобы сообщить о своем возвращении из Западной Европы, заинтриговать каждого известием о привезенном подарке. Ведь ожидание подарка не менее приятно, чем сам подарок.

Багаж начали выдавать довольно быстро. Пассажиры выисматривали свои сумки и чемоданы, ухватывали их с движущейся ленты транспортера.





Коллеги уже получили свои вещи и, отойдя в сторонку, ждали его, чтобы вместе выйти за загородку к встречающим.

Он все нетерпеливее похаживал вдоль транспортера. Чемодана не было. Транспортер опустел и остановился, замер.

«Зачем? Зачем я сдал его в багаж? Не захотел таскать туда-сюда по трапу...» Он побежал искать дежурного по залу выдачи багажа.

И пока тот с картонным корешком ходил куда-то прояснять ситуацию, уговорил коллег уйти, разъехаться по домам. Ставилось все невыносимее видеть их с чемоданами и пакетами, выражением соболезнования на лицах.

Выяснилось — чемодан не прибыл из аэропорта отправления. В каком-то кабинете ему объяснили, что такое случается. Предложили написать заявление и приехать в Шереметьево к завтрашнему рейсу из Амстердама. Вполне возможно, чемодан найдется.

«А если нет?» — хотел он спросить, но почувствовал, как задрожали губы, кровь ударила в виски. Он был уверен, что сейчас где-то недалеко, совсем рядом чьи-то воровские руки торопливо потрошат чемодан.

Домой он добирался на автобусе и метро, наглотался таблеток и, не пускаясь в долгие объяснения со ждавшими подарков женой и сыном, завалился спать. С утра нужно было выходить на работу.

Ему еще повезло, что рейсы из Амстердама — вечерние. Каждый раз мчался он на своем «жигуле» из больницы по Ленинградскому шоссе к Шереметьеву. Чемодана все не было.

Сослуживцы стали замечать, что этот человек, прежде всегда подтянутый, энергичный, стал появляться небритым, выглядел все хуже и хуже.

Он и сам чувствовал: с ним что-то происходит. Все чаще наваливается какая-то одурь, муть в сознании. По утрам, когда





он пытался произнести у зеркала «чи-из», улыбка получалась жалкой.

«Да черт с ним, с этим чемоданом!—решил он однажды после бессонной ночи.—Схожу с ума из-за какого-то барахла». Но вечером снова, как на работу, ехал встречать рейс из Амстердама, ибо служащие Аэрофлота говорили, что ведут какие-то переговоры, обнадеживали...

Начались боли в пояснице. «Радикулит, что ли? Весь разваливаюсь. Надо бы пойти к мануальщику, вообще сделать анализы»,—подумал он как-то поздно вечером, подъехав к дому и не находя сил вылезти из машины.

Но он ничего не сделал. Проклятый чемодан не шел из головы.

И он сам удивился тому, что не испытал особой радости, когда через полтора месяца поездок в Шереметьево ему все же вручили пестрый от наклеек целехонький чемодан—запертый, затянутый ремнями. Оказалось, из-за какой-то путаницы чемодан сначала занесло в Тунис, а затем в Гаагу.

И от того, что подарки наконец были разданы, он тоже не испытал радости.

А еще через месяц он умер в онкоцентре от раковой опухоли в позвоночнике. Со множественными метастазами.

Он лежал в гробу на постаменте—высохший, желтый. И ни жене, ни коллегам-врачам, приехавшим в крематорий на похороны, в голову не могло прийти, отчего это он заболел скотечным раком.





Три девицы под окном...

Было около семи вечера. Вот-вот они должны были подойти. Видимо, нужно было бы напоить их чаем, хоть чем-нибудь угостить.

Я открыл холодильник, оглядел его пустые полки. Вынул сиротливо таящуюся в уголке коробку шпрот и последний помидор.

Вскрыл консервы, разложил шпроты веером на тарелке, разрезал помидор на узкие дольки. Нарезал хлеб.

Зачем мне нужна была эта встреча? Я досадовал на себя: «Интеллигентская мягкотелость. Тоже мне писатель, учитель жизни. Пожалел несчастных и обездоленных, а самому угостить нечем. Что сам завтра буду есть? И о чем с ними разговаривать? Сам не знаю, как жить».

...Неделю назад поехал с путевкой Бюро пропаганды художественной литературы в какое-то ПТУ, где обучают будущих крановщиков, чтобы заработать выступлением четырнадцать рублей пятьдесят копеек. Еле нашел на окраине Москвы обшарпанное здание. По дороге решил: прочту десяток стихотворений, а потом проведу беседу о том, как важно при выборе профессии прислушаться к тому, чего на самом деле хочет душа.

На этой-то затее я и попался. Вызвал на себя шквал записочек, вопросов с мест. Вызвал к себе нездоровое доверие. После встречи обступили. Кто-то попросил номер моего телефона. Провожали до метро. И вот позвонила некая Наташа, попросилась прийти с двумя подругами, посоветоваться — бог знает о чем.



Шел восьмой час. Они все не приходили. Мне нужно было дочитать чужую рукопись, чтобы написать на нее внутреннюю рецензию для «Нового мира».

Вдруг показалось, будто кто-то выкликает мое имя-отчество.

Вышел на балкон и увидел с высоты своего третьего этажа стоящих у закрытой двери подъезда трех девушек, разряженных, как на праздник. Никого из них я не узнал.

—Здравствуйте! Как войти? Не записали номер кода.

—Открываю! Поднимайтесь.

Войдя, одна из них вручила мне букет роз. Две другие попросили разрешения сразу пройти на кухню, чтобы выложить из хозяйственных сумок принесенное угощение.

—Погодите. Как вас зовут?

—Наташа Иволга,—сказала рослая длинноногая, та, что вручила розы. Неожиданно потянулась ко мне, поцеловала.

Фамилия у нее была красивая. Как и она сама.

Подружки тут же последовали ее примеру, и устремились на кухню со своими сумками.

—Все-таки вас-то как зовут?—спросил я, растерянно глядя на то, как они выставляют на стол коробку с тортом, банку меда, банку клубничного варенья, банку баклажанной икры...

—Я Оля,—ответила самая низенькая из них, беленькая, бледненькая.

—А я Настя,—отозвалась третья.—Где у вас ваза? Нужно поставить розы.

Действительно, я, как дурак, все стоял с розами. Пошел в комнату за вазой. И они пошли за мной, оглядывая книжные полки, фотографии на стенах, рабочий стол с пишущей машинкой.

—Первый раз в гостях у писателя!—воскликнула Наташа.—Вы что, один тут живете?





Настя, пухленькая, в синем платье с оборочками, деловито предложила:

—Давайте мы тут приберемся. Подметем, вымоем пол. Это мигом.

Пока она говорила, Оля успела отыскать в кладовке совок и веник, принялась было за работу.

Я тут же пресек самоуправство. Загнал их обратно на кухню. ...Ваза с розами красовалась на столе. За чаем с тортом я впервые толком смог разглядеть будущих операторов строительных кранов.

—Девочки, сколько же вам лет?

—Оле с Настей по двадцать,—ответила Наташа Иволга.—Мне двадцать два.

Эта красавица была и на вид зрелее подруг. Ее южную, похоже, украинскую красоту портило отсутствие нескольких передних зубов. Поймав мой взгляд, Наташа нехотя объяснила:

—Очередной фраер увязался. Бежала от него в метро, грохнулась на платформе. Вышибло. Надо вставлять.

—Надо,—подтвердил я.

—Попробуйте же баклажанную икру, варенье,—почему-то застутились Оля и Настя.—Нам наши мамы прислали. Домашнее. Из Горловки.

Выяснилось, вся троица с Украины. Кончали одну и ту же школу. Вместе участвовали в самодеятельности, в местном КВН. В Москву привлекло то, что операторы строительных кранов получают относительно высокий заработок, обещание в отдаленном будущем постоянной московской прописки и жилья. Пока что они проходили производственную практику и ютились в общежитии при ПТГУ.

—Девочки, а как же вы залезаете в подоблачные выси?

—Постепенно. По лесенкам.

—Лифта нет? Кажется, видел в кино американский кран с лифтом.



Они удивились моей наивности.

— Какой там лифт! Пока долезешь до кабины...

— А как же зимой? Там наверху, наверное, ветер раскачивает, в кабине холодно... А если, извините, приспичит в туалет?

Я глядел в их смеющиеся глаза и почувствовал себя старым. В самом деле, я был старше каждой из этих отважных созданий больше чем в три раза.

— Как вы одеваетесь, когда лезете наверх?

— Выдают телогрейки и ватные брюки.

— Не женское это дело,— сказал я.

Тут-то и стало понятным, что их ко мне привело. Каждая мечтала выскочить замуж. Пришли посоветоваться. У каждой была своя история.

Первой начала исповедываться беленькая, бледненькая Оля. Оказалось, беременна. На втором месяце. Родители в Горловке сойдут с ума, если узнают. Парень, от которого она зачала, о ребенке мечтает, ее любит.

— Слава Богу!—вырвалось у меня. Я уж подумал, что сейчас встанет вопрос—делать или не делать аборт?

— Его зовут Габриель,—продолжала Оля.—Девочки его знают. Конголезец. Из Африки. Кончил сельхозакадемию имени Тимирязева, уезжает на родину, хочет на мне жениться, забрать с собой. А я боюсь.

— Значит, дело за вами?

— Не знаю, как быть.

— Я тоже не знаю, Оля. Если жить без него не можете—валяйте. Хорошо бы свозить его в Горловку, познакомить с папой-мамой.

— Ой, что вы! Увидят, что негр—с ума сойдут!

— Опять «с ума сойдут»! У этого Габриеля есть там родители? Чем занимаются?

— Отец водит поезд по узкоколейке в джунглях. Недавно подстрелил гориллу, переходившую через рельсы. Они ее съели!





— Да, Олечка... Что ж, будете со своим Габриелем светом в темном царстве. Я серьезно. Если будет такая цель, все оправдывается... — И я обратился к пухленькой Насте. — А ваши как дела?

— Нормально. Хочу быть крановщицей и буду. Нравится там, на высоте. Я маленькая, кран такой великан, и он меня слушается. Знаете, дома в Горловке мама больная и отец-забойщик, инвалид после аварии, да еще пятеро моих младших братьев и сестер. Придется помогать.

Я перевел взгляд на Наташу Иволгу.

Она как бы невзначай прикрыла нижнюю часть лица ладонью с наманикюренными, малинового цвета ногтями, сказала:

— Через неделю творческий конкурс в «Щуку». Попробую пройти. Не получится — успею подать на актерский во ВГИК или в училище МХАТ. Хочу стать артисткой.

— «Щука», если не ошибаюсь, при театре Вахтангова? Что же вы там будете показывать?

— Нужно прочесть басню или стихи, какой-нибудь монолог, отрывок из прозы...

— Выбрали?

— Вообще, да. Хотите послушать?

Я внутренне съежился. Представил себе, как при отсутствии передних зубов станет она сейчас шепелявить. Попытался отвертеться.

— Наташа, я ведь не по этому делу...

Но она уже стояла у стола, декламировала:

— Басня Крылова «Ворона и лисица»! «Вороне где-то бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать совсем уж было собралась, да призадумалась...» — Наташа приставила указательной пальцем к виску, изображая, как призадумалась ворона.

— Понятно. — Хотя шепелявости не прослушивалось, это было полное безобразие, детский сад. — Что вы еще подготовили?



—«Песня о буревестнике» Горького! — и она тут же начала заывать, взмахивая руками: «Над седой равниной моря гордо реет буревестник...»

Я понял, что ее горизонт ограничен школьной программой, актерская практика — провинциальной самодеятельностью... Не хотелось обижать красотку при подругах, то восторженно взирающих на нее, то испытующе — на меня.

Наташа исполнила произведение Горького до конца.

В кухне повисла тягостная тишина.

— Наташа, какого рожна вы привязались к этим птицам? — наконец выдавил я из себя. — Неужели не понимаете, каждая вторая конкурсантка будет читать на экзамене ту же «Ворону и лисицу», изображать того же буревестника? Попробуйте ошеломить комиссию хотя бы каким-нибудь новым, неожиданным репертуаром.

— Каким? — с готовностью спросила она.

Так я угодил в собственные силки. Пришлось пообещать ввиду ограниченности сроков за сутки подобрать ей новый репертуар.

Девушки вымыли посуду и ушли.

Оставшись один, я, вместо того чтобы приняться за написание рецензии, стал оглядывать книжные полки.

«Что ей посоветовать? Монолог Офелии? Да она Шекспира в руках не держала. Сказку Чуковского «Тараканище»? Чего доброго, станет изображать бегемота и все упоминающееся там зверье... Чем этой провинциалочке прошибить сердца членов приемной комиссии?»

Наутро пришло неожиданное решение. Я понимал, Наташа должна идти ва-банк. Терять нечего. Все равно не примут. Но мной овладел непонятный азарт. Я решился не только предложить ей новый материал, но и попробовать научить ее хоть с минимальной выразительностью донести до слушателей смысл.





Когда она вечером примчалась, я дал ей выучить одно из моих собственных неопубликованных стихотворений и отрывок из книги А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

Пришлось заниматься с ней всю неделю вплоть до понедельника—судного дня, творческого конкурса в театральном училище имени Щукина.

Перед тем как уйти в воскресенье, она подошла к окну и, стоя ко мне спиной, вдруг расплакалась. Я почему-то заподозрил, что сейчас последует признание в любви. В подобных ситуациях так часто бывает.

—Я вас обманывала,—услышал я прерывающийся от рыданий голос.—У меня эпилепсия. Зубы разбила во время приступа. Никто не гнался. Просто упала на платформе, хорошо, не на рельсы... Как вы думаете, примут меня с такой болезнью? Нужна медицинская справка, а кто мне ее выдаст?

—Давно с тобой это?

—С тех пор как была любовницей одного ювелира... Он извращенец, бил. Когда приступ, прикусываю язык. Говорят, можно умереть... Как вы думаете, примут?

Час от часу был нелегче с этой Наташей Иволгой.

—Сначала пройди конкурс. Лечишься? Нужно лечиться. Не может быть, чтобы сейчас такую болезнь не излечивали. Вот, выпей воды. Успокойся, пожалуйста. Езжай в общежитие, выспись. На экзамене нужно быть свежей, победительной, ясно? Теперь забудь все, чему я тебя научил. Просто вложи им в головы смысл того, что будешь читать.—Я подумал о том, что неминуемый провал может стать поводом для приступа, и корил себя за то, что ввязался в эту историю.

Тем не менее, после того как Наташа ушла, сел к телефону, обзвонил всех знакомых медиков и в конце концов договорился, что послезавтра утром смогу привезти ее в клинику



нервных болезней на улице Россолимо. Для консультации у какого-то знаменитого профессора.

...Зачем мы берем на себя ответственность за чужого человека? Что нами движет? Эта Наташа с ее вульгарным маникюром, извращенцем-ювелиром... Эта Оля с ее Габриелем, съеденной гориллой... Зачем это все мне нужно? На неделю вышибло из собственной жизни.

Днем в понедельник позвонила Наташа. Прошла творческий конкурс! Аплодировали. Поставили пятерку. Попросили как можно скорей вставить зубы.

Поздравил. Сообщил о клинике. Пришлось уговаривать. Еле согласилась в чаду своего успеха.

Наступила среда. С утра пораньше Наташа и я ждали среди толпы страждущих в старинном вестибюле клиники нервных болезней, пока вверху мраморной лестницы не появился окруженный студентами-практикантами профессор в белом халате.
— Кто здесь Иволга? Поднимайтесь.

Она вдруг пригнулась, поцеловала меня в шею. И пошла вверх по лестнице.

Больше я ее никогда не видел.

Знаю от Насти, позвонившей мне через полтора года, что та работает крановщицей на московских стройках. Что Наташа лечилась, сдала вступительные экзамены в «Шуку»; на втором курсе познакомилась с военным моряком, вышла замуж и, бросив все, недавно уехала с ним во Владивосток. Что касается Оли, то она живет в Африке, в Конго. Пишет, что очень тоскует. ...Ох, девочки, девочки, все вы годились мне в дочки. Простите меня, сам не знаю за что.





Скрипачка и скрипач

Морозным февральским вечером Лида неожиданно заехала ко мне после концерта в Малом зале консерватории.

—Что случилось?—спросил я, принимая из ее рук скрипку в тяжелом футляре. На нем еще дотаивали снежинки.

—Расскажу. Дадите чаю?

Пока она раздевалась в прихожей, я обтер футляр носовым платком, бережно положил инструмент на тахту.

Потом мы молча пили чай на кухне. И я все посматривал на усталое, внезапно как бы постаревшее лицо этой молодой женщины, жены моего крестника Вити.

—Что-то случилось?—снова спросил я, не выдержав напряжения.—Как прошел концерт?

—Случилось. Дайте подымить.—Она взяла у меня сигарету.—Вчера мы с Витей развелись. А на той неделе, в четверг, всем квартетом улетаем в Соединенные Штаты. Навсегда.

...Мерно падали капли из крана над кухонной мойкой. Я оглянулся. Кран был закрыт. Это отстукивали секунды круглые электрические часы на стене.

Витя был мой давний друг. Тоже скрипач. Ничто не предвещало такой развязки. Стало больно, как если бы эта беда случилась со мной.

В таких случаях лезть в душу, расспрашивать, что называется, махать после драки кулаками, бесполезно. Я понурился, оглушенный новостью.

И тут ее прорвало:

—Поймите! Не могу больше мыкаться по метро и автобусам





с этой скрипкой. Десять лет в браке, а у нас нет ребенка. Мне уже тридцать шесть. Не смогли скопить ни на автомобиль, ни на что. Живем на окраине, в пятиэтажке. Понимаете, устала! Просто устала. Американский импресарио предложил постоянную работу, контракт в городе, где мы уже однажды были на гастролях. Там горы вокруг, озера... Не представляете какая красота, какой воздух...

—А как же Витя? — тупо спросил я.

— Витя? — Она раздавила в пепельнице недокуренную сигарету. — Ваш Витя мямя. Довольствуется тем, что есть. Не хочет ехать. Будет всю жизнь пилить в своем оркестре, в группе вторых скрипок... Говорит, ему ничего больше не нужно. Который год копит деньги в надежде приобрести подержанную иномарку — предел мечтаний! Осуждаете меня? — Она заплакала. — Между прочим, расстаемся друзьями. Будет опекать здесь мою маму. Не знаю, правильно ли поступаю... Визы готовы, билеты куплены. Поедет провожать в Шереметьево...

Мне нечего было ей сказать. Совсем нечего.

— Вы хоть помолитесь обо мне? — спросила она, когда мы перешли в комнату.

Когда-то она вот так же попросила помолиться о том, чтобы у них был ребенок. Но я-то видел, что им, занятым своей музыкальной карьерой, гастролями, на самом деле не до ребенка.

Прежде чем Лида ушла, я захотел попрощаться и со скрипкой. Попросил разрешения вынуть ее из футляра. Осторожно взял в руки легкий темно-коричневый инструмент. Погладил по лакированной поверхности. Сквозь круглое отверстие на дне нижней деки как всегда виднелась золотистая табличка-этикет с надписью латинскими буквами: «Антонио Страдивари. Кремона».

Эта скрипка, стоящая чуть не миллион долларов, была чужая, не Лидинा.





Из года в год, изо дня в день Лида ездила с ней городским транспортом, ходила в дождь и снег по улицам, ежесекундно боясь как бы ее не украли, как бы ее где-нибудь не забыть. К счастью, это случалось только в преследующих Лиду тревожных снах.

...Со временем ее отъезда прошло около полугода, когда ко мне примчался Витя. Потрясенный новостью, рассказал: руководительница квартета, которой принадлежала скрипка Страдивари, отняла инструмент у Лиды и выставила ее из этого давно сыгравшегося маленького женского коллектива. И Лида осталась без работы в чужом городе, в чужой Америке.

Мы с Витеем ничем не могли помочь Лиде.

Властная руководительница квартета, сама игравшая на великолепном инструменте работы Гварнери, ссудила ей скрипку Страдивари потому, что та без толку хранилась в ее богатом доме со времен окончания Второй мировой войны. Оба уникальных инструмента приобрел по случаю ее дед — известный академик, лауреат Сталинской премии. Вложил деньги.

Видимо, там, в Америке, объявились другая музыкантша, по каким-то причинам более устраивающая начальницу, которая вместе со своими товарками всегда давала понять Лиде, что и скрипку ей дали и держат в коллективе из милости.

...Как это ни обидно, искусство, в частности музыка, классическая, высокая музыка, не всегда управляет человеческие души. Ведь квартет на своих концертах исполнял произведения Бетховена, Моцарта...

То ли благодаря нашим с Витеем молитвам, а может, и без них Бог счел нужным вмешаться в судьбу Лиды. Через год произошел целый ряд чудес: Лида вышла замуж, какая-то церковная община в складчину приобрела ей вполне приличную скрипку, она получила работу преподавателя в местной





консерватории; иногда играет на торжественных богослужениях в церкви...

Встречаясь на улицах американского города или пересекаясь в концертных залах, бывшие подруги с ней не раскланиваются.

Время от времени она звонит Вите, который продолжает опекать ее стареньką маму, не желающую ехать к дочери в непонятную и далекую Америку. Лида регулярно переводит ей деньги вдобавок к старушечьей пенсии.

Как будто все стабилизировалось.

Но вот что произошло за последнее время с Витей.

Продолжая работать в своем оркестре, он все копит на автомобиль. Не брезгует подработкой. В свободные от концертов вечера играет «Очи черные» и другие чувствительные мелодии в маленьком кафе. Ходит со своей скрипичкой между столиков с немногочисленными посетителями, ждет чтобы ему засунули в нагрудный карман какую-нибудь денежку.

В конце этой осени Витю и еще двух музыкантов из его оркестра попросили выступить за плату на каком-то вечернем приеме в посольстве Германии. Они взяли такси, уложили туда инструменты, плюшки, ноты и поехали. Выступили. На обратном пути остановили частника, снова погрузились, стали разъезжаться по домам. Первым завезли флейтиста. Затем подъехали к дому, где живет виолончелист. Тот потащил в квартиру плюшки с нотами, а Витя понес его тяжелую виолончель. Когда он вышел из подъезда, машины на месте не было. А там оставалась его скрипка!

Ни заявления в милицию, ни объявления в газетах, ни беготня по антикварным музыкальным магазинам в надежде увидеть пропажу — все это, конечно, оказалось пустым, безнадежным делом.

Так он остался без инструмента, обеспечивающего ему хлеб насущный.





В конце концов, на глазах постаревшему Вите ничего другого не осталось, как расстаться с мечтой об иномарке и купить в реставрационной мастерской дешевую, но тем не менее неплохую скрипичку. А на оставшиеся деньги — сильно подержанный «Запорожец».

Наступил декабрь.

Теперь уже не Лида, а он, предварительно не предупредив, ввалился ко мне со скрипкой в футляре. Руки и лицо его были в крови, пальто грязное, одна из штанин разодрана.

— Не пугайся, — проговорил Витя. — Есть йод?

— На тебя напали? Хотели отнять скрипку?

— Будешь смеяться, — сказал он, кривясь от боли. — Я попал под собственный автомобиль.

И пока я обрабатывал перекисью водорода его раны и кровоподтеки, накладывал повязки, Витя поведал о том, что случилось с ним несколько часов назад.

После того как закончилась репетиция оркестра, он поехал на своем «Запорожце» навестить маму Лиды, которая живет на окраине Москвы у кольцевой автодороги. Там есть крутой взгорок перед перекрестком улиц, где установлен светофор. Ночью выпал снег. Днем подтаяло. Он ехал по скользкому, рыхлому насту и думал о том, что каждый музыкант волнуется о своем инструменте, боится его утерять, и как это получилось — Лиде и ему выпало лишиться прекрасных скрипок... Что хочет сказать этим Бог?

Светофор наверху подъема загорелся красным светом. Витя остановил машину вслед за остановившимся впереди грузовиком. Как положено, дернул на себя рычаг ручного тормоза.

Но «Запорожец» потянуло назад. Ручник оказался неисправен. Растревявшись Витя оглянулся. Сзади транспорта пока не было. Он выскоцил из скатывающейся машины, успел



обогнуть, уперся руками сзади, чтобы удержать. Но поскользнулся, упал. Задние колеса «Запорожца» ударили по нему, проехали поверху. Так Витя оказался под собственной остановившейся автомашиной.

Подъехавшие сзади водители помогли ему выбраться, развернуть автомобиль в обратном направлении. И он, стараясь унять дрожь в руках, поехал ко мне.

Руки его продолжали дрожать.





Однажды в Тунисе

Чем дольше он ждал здесь, за маленьким шатким столиком у наружной стены кофейни, тем сильнее ощущал овладевающее им непонятное смятение.

Особенно после того, как эти двое, пожилой и помоложе, вышли из переполненного заведения, держа в одной руке по стаканчику с какой-то черной жидкостью, в другой — по белому стульчику из пластика. Мельком глянули на тесно уставленный столиками тротуар, за которыми тоже почти не было свободных мест, глянули на него, одиноко попивающего кофе из белой чашки. Подсели.

Было начало пятого. Жара и не думала спадать. Хотя солнце передвинулось, освещало уже противоположную сторону забитой грузовиками и такси улочки, а не ту, где он томился в тени среди прибоя клокочущей арабской речи.

Он зачем-то решил напомнить себе, что он счастлив. С молодой женой и чудесной четырехлетней дочкой. Осуществилась затаенная с детства мечта — Африка. И самое главное — дожил до первого года третьего тысячелетия. С ума сойти, если вспомнить, сколько раз мог погибнуть в том сумасшедшем двадцатом веке, как погибли, поумирали многие из тех, кого он когда-то знал... Кажется, все конфликты, все войны затухают. Так или иначе, границы стираются, народы смешиваются по всему земному шару. Что-то доведется увидеть, застать, если Бог подарит еще хоть немного жизни?

Кофе кончился. Неизвестно, сколько еще нужно было ждать. Он пожалел о том, что не может принести себе еще





кофе – не взял у жены ни динара, пообещал никуда не уходить с этого места. Она и дочка могли появиться с минуты на минуту. А могли и через час. А то и через два. Кто его знает, сколько провозится в этот раз дантист?

Пожилой араб в выгоревшей феске и с какими-то пыльными усами прервал разговор со своим более молодым собеседником, тронул за руку, о чем-то спросил.

– Не понимаю, – ответил он по-английски.

Тогда тот откинул полу тонкого халата, столь же пыльного цвета, вытащил из кармана колоду затрепанных карт.

– Белот, – сказал он, явно предлагая присоединиться к игре. И повторил: – Белот.

– Нет. Благодарю.

И они принялись играть вдвоем.

Вообще говоря, он был азартен и с удовольствием перекинулся бы сейчас в карты, чтобы скоротать время. Но, во-первых, он не умел играть в белот и знал название этой игры только из старых французских романов. А во-вторых, почти неуловимый запах опасности исходил от этих двоих, от этой кофейни, откуда, несмотря на грохот транспорта, слышался стук костяшек домино, чьи-то выкрики.

«Будний день, еще рабочее время не кончилось, – думал он. – Никто не работает. Впрочем, понятно – безработица. Бывшая французская колония...»

По тротуару мимо галдящих столиков нескончаемым потоком текло шествие: иссохшие старцы в халатах, с четками в руках, толстые женщины в пестрых платьях, накрытые белыми покрывалами. Иная, придерживая рукой, несла на голове узел с каким-то добром; иная несла себя среди стайки цепляющихся за ее одежду детишек мал-мала меньше. Фланировали туда-сюда продавцы лотерейных билетов, живых кур со связанными лапками.





Босоногий подросток выскочил из кофейни, скрылся в толпе. И вот уже бежит обратно с похожим на саксофон дымящимся кальяном.

—Американ?—вопросил вдруг человек в феске.

—Но.

—Инглез? Испаньоль? Френч?

—Дойч?—вмешался второй араб, тася карточную колоду. На одном из его пальцев мелькал перстень.

—Россия, Москва,—сказал правду и поймал себя на том, что хочет отвязаться от людей, которые ничего плохого ему не сделали, чье любопытство здесь, в захолустном городке, где, видимо, иностранцы редкость, вполне обоснованно.

—Мистер, где ты тут живешь?—назойливо спросил человек с перстнем.

—Отель «Абу наваз Монастир»,—зачем-то опять сказал правду.

Человек с перстнем отложил свои карты тыльной стороны вверх, поднялся и, отойдя в сторону, вынул из бокового кармана пиджака мобильный телефон.

«Вздумал позвонить по своим делам. Или какой-нибудь агент тайной полиции...»—ощущение опасности нарастало.

Они снова сражались в карты, а он, не имея возможности уйти, заставил себя думать о том, как добр и отзывчив здешний народ.

Хотя бы молчаливая Айша, ежедневно, пока они были на пляже, убирающая их номер в приморском отеле; или курчавый садовник, ежеутренне с трогательной тщательностью поливающий из шланга землю под каждым растением в роскошном парке.

Или тот же Али—одинокий охранник расположенного у отеля вечно пустующего магазинчика кожаных изделий. Когда неделю назад у жены сломался «мостик», немедленно созвонился с практикующим в этом городке врачом-дентистом, объяснил им, как доехать, вызвал такси.



И вот теперь жена с дочкой третий, последний раз находились там, в зубоврачебном кабинете за несколько кварталов отсюда, а он их ждал в условленном месте.

Конечно, нужно было бы пойти навстречу жене и дочке, но те, возвращаясь, могли отклониться куда-нибудь в сторону за мороженым или затеряться на базарчике, возле которого прямо на тротуаре рядом с бесхитростными сувенирами продавали кроликов в проволочных клетках, гирлянды тех же кур со связанными лапками. Еще не хватало разминуться.

—А вы кто? — спросил он по-английски пыльного старца в феске.

—Профессоре, — неожиданно ответил он по-итальянски. — Преподаю арифметику в школе.

—А вы?

Вместо ответа человек с перстнем указал на резко тормознувший у бровки тротуара допотопный «вольксваген», откуда выскочил здоровяк в ядовито-зеленом тренировочном костюме.

—Халед! Я есть Халед! Говорю по-русски! Тур по городу! Все покажем!

—Спасибо. Не могу.

Сорвали со стула, больно подхватили с двух сторон, поволокли к раскрытой дверце автомобиля. Ни одного полицейского не было видно ни слева, ни справа. Но тут вдалеке заметил сквозь движущийся поток прохожих родные лица жены и дочери, евшей мороженое.

Страх за дочку придал силы. Ринулся к ним, вырвался, добежал.

Через несколько минут, уже в такси, выезжающем из города на шоссе, оглянулся. «Фольксваген» сзади вроде не было.

—Смотри, как мне замечательно сделали зубы. Отдала наши последние деньги, — сказала жена. — А ты как провел время с этими бездельниками?

—Чудесно. Чудесно провел время.





Тупик

Я был взбешен.

Сидел дома в тишине и прохладе, работал. Вдруг позвонила со службы жена. Срочно, ко второй половине дня нужна справка, заверенная в нотариальной конторе.

Неважно, какая. Сейчас не об этом речь.

Вторую неделю в Москве африканская жарища. На солнце под 50 градусов.

Топаю в нотариальную контору. Где-то поблизости, на соседней улице была такая вывеска.

Нет такой вывески! Вместо нее теперь «Юридическая консультация». Там милая секретарша объясняет: нотариальную контору я могу найти всего в двух автобусных остановках отсюда.

Еду в набитом пассажирами потном автобусе.

Да, вот она, «Нотариальная контора». Яростно дергаю за ручку запертой двери, пока не замечаю объявление: «Закрыто. Нотариус в отпуске».

Растерянно спрашиваю у прохожих, где мне найти другую такую же контору.

И тут на мое счастье приостанавливается разговорчивая пожилая женщина, указывает в сторону уходящей направо ближайшей улицы, объясняет:

— Пройдете по ней почти до конца. Второй или третий переулок направо. Сама там недавно была, оформляла документ на поездку внучки за границу. Близко! Успеете до перерыва.





Послушно топаю мертвой, вымершой от жары улицей.
Первый час дня. Действительно, могу вlipнуть в обеденный
перерыв. И вообще, чего доброго, там может быть очередь.

Прошел уже мимо первого переулка направо.
...И прохожий не пройдет, и машина не проедет. Не у кого
переспросить: а туда ли иду?

Улице нет конца. И переулков больше не видно. Ни направо,
ни налево.

Вот ведь как бывает: чувствуешь, что не туда идешь, и все-
таки продолжаешь переть по ложному пути.

Чахлые, с пережаренным солнцем листвой тополя у облу-
пленных пятиэтажек. Ни детей, ни собак. Ни старушек на за-
валинках.

Как в дурном сне... Словно оказался не в Москве, не в моем
родном городе. Вот уже, кажется, виден конец проклятой ули-
цы.

Громадная мусорная свалка над переполненными мусорны-
ми баками, тянет вонью.

Чуть не до слез жалко себя. Стою в этом пекле, не в силах
ни повернуть назад, ни пройти вперед, узнать — что там, за
этими Гималаями нечистот.

И тут я заметил какое-то движение.

Из-за баков вынырнула фигурка подростка, выкатывающе-
го впереди себя железную тележку с картонной тарой.

— Эй! — крикнул я, направляясь навстречу. — Случайно не зна-
ешь, где тут поблизости нотариальная контора?

Вопрос был заведомо глупый.

Фигурка замерла. И вдруг кинулась бежать, оставив те-
лежку.

— Эй, остановись! В чем дело?

Абсурдность ситуации вконец обозлила меня. Я кинулся
вслед и с неожиданной легкостью нагнал поскользнувшуюся





на какой-то дряни фигурку. Схватил за ворот пропотевшей ковбойки, вздернул — и увидел перед собой глубокого старика, перепуганного, с трясущимися руками, с сочащимся кровоподтеком на виске.

— Извините, — пристал я к нему с тупостью, объяснимой разве что жарой и моим отчаянием. — Вы случайно не знаете, есть ли поблизости нотариальная контора? И что там, за этой мусорной свалкой?

— Не знаю. Там рельсы.

— Какие рельсы? Откуда рельсы? Там что, железная дорога?

— Не знаю. — Его прямо-таки тряслось от страха. — Я два месяца в Москве. Ничего не знаю.

— Вы кто? Почему вы боитесь меня?

— Отпустите.

— Да я не держу вас. В чем дело? У вас на виске рана.

— Били в милиции. В «обезьяннике».

— За что? — Вышел в город. Нет документов.

— Кто бил? Милиционеры?

— Нет. Говорю — в «обезьяннике». Сутки держали в железной клетке с ворами и наркоманами. Узнали — из Грозного. Чуть не убили.

— Так вы — чеченец?

— Русский. Василий Спиридонович.

— Василий Спиридонович, вам, наверное, нужно в больницу. На перевязку.

— Нет! Опять заберут. За меня взятку дали, чтоб выпустили. В милиции сказали: еще попадешься — убьют.

— Как же так? Сколько вам лет?

— Сорок два.

— Вам?! Сорок два?

— В Чечне всех убили. Жена. Четверо детей. Всех.

— Кто? Русские?





—Жену и старшего сына — боевики. Других — солдаты из России... Отпустите!

—Василий Спиридонович, может быть, поедем ко мне, победаляем, обработаем рану? Кем вы были до этой войны?

—Учитель. Русский язык и литература. Так вы меня отпустите?

Забыв, зачем я здесь среди этого вонючего пекла, забыв обо всем, я стоял и смотрел, как он трусцой подбегает к своей тележке, суетливо подправляет сваливающиеся на сторону картонные ящики и скрывается от меня, как от проказы, за углом последней пятиэтажки.





Хызыр

Рослый молодой турок, которого привела Маша, сидел у меня дома, в московской кухне, пил кофе, рассказывал наперебой с Машей на чистейшем русском языке об их неожиданной затеи. Я испытывал нарастающее чувство острой зависти.

Еще бы! Этот парень был жителем Стамбула, его юность овеяли ветры Средиземного и Черного моря, перед его глазами колыхались на мачтах флаги всех кораблей мира. Он вдыхал ароматы растущих на улицах и во дворах шелковиц, гранатовых и апельсиновых деревьев, пряные запахи гигантского крытого Куверт-базара, вмещающего под своими сумрачными сводами свыше ста торговых уличек и закоулков; слышал гортанные крики водоносов, призывное пение муэдзинов с высоких минаретов, удил барабульку и кефаль на берегу Босфора. А сзади в кофейнях и ресторанчиках набережной позвякивали кофейные чашечки, турки курили кальян, играли в нарды. Сквозь звуки музыки слышалась арабская, английская, немецкая, французская, испанская речь...

Мне довелось лишь недавно прикоснуться к этому неповторимому миру. Десять майских дней, выходя поутру из не-приметного, основанного в 1892 году «Лондра отеля» с его сидящими в клетках попугаями, коллекцией допотопных радиоприемников у стойки портье, я ощущал в груди трепет влюблённости.

Ни знаменитая Айя-София, ни Голубая мечеть не поразили меня так, как сам этот город на коричневых холмах с его вековыми деревьями, пристанями вдоль синей ленты Босфора,



вздернутыми над сиренами лоцманских буксиров, гудками кораблей мостами, соединяющими Европу и Азию.

Эх, провести бы здесь школьные годы, молодость!

Сразу бросилось в глаза, что Хызыр плоть от плоти Истамбула-Константинополя. Мужественный человек со свободными жестами, открытой улыбкой. Одень его в соответствующую форму, и он был бы идеальным воплощением Капитана, покорителя морей.

Недавно Маша вышла за него замуж. Окончательно переехать к Хызыру в Стамбул она не могла, потому что здесь, в Москве, жили ее старые и больные родители. Приходилось периодически летать на неделю-другую друг к другу.

Все началось с так называемого курортного романа. Маша поехала отдохнуть в Турцию, в Анталию. Как-то утром, опасливо обойдя компанию псов, сидящих у открытой двери магазинчика по продаже джинсовой одежды, зашла внутрь. Ни продавца, ни покупателей. Только хотела выйти, как посреди пола откинулась крышка люка и оттуда сначала выросла голова, а потом и весь прекрасный человек. О котором можно только мечтать...

Оказалось, Хызыр вместе с местным приятелем на лето, на весь туристский сезон, открыл здесь торговую точку. Спал он в подвале.

— Откуда ты так хорошо знаешь русский? — спросил я.

И услышал неожиданную историю. Хызыр только выглядел молодым парнем, на самом деле ему шел сорок третий год. Он был самым младшим из своих девяти братьев и сестер. Малограмотная мать и отец-сапожник души в нем не чаяли, и после школы ему, единственному среди всех детей, были созданы условия, чтобы он мог учиться в университете. Хызыр поступил на факультет, где изучали Россию, Советский Союз.





Так он попал в среду студентов, больше всего интересующуюся политикой и футболом. Уже на втором курсе стал членом фундаменталистской партии «Серые волки», не брезговавшей убийствами политических противников.

Как это получилось, что Хызыр спутался с «Серыми волками», теперь мне уже не узнать.

К окончанию университета он стал начальником отделения партии одного из центральных районов Стамбула. Так сказать, секретарем райкома. Большая карьера для турецкого парня из бедной семьи.

«Серые волки» состояли в оппозиции к правительству. Часто приходилось переходить на нелегальное положение, устраивать теракты.

Участвовал ли Хызыр в осуществлении убийств и терактов, чего добивались эти самые «серые волки», он объяснить мне не захотел.

Сказал лишь, что вырваться из этой зловещей организации ему помогло одно ведомство, предложившее свою защиту от бывших сотоварищей в обмен на согласие под различными благовидными предлогами время от времени посещать СССР, привозить оттуда кое-какую информацию...

Хызыр стал шпионом.

Побывал и в Москве и в Свердловске, и во Владивостоке, и в Ленинграде. Со своей располагающей к контактам внешностью легко знакомился с людьми.

Но тут грянула перестройка. Советский Союз распался. Большинство тайн рассекретилось. Эпохе «холодной войны» пришел конец.

Во всяком случае надобность в таком человеке, как Хызыр, отпала. И он со своим университетским дипломом специалиста по СССР оказался без работы.

Торговля джинсовой одеждой в курортном городке Кемер дохода почти не приносила. Растрачивал последние деньги



на прокорм бродячих собак. Давно пора было оstepениться, обрести собственное жилье, постоянную работу.

—Вы знаете, мою жизнь спасла Маша,—сказал Хызыр и так белозубо улыбнулся, с такой нежностью погладил ее по белокурой голове, что стало ясно: это у них навсегда.

Пристрастие Хызыра к собакам натолкнуло Машу на счастливую мысль.

Турция быстро европеизируется. В Стамбуле вырастают современные отели, супермаркеты. Город переживает эпоху бурного строительства. У населения возникают новые потребности, новый уклад жизни. В том числе желание иметь в семье верного друга, собаку.

Для начала Маша привезла из Москвы несколько породистых щенков. Они были раскуплены мгновенно. Этот бизнес оказался в Стамбуле вне конкуренции.

Хызыру удалось взять кредит в банке под небольшой процент, приобрести недорого заброшенный пустырь в северной части города рядом с трассой, ведущей к черноморским пляжам. Сам огородил пустырь проволочной сеткой, построил крытые вольеры для собак, кухоньку с газовой плитой для приготовления им пищи. Потом с помощью нанятого им Павло—добродушного эмигранта с Украины, подобранныго умирающим от голода и безденежья возле Куверт-базара, возвел там же домишко из четырех комнат. Одна под контору, две для себя с Машей, четвертая—для Павло.

И вот теперь он вместе с Машей прибыл в Москву для очередной закупки породистых собак.

Вообще-то, ненадежным показался мне этот их бизнес, претила торговля живым товаром. Но что я понимаю в подобных делах? Тем более, было очевидно: Хызыр и Маша любят зверье, никогда не обидают.

А тут еще, прощаясь, Хызыр сказал:





— К весне построим настоящий дом рядом с питомником, подальше от шумной трассы. Приезжайте в Стамбул хоть на все лето, вас будет ждать своя комната. Хорошо?

Все во мне встрепенулось от счастья.

Дело у них пошло. Каждый раз, возвращаясь в Москву, Маша звонила мне, докладывала, что Хызыр увлекся дрессировкой собак, создал для них на территории целый учебный полигон. Что она развернула в газетах рекламную кампанию. Хотя стамбульцы, проезжая по шоссе мимо сетчатой ограды, и так видят — в городе появился питомник, и это само по себе является рекламой. Собираются нанять бригаду рабочих для строительства большого дома. Украинец Павло оказался парнем с золотыми руками, помогает во всем.

Мне-то как раз не понравилось, что все видят сквозь ограду, как Хызыр дрессирует собак. Сам не знаю, почему.

Весной Маша забежала с подарками от Хызыра: большой банкой каштанового меда, переложенного орехами, турецким лимонным одеколоном, вытканым золотыми нитями платком для моей жены. Похвасталась, что купили автомобиль «Мазда».

А еще через пять дней, рано утром, позвонила из аэропорта Шереметьево. Я едва узнал ее голос.

— Убит Хызыр, — послышалось сквозь судороги рыданий, — ночью звонил Павло. Сказал — убит.

Она улетела в Стамбул.

Оглушенный новостью, я оставался в неведении до того дня, пока Маша вновь не появилась в Москве.

Пришла ко мне. Прежде всего выложила на стол какую-то видеокассету.

— Грабители? — спросил я, вставляя кассету в видеомагнитофон, — покусились на деньги?

Она отрицательно покачала головой. Сидела с поджатыми ногами на диване, дрожала. Я подал ей плед.





...На экране возникла комната со столом у окна. На столе аккуратными стопками лежали конторские книги, фотографии умных собачьих морд. Валялся исписанный лист бумаги.

—Составлял список Павло для закупки провизии собакам,—сказала Маша.—Зарубили. Колуном.

И тут я увидел Хызыра, лежащего боком на полу. Под головой была лужа крови.

Я перевел дыхание и лишь в этот момент осознал, что видеокамера донесла и звук—со двора, очевидно, из вольеров, доносился жуткий собачий вой...

Подробно, не спеша, был снят прислоненный к стулу котун, брызги крови на стенах.

—Полиция снимала? Следователи?

—Павло нашел кассету на столе сразу после убийства.

—Видеокамера ваша? Кто все-таки снимал?

—Нет у нас видеокамеры. Не знаю, кто и зачем снимал. Павло в тюрьме. Подозрениепало на него, больше не на кого. Плачет. Я его видела. Жалеет Хызыра.

—Машенька, а как ты думаешь, кто это сделал?

—Не знаю. У него не было врагов. Разве могли быть враги у такого человека?

Я промолчал.

Тысячи людей ежедневно ездили мимо сквозной ограды птичника, видели Хызыра, дрессирующего собак. И среди всех, кто его заметил, несомненно, были и те, кто не прощает отступничества. «Серые волки». Оставили кассету в назидание.

Впрочем, это только моя версия.





Монтажная фраза

Более благополучные коллеги в глаза называли его гением. Гурген с подозрением выслушивал их. Он и без этой публики знал себе цену. «Делают комплименты, чтобы успокоить свою совесть», — говорил он мне впоследствии.

Мы познакомились, после того как однажды в просмотром зальчике Высших режиссерских курсов нам, слушателям, показали три запрещенных к прокату фильма неведомого кинорежиссера.

Формально это были документальные ленты. Вернее, художественные, но без актеров. Я не в состоянии ни определить их жанр, ни пересказать. Как можно пересказать, например, походку Чаплина или улыбку Джульетты Мазины? Настоящее кино — и все.

Снятые без дикторского текста, без всяких выкрутасов кадры, казалось бы, обыкновенной жизни людей, животных, растений, гор, облаков обнажали неуловимую, но ослепительно явственную тайну бытия.

«А он ловец неуловимого, — думал я, выйдя на улицу после просмотра. — Что снилось нам, забылось за день...»

Так выговорились, получились стихи, которые мне удалось через третью руки передать автору фильмов.

Через неделю-другую он пришел в гости.

Сухощавый человек лет сорока, одетый в черный пиджак из кожзаменителя, стоял передо мной с недоверчивой улыбкой.

Я усадил его. Кинулся к секретеру, где, по счастью, имелась кое-какая выпивка.

— Что будем пить? Разведенный спирт или коньяк?





— Какой коньяк?

— Кажется, армянский.

— Тогда будем.

...Не знаю, как для читателя этих строк, а для меня всегда остается мучительной загадкой, отчего так устроено в жизни, что, чем стремительнее ты сближаешься с человеком, чем безогляднее распахиваешься навстречу ему, тем скоротечнее проходит это время дружбы, тем больнее, когда все кончается и ты со всей своей искренностью остаешься, словно выпущенный...

Странно, в тот раз я предвидел такой исход. И все же не смог противостоять своей натуре.

Недоверчивость Гургена быстро растаяла. Он оценил то, как верно я понял его картины. И хотя в отличие от киношной братии, не заявляю в глаза, что он гений, вполне осознаю, кто меня посетил.

Он поделился мечтой — снять в Иерусалиме фильм о Голгофе, крестном пути Христа.

— Верующий? — радостно спросил я.

— Знаком с нашим армянским католикосом, — неопределенно ответил Гурген. — Бывал в Эчмиадзине.

Пока что он приступал к монтажу подобранных им из наших и американских хроник кадров о запусках космических аппаратов, о попытках проникновения в тайны Вселенной.

— Подсунули эту малость, чтобы откупиться от собственной совести, — не уставал повторять он. — Приходится зарабатывать. Жена, двое детей. Что ты скажешь?

Что я мог сказать, сам, в сущности, нищий? Роман, который я писал семь лет, не печатали. Зато я был один. Отвечал только сам за себя. Спирт и порой коньяк подносили друзья.

Он стал приходить ко мне. Все чаще и чаще. Сунет в руки пакетик с колбасой или сосисками и с порога кидается к се-





кремеру. Дергает ключ, на который он запирается, зная, что внутри может таиться выпивка.

Как-то сам принес бутылку все того же родного ему армянского коньяка.

При всем том Гурген отнюдь не был алкоголиком. Пил немного, только бы снять напряжение. Ему нужно было выговориться. Без конца, так и этак растолковывал мне замысел фильма о Голгофе, советовался. Уносил с собой какую-нибудь из книг с моих книжных полок.

Я мало что понимал из его сбивчивых объяснений. Иногда казалось, что этот человек бредит. Но ведь и готовые фильмы Гургена невозможно пересказать.

Как-то позвонил, позвал к себе домой на обед.

Я не ожидал столь торжественного приема. Вокруг уже накрытого стола колдовала жена моего нового друга—полная, несколько усталая Ашхен и две их девочки-школьницы, очень воспитанные, милые.

— Садись,— сказал Гурген.— Через проводника получили посылку от родственников из Еревана.

Стол был украшен разнообразными армянскими травками, тонко нарезанным белым пастушьим сыром, колбасой-суджук.... Вскоре Ашхен внесла большое блюдо с дымящимися голубцами в виноградных листьях.

«Наверное, нелегко быть женой такого человека»,— подумал я, глядя на ее усталое лицо. Она выглядела старше Гургена.

Он уловил мой взгляд.

— Скоро уезжаем отдыхать. Родственники оставляют на август ключи от своей квартиры в Ереване. Что ты скажешь?

— Скажу—хорошо,— благородно откликнулся я.

Если бы я знал, если бы только знал... Пока он готовил на кухне кофе по какому-то особому рецепту, Ашхен поделилась своей тревогой:



— Вы знаете, боюсь, мы не поедем. Иногда из милости ему дают работу, и ни разу Гурген не укладывался в сроки. Несмотря на бесконечные пролонгации, увязает на стадии монтажа.

— Что ж, победителя не судят.

— Вы так думаете? Вправду так думаете?

Он вошел с медной джезвой, от которой вместе с дымком исходил чудный аромат. Подозрительно глянул на нас.

— Беспокоится? — саркастическая улыбка скривила его тонкие губы. — Ашхен, иди с девочками в другую комнату. Нам нужно поговорить.

И он опять завел речь о Голгофе, о том, что потенциально в кресте скрывается свастика, а в свастике — крест.

Было неприятно слышать эти его слова, но я промолчал.

— Мне никогда не дадут до конца сделать этот фильм, — язвительная улыбка снова появилась на его губах.

— Пей кофе. Расскажи, а как твои дела?

Мы были знакомы несколько месяцев, и вот он впервые заговорил не о себе. Тронутый вниманием, я многим тогда с ним поделился.

Прошло несколько дней. Жарким августовским утром он позвонил с неожиданной просьбой:

— Ты мне друг? Можешь бросить все дела, приехать ко мне в монтажную на Шаболовку? Пропуск тебе уже выписан. Встречу у проходной. С утра бьюсь над монтажной фразой. Не складывается, не могу решиться ни на один вариант. Что ты скажешь? Можешь помочь?

— Не знаю. Приеду.

Это было смешно — ехать помогать в монтаже гению монтажа. Но я был польщен.

Гурген встретил у проходной. Дошли до невысокого корпучего. Ввел в одну из комнаток, подставил второй стул к монтажному столу, усадил рядом с собой.





—Смотри!—он достал из круглой жестяной коробки три рулетчика кинопленки, нетерпеливо вставил один в аппарат.—Что ты скажешь?

На экранчике появился космонавт, беспомощно плавающий в невесомости рядом с парящей над Землей космической станцией.

Потом зарядил вторую пленку. Я увидел багровый диск солнца, с краев которого грозными космами срывались протуберанцы.

Последним продемонстрировал кадр, где был запечатлен только что рожденный младенец.

—Что ты скажешь? Монтажная фраза. Всего из трех кадров. Все вместе длится меньше минуты. С утра бываю, не могу найти точной последовательности,—он склеил скотчем все три кусочка, зарядил в аппарат.—Смотри.

...Барахтался в невесомости космонавт, пульсировало протуберанцами солнце, беспомощно барахталось человеческое дитя.

—Гурген, все ясно. Мысль твоя понятна. Что тебе еще нужно?

—Погоди. Теперь попробуем все наоборот, в другой последовательности.—Он разнял фрагменты, склеил их заново.

Ребенок. Солнце. Космонавт... У меня начало рябить в глазах.

—Что скажешь? Есть еще вариант,—он все заново разъял, заново склеил.

Солнце. Космонавт. Малыш...

—Гурген, зачем без конца склеиваешь-переклеиваешь, теряешь время? Ты же знаешь содержание этих кадров,—я оторвал полоску бумаги из лежавшего на столе блокнота, разделил ее на три части, написал авторучкой: «космонавт», «солнце», «ребенок».—Перекладывай их, как хочешь. А можно и просто в уме.





—Ты это серьезно?—он подозрительно взглянул на меня.—Ладно! Выйдем на минуту, покурим. Через три часа отберут монтажную: придет другой режиссер со своим фильмом.

Мы спустились к выходу во двор, где стоила урна. Первым делом он выкинул в нее три мои бумажки. Протянул сигареты.

—Монтажная фраза кровью дается...

Я понял, что обидел его. И вдруг показалось—сообразил, в чем дело, в чем его затруднение.

—Видишь ли, Гурген, дорогой, в твоей монтажной фразе, как мне показалось, есть лишний кадр—ребенок. Это придает всему слишком очевидный, а значит, пошлый смысл. Вот что тебя подсознательно мучит. Так мне кажется.

—Ты считаешь?—он затоптал окурок.—Знаешь что? Иди домой. Сам разберусь. Иди-иди.

...Я сделался сам не свой. Клял себя за то, что полез со своими советами.

Через несколько дней он позвонил.

—Ты оказался прав. Только сегодня все встало на место. Сначала космонавт. Потом солнце... Завтра всей семьей уезжаем в Ереван.

—Ну, слава Богу! Завидую тебе.

А еще через две недели ночью в моей квартире раздался телефонный звонок.

—Это Ашхен говорит, Ашхен, жена вашего друга,—она рыдала.—Позавчера утром нашла его в луже крови. Лежал на диване с перерезанными венами. На обеих руках.

—Жив?!

—В больнице. Врач говорит—спасут. Но мы с девочками не знаем, что с ним, боимся. Он вдруг стал запирать меня на весь день, не давал на базар пойти, в магазин. Запрещает подойти к окну.





— Почему?

— Ревность. Не ревновал, когда была молодая, красивая. Врачи говорят — заживут вены, нужно будет лечиться от депрессии, от какой-то мании. Девочки рядом стоят, плачут.

— Когда опять будете в больнице?

— Каждый день ходим, продукты носим. Ничего не ест.

— Поклонитесь ему от меня.

«Затравленный человек, перенапряжение. Что-то подобное должно было случиться», — думал я в сигаретном дыму.

Ужасно, но мне было не трудно представить себе Гургена с перерезанными запястьями. Оставаться наедине с этой новостью, чувствовать свое бессилие становилось все невыносимей.

Утром поехал в церковь. Встал перед алтарем, молился о друге.

Я пропадал в безвестности, жалел, что вспыхах не сообразил взять у Ашхен номер ереванского телефона.

Она позвонила только в начале сентября.

— Извините. Мы в Москве. Девочкам пора было в школу. Гурген тоже тут. В психиатрической больнице. В Кащенко. Сегодня еду туда. Если бы вы смогли... Его никто не навещает. Запретил кому-либо говорить...

По дороге я купил яблоки, сливы, виноград. Пакет фруктов.

Встретился у ворот больницы с Ашхен.

— Идите к нему сами, один. Иначе он что-нибудь подумает... — она объяснила, как найти корпус, палату. — А я пойду после вас, через некоторое время.

Торопливо шел по больничным аллеям со своим пакетом. Думал о том, насколько стал дорог мне этот человек.

В корпусе у меня проверили содержимое пакета, провели в отделение. Санитар отпер железнодорожным ключом





какую-то комнату с двумя стульями, велел ждать, запер меня и вышел в другую дверь.

Вскоре оттуда появился Гурген. На первый взгляд, все такой же, все в том же черном пиджаке из кожзаменителя.

Я кинулся было к нему. Он отстранил меня властным жестом.

— Не сам пришел? Ашхен привела?

— Но я не знал где ты, что ты... — приглядевшись, можно было заметить и шрамы на запястьях, и то, как он изможден.

— Я — хорошо. Ты как?

— Не важно. Скажи лучше, что с фильмом? — неосторожно спросил я и пожалел о том, что спросил.

— Разве не знаешь, не успел тогда домонтировать, озвучить, — ярость загорелась в его глазах. — Смотри, за нами подглядывают!

И вправду, за прорезанным в двери окошечком виднелась голова санитара.

— Принес тебе немного фруктов. Возьми.

— Привез бы лучше план Иерусалима! Набрасываю тут сценарий фильма о Голгофе. — Он все же взял пакет, не попрощавшись, направился к двери.

...Как большинство талантливых людей, Гурген и до болезни был эгоцентричен, думал только о себе, о своих проблемах. Остальное говорилось из вежливости. В его положении все можно было ему простить, но после этого посещения в душе осела горечь.

Не скоро удалось раздобыть большую карту древнего Иерусалима, передать Ашхен. Она рассказала, что Гургена выписали из больницы.

Он мне не звонил. Я ему тоже.

Финал всей этой истории наступил во время перестройки.

Публиковались лежавшие под спудом книги. Вышел в свет





и мой роман. Снимались с полок, выходили в прокат ранее запрещенные кинофильмы.

—Здравствуйте! Извините, это Ашхен! — голос в телефонной трубке был счастливый, радостный. — Сегодня вечером в Доме кино ретроспектива фильмов Гургена! Придете? Приходите! Он будет встречать всех своих у входа.

Я, конечно, пришел. В вестибюле, окруженный людьми, стоял Гурген. В коричневой куртке из настоящей кожи, вельветовых джинсах.

—А! И ты появился. Зачем? Ты же знаешь все мои фильмы. Зачем пришел? Ашхен позвала?

—Не видел еще картины про космос.

—Ну, иди в зал. Увидишь. А я подумал — пришел ради банкета.

Впечатление от его прежних картин осталось прежним — ловец неуловимого. Фильм о покорении космоса показался слабее, чем предыдущие. Но тоже хорошим.

Барахтался в невесомости космонавт, вздымались протуберанцы над солнцем.

Я сидел среди зрителей, как забытый, выброшенный из монтажной фразы ребенок.

...Фильм о Голгофе Гурген так и не снял. Космическая станция «Мир» давно покончилась в пучине Тихого океана. Солнце пока что мечет свои протуберанцы.





Ночь

Лучистые медузы фонарей еще светились в темноте на вершине холма и ниже—над ущельями узких уочек. На одной из них смутно виднелся автомобиль, на котором я был сюда доставлен. Тусклый отблеск отражался от его крыши.

Несмотря на то, что шел только одиннадцатый час вечера, уочки были пусты. И только здесь, на возвышении, под большими платанами скверика в стеклянном баре перемещались тени нескольких посетителей, мерцал экран телевизора.

Я похаживал по брускатке вдоль низкой ограды сквера, нисколько не жалея о том, что остался тут совсем один. Тщаться в темноте по незнакомому городу в поисках каких-то археологических раскопок показалось мне диким, неинтересным занятием. Тем более, я и так был переполнен впечатлениями последних дней.

Ни один из моих четырех спутников не знал ни русского, ни английского языка. А я почти не владел итальянским. Поэтому предводитель нашей компании дон Джузеппе с трудом уразумел, что я не хочу на ночь глядя искать и осматривать эти самые раскопки. А уразумев, предложил подождать в машине или пойти в светящийся бар.

—О ’кей!—сказал я.—Не волнуйся.

Они неуверенно двинулись куда-то в темноту, свернули за темную громаду старинного костела. Некоторое время я еще слышал удаляющиеся отзвуки их голосов. Потом все стихло. И я почему-то вдруг вспомнил, что не захватил с собой в эту поездку паспорт.





На всякий случай решил согласно российскому опыту не заходить в бар, где были люди и куда могла, чего доброго, на-грянутъ полиция. Правда, моя одинокая фигура, торчащая у ограды, тоже могла привлечь внимание.

Смешно, но я не мог припомнить название города, где находился. За эти дни подобных городков с их длинными, не-привычными для моего уха средневековыми названиями было много. А я из-за неожиданности поездки не успел взять с собой ни блокнота, ни авторучки, не делал никаких записей.

Коротал время, удивляясь тому сцеплению обстоятельств, благодаря которым я оказался один где-то посередине итальянского «сапога».

...Дон Джузеппе—молодой, свежеиспеченный в семинарии священник, толстенький, коренастый, похожий на Наполеона Бонапарта, особенно когда скрещивал руки на груди, в раздумье стоя перед холодильником,—был знаком мне со времени прошлого приезда в Италию. Тогда я гостил здесь вместе с женой и дочкой у нашего давнего друга—настоятеля храма в провинциальном городке у Адриатического моря. Дон Джузеппе тоже жил при храме, стажировался.

Обреченный католическими установлениями на безбрачие, следовательно, на бездетность, этот малый был мил с моей крохотной дочуркой, и она доверчиво тянулась к нему. Он сам был ребенок, страдавший от своего стокилограммового веса, безуспешно морящий себя голодом. Весь день глушил аппетит несладким ледяным кофе из холодильника, и каждый вечер срывался. Виновато вращая огромными глазами, запихивал в рот булку с ломтем колбасы, сладкие пирожные... «Это мой крест»,—горестно шептал он, если его заставали во время обжорства.

Теперь, вновь прибыв в Италию, я поинтересовался: как поживает дон Джузеппе? И узнал, что тот через неделю полу-





чает собственный приход в соседнем городке на берегу моря. Позвонил ему, поздравил. На следующее утро он примчался за мной на машине и увез к себе, движимый желанием познакомить со своей мамой, своей тетей, со своим домом, где жили его дед, прадед — потомственные рыбаки, так или иначе нашедшие гибель в морской пучине.

Было чудесное осенне утро, теплое, солнечное, совсем не предвещавшее того, что в сентябре в Италии ближе к ночи может задувать такой прохладный ветер, какой обвевал меня сейчас, когда я в рубашке с короткими рукавами подмерзл рядом со сквериком. Огни в стеклянном баре погасли. Погасли и почти все фонари. Было уже без двадцати двенадцать. Вековые платаны сиротливо мели листьями звезды над головой.

Городок, где жил дон Джузеппе, был старинный. Дом тоже старинный, с замшелыми стенами. И мебель в жилище тоже очень старая — гардеробы, столы и кресла красного дерева, кушетки, многоэтажный резной буфет, за стеклянными дверцами которого красовалась антикварная посуда.

За то время, что мы не виделись, дон Джузеппе еще больше потолстел и еще сильнее стал схож с Бонапартом. Он провел меня в свою комнату с огромной кроватью под балдахином, массивным письменным столом, огороженным по краю деревянной решеточкой. Над столом висело большое распятие, а на столе в соседстве с телефоном и компьютером стояли изумительно выполненные из разноцветного воска аж в пятнадцатом веке фигурки двух ангелов — Михаила и Гавриила, накрытые для сохранности большими стеклянными колпаками.

Его мама встретила меня как родного. Тотчас начала угождать тортом собственного приготовления, сварила кофе, начала показывать бархатные альбомы с фотографиями своего





любимого сыночка: вот он в школе, вот на первом курсе духовной семинарии... Джузеппе уже тогда был не худенький.

Потом меня познакомили с тетей. Тетя почему-то сидела на полу в кухне, проворно манипулировала огромным куском теста — отрывала от него куски, раскатывала деревянной скалкой, нарезала ножом на узкие полоски. Джузеппе указал на таз, уже переполненный этими полосками, произнес: «Делает макароны для твоей жены. Возьмешь с собой в Москву».

Тронутый вниманием этой семьи, я нагнулся, поцеловал тетю в пахнущую лавандой голову. Поблагодарил. И наотрез отказался от подарка.

Я уже не первый раз сталкивался с тем, как здесь, в Италии, благожелательно относятся к незнакомцу. И уж совсем счастливым ощущил себя, когда дон Джузеппе объяснил мне, что вот сейчас, сегодня, на оставшиеся несколько дней до вступления в должность настоятеля, он уезжает вместе с тремя молодыми семинаристами в поездку по провинциальным городам, где ему обещали дать возможность служить мессу, совершать евхаристию. Он призывал и меня принять участие в этом путешествии.

Через полчаса появились семинаристы с рюкзачками за спиной.

Так неожиданно я отправился с ними.

Сейчас, околачиваясь у скверика, я поразился тому, как много нам удалось повидать за считанные дни. Дон Джузеппе и его молодые друзья тоже никогда раньше не были в этих, еще не открытых ордами туристов краях.

После того как мы на сумасшедшей скорости просвистали по многополосному шоссе километров сто пятьдесят на север вдоль Адриатического побережья, Джузеппе, сидевший за рулем своей ланчи, свернул круто на запад, и мы стали подниматься по узкой, петляющей трассе в сторону гор. Дорога





огибала отвесные скалы. Слева показались пропасти. Но этот Наполеончик почти не снижал скорости. Троє семинаристов на заднем сиденье машины притихли. Я тоже помалкивал. Глядел на все реже попадающиеся, прильнувшие к скалам полуразрушенные лачуги, где все-таки теплилась жизнь, о чем свидетельствовало сохнувшее на веревках белье да лающие вслед нам собаки.

Хищно пригнувшись к рулю, азартно вращая очами, Джузеппе продолжал гнать по совсем сузившейся дороге, пока не нагнал длинный рефрижератор. Тот медленно полз на верх, с трудом вписываясь в бесчисленные повороты. Джузеппе ничего не оставалось, кроме как медленно тащиться за ним. У меня отлегло от сердца. Семинаристы тоже воспряли духом, затянули какую-то молитву, видимо, благодарственную.

Но не тут-то было! Рискуя получить в лоб от встречной машины, Джузеппе после очередного поворота внезапно решил на обгон. Рванул вперед впритирку с кузовом рефрижератора показавшимся мне длинным до бесконечности.

Обогнал.

На круглой физиономии Джузеппе показалась такая плутовская улыбка, что я, подбиравший в эту минуту итальянские слова, чтобы сказать ему: «Обо всем доложу маме и тете!» — заткнулся.

К вечеру у меня заложило уши. Мы оказались на перевале, откуда открылась неожиданная панорама. Казалось, высокогорье посетили инопланетяне. Сколько хватало глаз, до горизонта в окружении диких вершин во множестве пересекались на разных уровнях мощные белые виадуки — развязки новеньких, с иголочки, современных автобанов. Ни одной машины по ним не ехало. Не было видно ни одного человека. Лишь бетономешалки да экскаваторы с бульдозерами безучастно





стояли по краям этих циклопических сооружений, напоминавших суперсовременную картину художника космических масштабов.

Три дня назад это было. И теперь, сожалея о том, что ни у кого из нас не оказалось фотоаппарата, я пытался представить себе, что бы подумал Леонардо да Винчи, если бы ему довелось увидеть это творение рук своих соотечественников.

Снизу послышался рокот двигателей. Я увидел яркий свет фар двух автомобилей, с разных сторон одновременно подъехавших к ограждению скверика. Они остановились невдалеке от меня.

«Так. Все-таки попаду в переделку», — обреченно подумал я.

Дверца одной из машин открылась. То, что оттуда выкатилось — был карлик.

— Чao! — послышалось ему вслед.

Переваливаясь на коротких ножках, он шустро побежал к открывшейся дверце второй машины. Чьи-то руки заботливо втянули его внутрь.

И машины разъехались в разные стороны.

«Загадочная итальянская жизнь!» — пробормотал я. И взгляделся в циферблат часов. Был ровно час ночи.

Теперь я сокрушался о том, что не согласился ждать в машине свою заблудшую компанию. Вспомнил о чудесной предоставленной мне комнате в духовной семинарии — настоящем дворце, одиноко высиявшемся среди гор. Там в эти дни был наш ночлег, наша база, откуда под водительством дона Джузеппе мы спускались на машине в окрестные городки вроде того, где я сейчас находился. В главном соборе каждого из них Джузеппе, облачившись в торжественную церковную одежду, служил мессу, перед нами, четырьмя своими спутниками. Молился у алтаря, преломлял хлеб, благословляя вино в чаше и на глазах преображался: становился



строен, высок; плутоватая улыбка большого ребенка исчезала с его лица.

Потом местный настоятель обязательно водил нас по собору, показывал различные древности и реликвии, советовал, что нужно посмотреть в его городе.

Дон Джузеппе непременно следовал всем рекомендациям. Таскал нас за собой. Заходил в каждом городке на почту, откуда посыпал открытки маме и тете.

Вчера, перегруженный обилием впечатлений, я взбунтовался и засел в уличном кафе перед музейчиком античной керамики. Спустя некоторое время дон Джузеппе с компанией появился перед моим столиком, потрясая копией древнеримских бус, которые он купил в сувенирном киоске музея для моей жены.

Лишь поздним вечером возвращались мы в наш дворец. Там ждал ужин, приготовленный стерильно-чистенькими пожилыми монашками в синих платочках. Занятия в семинарии еще не начались, семинаристы еще не вернулись с каникул. Мы занимали лишь край одного из длинных столов в пустой трапезной. Иногда нам составлял компанию директор семинарии — интеллигентный пожилой человек, заботящийся о том, чтобы я не забыл попробовать тот или иной сорт маслин или сыра.

Каждое утро в семинарии начиналось с молитвы. Один из моих товарищ по путешествию — семинарист Паскуале делегатно стучал в дверь комнаты, где я спал, приглашая пройти в помещение с алтарем и распятием. Там дон Джузеппе служил перед нами мессу.

Сегодня я поднялся, умылся, увидел, что за окном идет дождик, омывающий кипарисы и пальмы, заросли кустов с поникшими от влаги цветами, и малодушно подумал, что может быть, из-за непогоды мы в этот раз никуда не поедем. Я несколько очумел от этой гонки. За день мы посещали по два,





а то и по три города со всеми их соборами и музеями. Оказалось, дон Джузеппе странным образом за всю свою двадцативосьмилетнюю жизнь не покидал родных мест. Не был ни в Риме, ни в Неаполе, ни в Венеции, ни во Флоренции. Подозреваю, своего любимца не отпускали в большой мир мама и тетя. Может быть, этим и объяснялось его теперешнее стремление повидать как можно больше.

Все это было по-человечески понятно. Однако столь долгое отсутствие компании, отправившейся невесту куда осматривать во мраке проклятые раскопки, становилось скандальным, нетерпимым. Было уже без четверти два.

Я то присаживался на низкую каменную ограду, то маятником ходил вдоль нее.

...Утром мы долго ждали дона Джузеппе в комнатке-часовенке. Паскуале несколько раз бегал за ним, стучался в дверь. Но Джузеппе не открывал, не отзывался. В конце концов пошли завтракать без него. Он и к завтраку не пришел.

«Наверное, заболел»—подумал я. Вышел в парк. Дождик кончался. Проглянуло солнце.

Свернул с аллеи кипарисов на мокрую тропинку, ведущую куда-то мимо шеренги высоких кустов гибискуса, когда увидел за ними нашего предводителя.

Джузеппе стоял бледный, страшный, с раскрытым молитвенником в руках. Заметив меня, он в ужасе отступил, замахал рукой, чтобы я не приближался к нему, ушел.

Я и ушел.

Все объяснилось очень скоро, сразу после нашего выезда из семинарии. Оказывается, он просто-напросто проспал час молитвы, счел это величайшим, постыдным грехом.

...«Что же могло с ними случиться?»—с тревогой подумал я, и в этот момент внимание привлекла плотная кучка людей, показавшихся из-за темной громады собора.



Это были, несомненно, мои спутники. О чем-то тихо переговариваясь, они прошли мимо, совсем близко, стали спускаться к машине, уселись в нее. Сверху стало видно, как зажглись фары, слышно, как заработал двигатель.

Они собирались уехать без меня! Бросить иностранца одного, в чужом городе, в чужой стране! Можно было сойти с ума от странности их поведения.

Я ринулся вниз к машине.

Она двинулась навстречу. Дверь приоткрылась. Я перевел дыхание, сел рядом с доном Джузеппе.

Сзади кто-то постанивал. Это был Паскуале, как выяснилось, сорвавшийся в темноте с деревянных мостков над раскопками и вывихнувший лодыжку.

Долгое отсутствие объяснилось тем, что они едва довели его назад, много раз останавливались, давали возможность отдохнуть, пока наконец усадили в машину. А меня они, конечно, видели. Собирались подъехать за мной наверх.

— Ну, как археология, раскопки? — спросил я, когда у меня отлегло от сердца.

— Манифико! — воскликнул дон Джузеппе. — Руины времен римских цезарей. Арки. Цитадель. Гробницы. — Великолепно!

Но я ни о чем не пожалел.





Фантомная боль

Солнце только встает где-то там, впереди, за синеватой стеной далекого хребта. По обе стороны трассы тянутся пирамидальные тополя. И там же, справа и слева, взбескивают арыки, громко вызванивают струями воды, бегущей с горных ледников.

В опущенное оконце «газика» тянет знобкой предутренней свежестью. Все время слышится оглушительное чириканье каких-то пичуг. Вспугнутые нами, они стайками взлетают и опускаются вдоль обочин.

Знобит не от свежести — от ни с чем не сравнимого волнения, которое дарит эта дорога за тысячи километров от родного дома.

—Что за птички? —спрашиваю русобородого человека за рулем.
—Хохлатый жаворонок, —кратко отзыается он, понимая, что было бы кощунством нарушить лишним словом эту звенящую тишину.

Действительно, у пичуг задорные хохолки на голове.

Сизая туча хребта постепенно вырастает. Кажется, зубчатая стена, подернутая посередине длинными облачками, встает поперек пути неодолимой преградой.

В разрыве двух вершин что-то засверкало. До боли в глазах. И стало очевидным: солнце — звезда.

Невозможно уловить момент, когда хребет начинает раздвигаться, пропуская нас в долину.

Здесь уже все обласкано солнечным теплом. Шеренги виноградников, бахчи, кишлаки, утонувшие в зелени шелковиц





и цветущих персиковых деревьев, с виднеющимися кое-где белыми круглыми куполами, похожими на крыши обсерваторий—банями.

—«Белеет парус одинокий...»—некстати запевает за рулем бородатый водитель. Любит скрасить песней дорогу.

Куда ни глянь, ни клочка голой земли. Отовсюду прут, тянутся к солнцу взрывы зелени.

Ни души. Только белобородый стариk в чалме проводит на встречу ишачка, на котором посередине двух полосатых тюков со свежескошенным сеном восседает мальчик.

Недолго длится путь через оазис. Горы опять начинает смыкаться.

В конце долины у чайханы, под сенью векового грецкого ореха, недвижно сидят в позе какающего человека над придорожной пылью парни в джинсах и тюбетейках. Покуривают, передают самокрутку из рук в руки, молча провожают нас взглядами.

—Анаша,—говорит мой спутник.—А может, опиум.

Не хочу верить. У меня в этой стране много знакомых людей, от мала до велика. Бродил никогда не сталкивался с наркоманиями. Кажется, кроме этой долины, за последнее десятилетие бывал повсюду. Повсюду одарен гостеприимством. Не таким шумным и несколько показным, как в Грузии, а немногословным, идущим от сердца приглашением разделить дары земли, скромный кров. Чем проще, чем ниже на ступеньках социальной лестницы находятся эти люди, тем они интеллигентнее в самом высоком смысле этого слова.

Словно в подтверждение моих мыслей уже перед самым подъемом в горы от последнего домишкa, возле которого у обочины дымится печь-тандыр, выбегает к нашему пригормозившему «газику» молодая женщина в туго повязанном зеленом платке и платье в пестрых разводах, протягивает





в открытое окно машины чурек. Я принимаю круглую, как солнце, лепешку—горячую, с пылу с жару. Тороплюсь достать деньги.

Она отрицательно мотает головой, улыбается на прощанье.

...«Газик» с ревом берет первый подъем, и мы на весь день попадаем в грозное царство гор с их пропастями, камнепадами, парящими в небе грифами.

Мы возвращаемся из самого глухого места в этой стране—из расположенного у границы сопредельного государства заповедника, где провели неделю. На заднем сиденье машины лежит найденный мною в джунглях трофеи—большие, завернутые, как штопор, рога винторогого козла. Везу их в Москву в подарок другу-охотоведу, который стал священником. Заранее представляю себе, как он удивится, обрадуется.

К вечеру останавливаемся на ночлег в высокогорном кишлаке у школьного учителя. Старик живет один. Жена умерла, семеро давно выросших детей уехали. Кто учится в городе, кто там же работает.

Пока, обложенные подушками, сидим на ковре, хозяин выходит подоить корову. Приносит молоко в глиняном кувшине, соленый творог, заваривает зеленый чай, ставит посреди ковра узорчатое блюдо с сухофруктами и миндалем, сине-белые пиалы.

Мой спутник—начальник охраны природы края. Им есть о чем поговорить на непонятном для меня языке.

После ужина выхожу из дома в полутьму терраски, спускаюсь по ступенькам в шелестящий под ночным ветерком сад и оказываюсь под куполом усеянного звездами неба. Летучая мышь наискосок пересекает Млечный Путь. Свиристят сверчки.

Целая астрономия висит над головой, мигает своим запредельным светом.



Меня зовут обратно. Выясняется, стариk переводит на русский один из трактатов Авиценны, просит оценить качество перевода.

На рассвете покидаем дом. Прощаясь, пишу на вырванном из корреспондентского блокнота листке номер своего московского телефона. Стариk мимолетно был в Москве, возвращаясь с войны после Победы. Я был бы счастлив принять его у себя.

И снова дорога. На этот раз вниз по спускам, головокружительным, страшным, с виднеющимися на дне и по склонам пропастей остовами свергшихся автомашин, автобусов.

Напряжение ослабевает лишь, когда сверху становится видно водохранилище с запятой паруса на его глади, предгорья. —«Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном?»

...Что я искал тогда в этом, милом моему сердцу краю? Отрезанном теперь от меня, от России, ставшем запредельным, как звезды.





Грустное местечко

Ужасно, что они приняли меня за своего.

Не успел я появиться со своей палочкой на аллее роскошного парка, расположенного у давно, чуть ли не с античных времен, не обитаемой виллы Бонелли, как первый же встречный стариан, еще издали с надеждой глядываясь в меня, сказал: «Салют!» Я кивнул, и пошел дальше.

Был предсумеречный час. Лучи солнца еще золотили верхушки пиний и пальм.

Я завернулся с переполненной автомобилями шумной улицы Каноза, движимый тоской о своей пятилетней дочке, которая три года назад реввилась здесь среди цветов и бабочек. Сейчас она вместе с мамой была дома в Москве, а я снова тут — в Италии, в провинциальном городке на берегу Адриатического моря.

Ничего не изменилось. Старинный фонтан с облупленной статуей посередине все так же не работал.

Я хотел свернуть к вилле, чтобы взглянуть на прикрепившуюся к ее замшелой стене разросшуюся бугенвиллею с водопадом красных цветов. Впереди у поворота аллеи на двух садовых скамейках сидела галдящая группа стариков.

Увидев меня, они разом смолкли. Явно ждали контакта с за-брешшим в этот клуб под открытым небом незнакомцем.

Я невозмутимо прошел мимо них к вилле. Все входы в нее, как и прежде, были плотно замурованы камнем. Бугенвиллея цвела вовсю. Еще пуще, чем у меня дома на фотографии.





Возвращаясь, я почувствовал, что устал и решил немного посидеть на единственной свободной скамейке, стоящей насовсю от стариков.

Глазеющая на меня компания была явно заинтригована. Один старец, аккуратно одетый в тщательно отглаженную рубашку и укороченные брюочки, встал, направился было в мою сторону. Я терпеть не могу пустопорожних разговоров. Тем более, при моем ничтожном знании итальянского языка.

Он, видимо, почувствовал, сколь вредный тип перед ним сидит. Круто повернул и засеменил по аллее к выходу из парка.

Навстречу ему не шел, а как бы катился, как колобок, низенький старик с большим животом, начинавшимся неестественно высоко, чуть ли не от шеи.

Проходя мимо меня, он произнес: «Салют!»—и выжидательно приостановился.

—Салют, салюто,—пробормотал я.

Тот понял, что поболтать со свежим человеком не светит, и отправился к скамейкам своих друзей.

Постепенно я все больше заинтересовывался этим сообществом. Одни уходили. Другие возникали на аллее, как привидения. Все они несли себя куда-то в запредельную даль. Что-то роднило их всех—худых и толстых, высоких и низких. Я наблюдал это, в сущности, бесцельное передвижение в никуда, пока не понял, что попал в тихую заводь жмуриков, без пяти минут покойников.

Этот парк был для них как бы репетицией кладбища.

И умирали они, как я понял, не столько от старости, сколько от отсутствия свежей информации, новизны, которую дает только активное участие в вечно меняющейся жизни. А они из нее выпали.

Обдумав ситуацию, которая со временем могла настичь и меня, я уже решил встать и покинуть это грустное местечко, как услышал разгорающийся спор.





Старик с неестественно высоким животом стоял против одного из рядком сидящих стариков и с маниакальной настойчивостью требовал:

—Дамми дуэ сольди! Дамми дуэ сольди! Дай мне пару монет!
—На что тебе деньги?—спросил очкарик с трясущейся головой.

—На пиво. Только на банку пива.

—Нет.

—Как это—нет?

—Нет—и баста.

—Почему? Почему ты не хочешь дать мне на пиво?

—Давал два раза. Ты не вернул.

—Получу пенсию—верну. Дай!

—Нет.

И тут любитель пива закричал в ярости:

—Мemento мори! Помни о смерти! Когда Господь призовет тебя, Он спросит: «Ты дал Джованни на пиво?» Что ты отвешь, несчастный?

Все старики, понурясь, сидели на скамьях, очевидно, размышляли о том, что может произойти на небесах. А старик с пивным животом неожиданно заплакал. Стоял перед ними и плакал, как ребенок.

В кармане у меня имелась купюра в 5 евро. Я подошел к нему сзади, тронул за плечо.

—Купите себе пиво.

Он повернулся ко мне, схватил деньги, что-то пробормотал сквозь слезы.

Но моего итальянского не хватило, чтобы понять.





Сизый френик

В шестнадцать лет тайно от матери он написал в ООН, что видел море только в кино. Сообщил, что живет в Коми, на окраине города Воркуты, в семье ссыльных. Отец умер, а у матери нет средств, чтобы отправить сына в Крым или на Кавказ. Ибо он пишет стихи и задумал поэму о море.

Всю осень и зиму каждый день бегал в почтовое отделение, ожидая ответа. И денежного перевода.

Заработал хронический насморк.

К началу теплых майских дней не выдержал — безбилетником приехал в Москву, как в перевалочный пункт на пути к Черному морю.

Невзрачный, в обвислом ниже колен свитерке, однажды вечером он возник в литературном объединении молодых поэтов и, когда все читали по кругу стихи, решил ознакомить москвичей с собственным поэтическим творчеством.

Неистребимая еврейская интонация, сопля на конце хрящеватого носа — это была готовая мишень для насмешек.

Вытягивая из ворота свитерка цыплячью шею, он обращался с вопросами к Сталину: «Как дела там? Как могучий невидимка атом?»

Стихи были длинные. Его с трудом остановили.

Он не обиделся. Безошибочным нюхом выбрал из всей компании десятиклассника Игоря. Застенчиво сообщил, что несколько дней ничего не ел. Скороговоркой пробормотал строки Хлебникова: «Мне мало надо, лишь ломоть хлеба, да кружку молока. Да это небо, да эти облака».





— Как тебя зовут? — спросил Игорь. — Откуда ты взялся?
— Юлик.

Игорь привел его домой к родителям, накормил ужином, во время которого Юлик, шмыгая носом, рассказал о своей горестной жизни в Воркуте.

— Где вы ночуете? — спросила мать Игоря.

— «Я в мае снимаю квартиру у мая, у гостеприимной травы...» — с готовностью начал завывать гость.

— Понятно, — перебил отец Игоря. — Сегодня останешься ночевать у нас. А завтра... Хочешь пожить под Москвой в поселке Мичуринец? Кормить щенков и собак моего сослуживца, который должен уехать в санаторий, и ему не на кого оставить свой питомник.

— А что я имею против? — сияя, переспросил Юлик. — Старуха-мама была бы вам очень благодарна.

... Так он поселился на воняющей псиной даче. Уезжая, хозяин, разводивший щенков на продажу, оставил ему денег для прокорма овчарок, сенбернаров и пуделей, пообещал еще приплатить по возвращении.

Целыми днями Юлик честно обслуживал прожорливых породистых кобелей, сучек и их многочисленное потомство, по очереди выгуливал своих подопечных в окрестном лесочке. С рюкзаком, в сопровождении овчарки Дайны регулярно посещал магазинчику у станции, покупал мясные обрезки и кости, овсянку, молоко. Оказалось, там, где кормятся одиннадцать собак со щенками, нетрудно прокормиться и самому.

По вечерам на щелястой даче становилось прохладно. Он топил печку, сидел перед ней в кресле-качалке. Воображал себя кем-то вроде английского лорда, продолжал грезить морем, но почему-то сочинял, как ему казалось, великосветские стихи: «Дама юноше сказала: Милый мальчик-Купидон, поктай меня на лодке, а потом пойдем в салон...»



Юлик, несколько озверевший от своих собак и одиночества, был счастлив, когда, сдав последний выпускной экзамен и получив аттестат зрелости, к нему приехал Игорь.

—Аттестат? Надо отметить! Будем читать стихи и пить пиво!

—Какое пиво? У тебя есть деньги?

—У меня мало. Я думал, ты имеешь...

Вместе приятели наскребли рублями и мелочью аж на два литра кружечного пива.

За пивом в павильончик у станции Юлик послал овчарку Дайну. Снял с алюминиевого бидона полукруглую ручку, надел ее на шею собаке. Бросил на дно бидона записку, адресованную продавщице Клаве, и деньги. Прицепил бидон снизу.

—Беги! Одна нога здесь, другая там!—напутствовал он верную псину.

И Дайна, видимо, привыкшая к бидону, затрусила в верном направлении.

Дайна вернулась минут через двадцать. Голова бедняги была низко опущена из-за тяжести бидона, в котором колыхалось два литра пива.

Приятели со стаканами жигулевского сидели у стола на терраске.

—«Баллада о прекрасной dame»!—объявил Юлик и решительно шмыгнул носом:—«Благословен тот день, тот час, благословен тот полдень жаркий, тот миг, когда впервые вас увидел я в старинном парке»...

Иgorь был ошарашен. Его поразил столь резкий поворот воркутинского мариниста к любовной тематике; с другой стороны, возникло завистливое подозрение: а, может, он действительно повстречал Прекрасную даму?

—Зрелые женщины в моем вкусе!—заявил Юлик.—Я это понял только теперь. Хочу иметь дело со зрелыми женщинами.





У Игоря отлегло от сердца. Видимо, дел с подобными особыми Юлик пока что не имел.

—А как же море? —спросил Игорь.—Знаешь, родители в честь того, что я кончил школу, отпускают меня самостоятельно на две недели к тетке в Ялту.

—А я? —Юлик вдруг заплакал. Рядом сидел человек, который вот-вот увидит море...—Сделай мне счастье! Надо тебе две недели одному скучать у тетки? Поедем вместе! Если поедем вместе на одну неделю, твоих денег нам хватит!

Вечером приятели отбыли с Киевского вокзала. Поезд про грохотал мимо поселка Мичуринец, где остались запертые на даче собаки, снабженные на несколько дней мисками корма.

...Когда юные поэты прибыли в Ялту, они первым делом пришли не к тетке, а на пляж.

—Ты сделал для меня то, чего не смогла сделать ООН! —произнес Юлик и стал судорожно раздеваться.

—Умеешь плавать? —спросил Игорь.

Юлик не ответил. Он был так счастлив, так тряслись от спешки его руки, сдирающие свитер.

Игорь последовал его примеру. Впервые он ощущил неземную радость от того, что доставил счастье не себе, а другому человеку.

Море неожиданно оказалось холодным. Игорь поплыл вперед и, когда оглянулся, увидел жалкую фигурку, бултыхающуюся в прибрежных волнах.

—Оно соленое! —крикнул издали Юлик.—Честное слово, соленое!

Потом он ходил вдоль кромки прибоя в своих длинных семейных трусах, выхватывал из воды мокрую гальку.

—Драгоценность! Честное слово, драгоценность!

Галька обсыхала на глазах, превращалась в заурядный камень. Но Юлик все бегал к рюкзаку, прятал свои находки.





Затем он вытащил из кармашка того же рюкзака блокнот, авторучку, уселся по-турецки и принял писать.

—Как ты думаешь, Стамбул напротив нас? —вскоре спросил он Игоря.

—Стамбул находится в проливе Босфор! Слушай, пора заявиться к тетке. Я хочу есть!

—Я тоже! —немедленно отозвался Юлик.

Его одежда настолько пропахла псиной, что бродячие собаки, к неудовольствию Игоря, потянулись за ними со всех закоулков Ялты.

Тетка приняла их вполне гостеприимно, Юлик понравился ей тем, что много и с аппетитом ел. Она расспрашивала его о жизни в Воркуте, посоветовала писать матери каждый день по открытке.

—Больше не могу слушать ее мнения, —вздохнул Юлик.

К вечеру они снова вышли на улицы курортного города.

—Скучные люди, —сказал Юлик, увидев на набережной доящий павильон с вывеской «Бульоны». —Нет, чтобы продавать устрицы с шампанским!

—А ты откуда слышал про устрицы? —изумился Игорь.

—У нас в городской библиотеке имеется и Северянин, и Александр Блок. Прочел всю поэзию, какая есть. Слушай, а вон ресторан. Ты когда-нибудь был в ресторане? Я не был. Давай зайдем! Ну, попросим пива, какую-нибудь закуску, и все. Сделай человеку еще немного удовольствия. Пожалуйста...

—Ну, ты и нахал! Пошли. Только шугани от себя мосек и волкодавов!

Юлик исполнил его пожелание. Собаки гуськом направились в сторону павильона «Бульоны».

В ресторане стоял дым коромыслом. У небольшой эстрады, где наяривал маленький оркестр, вовсю отплясывала курортная публика.





Они нашли себе место за столиком рядом с длинным столом, за которым компания принаряженных женщин, как вскоре стало понятно—парикмахерш, отмечала день рождения своей начальницы—грунной дамы с высокой прической, ярко накрашенными ногтями.

Юлик, как сел, не сводил с нее глаз. Не обращал внимания ни на пиво, ни на поданную к нему дешевую закуску—соленую хамсу.

—Зрелая женщина,—бормотал Юлик.—Настоящая зрелая женщина... Закажи водки!

—Она тебе в бабушки годится. Ей лет сорок, а то и пятьдесят.—Игорь все-таки попросил официанта принести графинчик со ста пятьюдесятью граммами водки и два шашлыка. Уж больно дразнящий запах доносился со всех сторон.

В один прием опорожнив свою рюмку, Юлик скорчился.

—Ты когда-нибудь пил водку, хоть пробовал?

Отдышавшись, Юлик зашептал:

—Смотри, ей скучно. Их никто не приглашает танцевать.

Действительно, парикмахерши устали от верноподданнических поздравлений и тостов. Шампанское было выпито. Молча поедали шоколадные конфеты из большой коробки и взирали уже не на свою начальницу, а на танцующих.

Оркестр в бодром темпе заиграл «летку-енку». Юлик утер соплю, вскочил и решительно направился к торцу длинного стола, где восседала его избранница.

Замерев, Игорь увидел, что она благодарно улыбнулась галантному юноше, медленно поднялась. Большая, в длинном, до пят бордовом бархатном платье с глубоким вырезом на груди.

Утонувший в объятиях матроны Юлик пытался ее кружить словно в вальсе, но лихой танец требовал иных движений. Во всяком случае толпа вокруг них разудало размахивала руками и ногами.



Оркестр убыстрял темп. Но Юлик не обратил на это внимания. Он что-то шептал на ухо своей партнерше.

«Стихи читает,—догадался Игорь.—Наверное, про старинный парк...»

В этот момент Юлик и директорша парикмахерской исчезли из его поля зрения. Раздался грохот. Толпа танцующих отхлынула в стороны. Парочка валялась перед эстрадой, запутавшись друг в друге.

Оркестр смолк.

—Да не хватайся ты за меня, козел вонючий!—шипела с пола взбешенная именинница.

За несъеденные шашлыки, недопитую водку и пиво Игорю пришлось уплатить почти все оставшиеся у него деньги.

—Поимел зреющую женщину?—спросил он с укором.—Без гроша неудобно сидеть на шее у тетки. Завтра придется отваливать обратно.

—А что я имею против? Там собаки голодные, им гулять нужно...—ответил Юлик. И вдруг сообщил:—Ее не проняло начало поэмы о море. Неудачное вышло начало...

Придя к тетке, он выдрал исписанные листки из блокнота, изодрал в клочки.

Ранним утром они пришли на пляж прощаться с морем. Юлик опять бегал вдоль прибоя, торопливо собирая гальку и прятал ее в рюкзак.

—Зачем тебе эти бульжники?

—Увезу в Воркуту. На память.

Мало того, он выдавил из своей поршневой авторучки чернила и набрал в нее морской воды.

—Море нужно писать морем!

Но в еще большее замешательство пришел Игорь, когда, проходя по набережной и заметив толпящихся в залах павильона «Бульоны» бродячих псов, он увидел, как Юлик устрем-





мился туда и вернулся с тремя большими костями, хранящими следы говяжьего мяса.

—Гениальная мысль!—бормотал Юлик и запихивал кости внутрь тяжелого от гальки рюкзака.—Сразу, как вернусь, сварю супец себе и животным. Директор «Бульонов» чуть не убил, когда застукал. Ничего! Я еще вернусь. Прощай, море!

...Поезд подъезжал к Москве. Уже мелькали за окном вагона платформы дачных поселков. Скоро должна была показаться и платформа Мичуринец.

—А зачем мне ехать с тобой на Киевский вокзал, потом возвращаться на электричке?

Этот суматошный малый так надоел Игорю, что он не стал особенно отговаривать Юлика от опасной затеи.

Открыв заднюю дверь вагона, безумец с рюкзаком за спиной дождался того момента, когда покажутся знакомые дачки.

—Вечером сбегай на станцию, позвони мне из автомата!—крикнул на прощание Игорь.

Последнее, что он увидел,—как Юлик катится вниз по откосу насыпи.

Но тот не позвонил.

...Патруль железнодорожной милиции задержал его почти сразу после приземления. Нарушителя, покрытого синяками, привели в отделение. Дежурный сержант-украинец потребовал документы. Никаких документов у задержанного не оказалось. При обыске в карманах брюк ничего, кроме авторучки и пустого блокнота не нашли. Тогда сержант встал из-за стола, принялся собственноручно потрошить рюкзак.

Пованивающие тухлятиной огромные кости, груда камней...

—Что это такое?

—На память о море,—ответил Юлик.



—А кости чьи? Признавайся, гад, кого убил?—Сержант сел за стол, начал было снова перелистывать блокнот и обратил внимание на вдавлины, оставшиеся на первой странице от какого-то уничтоженного текста.

Он взял авторучку Юлика, открутил колпачок, принял обводить слабые следы какой-то шифровки, как ему показалось. Но авторучка оказалась наполненной какой-то прозрачной жидкостью.

—Ага! Симпатические чернила!—сержант решил, что сама судьба послала ему этого шпиона и убийцу. Он мечтал о повышении по службе.

Сержант взял остро отточенный карандаш. Принялся обводить вмятины на странице блокнота. Ему пришлось изрядно попыхтеть, прежде чем перед глазами возникли строки: «На горизонта веревке сохнет морская синь»...

Сержант перевел взгляд на кости, камни, скорчившуюся на табурете жалкую фигурку, гаркнул:

—Забирай все свое дермо и вон отсюда! Сизый френик!

Он хотел сказать — шизофреник.

Ни о чем этом Игорь не узнал. Через несколько дней отец сообщил ему, что сослуживец вернулся, рассчитался с Юликом и попросил его съехать с дачи.

А в июле позвонила из Ялты тетка. Рассказала, что прочла в городской газете заметку с фотографией неопознанного трупа, найденного за павильоном «Бульоны». У трупа был проломлен висок.

На фото она узнала Юлика.





Симона

Вечером в итальянском городке Руво ди Пулия идет дождь. Первый за лето.

Струи драгоценно сверкают в свете неоновых фонарей, окружающих старинную площадь. Пусто, глухо. Ни одной автомашины, ни одного прохожего.

Четырнадцатилетняя Симона, укрытая от дождя изъеденной временем античной аркой, недвижно стоит под раскрытым зонтом. Некому посмотреть на фиолетовый зонт, который подарила ей бабушка еще весной, в день окончания восьмилетней школы. С тех пор не было случая показаться с подарком. Не было дождей.

Оказывается, дождь – это очень красиво. Но никто не видит, как струи омывают кроны платанов и кипарисов, не слышит, как словно по клавишам бьет вода по древней брускатке, отчего по всей площади взметаются тысячи звонких фонтанчиков.

Пусто, как после Страшного суда.

Все сидят под домам, уткнувшись в телевизоры. Люди разные, а смотрят одно и то же. Крашеные блондинки с длинными ногами опять изгибаются по всем каналам – то рекламируют товары, то ведут из вечера в вечер одни и те же шоу.

Симона одиноко стоит под своим зонтом, как статуя. В тщательно отглаженных красных брюках, кожаной курточке.

Пойти некуда.

...Снова если не шоу, то фильмы, где бегают актеры с пистолетом в одной руке и мобильным телефоном в другой.





Вернуться домой, где все ее любят,— как пойти на казнь. ... Все та же щербатая мраморная лестница, круто ведущая вниз, в подвал одного из впритык стоящих средневековых зданий. Там, в двухкомнатной квартирке без окон, с газом и электричеством, все та же бабушка и все та же мама. Все тот же телевизор. Живут на пенсию погибшего прошлой осенью отца-железнодорожника.

Отец считал, что Симона после окончания восьмилетней школы должна учиться в профессиональном училище на швею. И мама с бабушкой тоже хотят, чтобы Симона сидела за швейной машинкой в мастерской или на фабрике по пошиву одежды. Пока не выйдет замуж.

Но у нее совсем другая цель, о которой страшно даже сказать родным. Только священнику, толстому дону Франческо призналась во время исповеди. Тот улыбнулся, вздохнул, будто такой в прошлом была и его мечта...

Симону всегда тянуло к мальчишкам. С детства увязывалась за ними. Особенно когда они гоняли в футбол на окруженном кипарисами пустыре за кастелло—старинной цитаделью, построенной крестоносцами. Иногда за недостатком игроков ей даже разрешали постоять в воротах. Казалось, это было совсем недавно, когда она, тоненькая, с тяжелой копнью волос за плечами, устав без толку торчать между двух брошенных на землю ранцев, выбежала из ворот, долго путалась в ногах у отгоняющих ее подростков, которые не давали хоть раз ударить по мячу, и все-таки на миг заполучила его да так наподдала ногой, что тот влетел в ворота соперников. И тогда вся команда стала подбегать к ней, поздравлять, хлопать по ладони—как это бывает, когда сражаются настоящие футболисты «Ромы» или «Милана». Даже вратарь, пропустивший гол, показал ей большой палец.

Это были самые счастливые минуты во всей ее жизни.





А мечта, сумасшедшая, почти наверняка несбыточная, заключается в том, что по достижении восемнадцати лет Симона хочет поехать в Венецию и поступить учиться в «Академию навале» — на штурмана. Она видела в телепрограмме новостей выпускников этой академии, моряков в такой красивой форме — дух захватило! Будут бороздить на кораблях итальянского флота моря и океаны...

Только десятый час вечера, а словно глубокая ночь. Словно она одна не спит в городе.

Симона не знает о том, что сотням тысяч людей во многих странах вот так же некуда деться, некуда пойти. При этом она чувствует, что только в сказках или слашавых кинофильмах сбывается невозможное.

Укрытая от дождя аркой, Симона стоит под сухим зонтом. Лицо ее мокро от слез.



Покружите меня

За окнами вагона переполненной пассажирами нетопленой электрички умирал короткой декабрьский день.

Подвыпившая компания напротив нас резалась в подкидного дурака, где-то сзади сипела с переливами гармошка и кто-то пел: «На мою на могилку уж никто не придет. Только раннею весною соловей пропоет».

Христо, сидевший справа от меня, то с любопытством оглядывался, то пытался разглядеть сквозь собственное отражение в окне огоньки поселков, заснеженные перелески.

Все сильнее терзало меня чувство стыда. За эту песню, то скликую как большинство русских песен, за этих картежников, шлепающих по водруженному на коленях чемоданчику ободранными картами, за этих продрогших старушек, как и мы, наверняка направляющихся в Загорск, в Троице-Сергиеву лавру.

Из постоянно открывающейся двери тамбура дуло лютым холодом, табачным дымом. Голос гармониста снова и снова выводил: «Позабыт, позаброшен...»

Может быть, в подмосковных электричках концентрируется вся наша безнадега.

— Скоро? — спросил Христо.

— Минут через двадцать, — ответил я. — Замерз? Обычно в электричках топят. Просто не повезло.

— Повезло! Знаешь, я был в Париже, в Колумбии. Нигде не было так интересно! — Одной рукой тепло обнял меня за плечи, другой разгладил свои черные усища, свисающие по обе стороны подбородка.





«Ой умру я, умру я, похоронят меня. И никто не узнает, где могилка моя...»

Со мной рядом был один из самых первых в моей жизни иностранцев. Болгарский художник. Что я мог ему предложить в ответ на просьбу показать настоящую Россию?

И вот поехали в Троице-Сергиеву лавру.

Мир электрички был настолько несхож с тем миром, откуда возник Христо, что чем сильней терзал меня стыд, тем с большей отчетливостью вспоминался маленький, уютный, как бонбоньерка, номер гостиницы «Метрополь». Несколько дней назад туда привезла меня Юлия, чтобы перед отъездом на Кипр познакомить со своей подругой Искрой и ее мужем Чавдаром.

Юлия была на шесть лет старше меня. Боюсь, я любил не столько эту яркую волевую женщину, сколько ее легендарное прошлое героини болгарского сопротивления фашистам.

Все они были старше меня. И забежавший из соседнего номера на чашку кофе чех Иржи со странной фамилией Пеликан. Этот Иржи оказался председателем Всемирной организации молодежи и студентов. Он принес ананас, который я впервые увидел живьем, и несколько плиток шоколада.

Как равный, сидел я за круглым столом между Искрой и Чавдаром. Они были аспиранты Института экономики имени Плеханова. На родине их ждало большое будущее. Меня угостили кофе, вином, болгарским ракат-лукумом, тем же ананасом. Подносили раскрытую кожаную коробку с чудесными сигаретами «Дипломат». И все-таки безотчетное чувство настороженности нарастало во мне.

В номере воняло опасностью.

Они то по-русски, то по-болгарски обсуждали свои дела, говорили о том, что Иржи Пеликан улетает на конгресс моло-





дажи в Вену, о Комитете в защиту мира, об Илье Эренбурге, опубликовавшем недавно повесть «Оттепель».

Юлия сказала, что повесть кажется ей слабой в художественном отношении. Попросила, чтобы я прочел свои последние стихи, ради чего, собственно, и был приведен. Я подметил брошенный на нее укоризненный взгляд Чавдара.

Он вдруг отодвинулся со стулом, приподнял свисающий со стола край тяжелой скатерти, жестом увлек меня на что-то взглянуть.

На массивной ножке стола я увидел круглое отверстие микрофона, забранное металлической решеточкой...

— Коммунизм имеет право защищаться от агентов иностранных разведок! — громко заявил Иржи Пеликан.

Потом полночной зимней Москвой я провожал Юлию на Малую Бронную, где она жила в общежитии аспирантов театрального вуза.

— Когда мы с Искрой были связными подпольного штаба партизан, — сказала Юлия, — с нами был совсем молодой парень, мальчишка. Теперь этот Христо — как ты. Художник. Его карикатуры любят вся Болгария. Он первый раз в Советском Союзе. Завтра должен вернуться из творческой командировки в Караганду. Рисовал под землей портреты шахтеров. Перед самолетом в Софию ему останется два дня. Примешь его у себя?

— Что ж... Раскладушка найдется.

Сама Юлия улетала на Кипр, в Никозию, ставить в каком-то оставшемся с античных времен амфитеатре пьесу Брехта «Кавказский меловой круг».

Они все были включены в запредельную для меня жизнь. Все время куда-то уезжали, откуда-то приезжали.

Вот и Христо, сидящий рядом со мной в вагоне электрички, побывал и в Париже, и в Колумбии. А теперь вернулся из





Казахстана. По моей просьбе показал блокноты с замечательно живыми изображениями чумазых шатеров.

Ух и хрюкал ночью этот усатый богатырь в моей комнате!

Хрюкал так, что люстра позванивала под потолком.

...Когда мы вышли из электрички, над Загорском уже поеживались звезды. Вместе с вереницами старушек шли, подгоняемые морозным ветром, ко входу в лавру.

Я-то был одет достаточно тепло. Перед выходом из дома Христо обратил внимание на мое демисезонное пальто и решительно надел на меня свою кожаную куртку с овчинной подстежкой, а сам извлек из чемодана переливчатый зеленоватый плащ, правда, тоже с какой-то хлипкой синтетической подстежкой. Я был в кепке, а он вообще без головного убора. Отказался от шапки-ушанки.

Я тогда ничего не понимал в богослужебных делах. С кепкой в руках, повинуясь коловорاثению людских потоков, побывал у раки с мощами преподобного Сергия Радонежского, у икон Христа и Богородицы и довольно быстро очумел от напора толпы, мигания сотен свечей, малопонятных молитв на церковно-славянском языке.

Утеряв из виду Христо, стал пробиваться к выходу из храма.

Мой иностранный друг стоял у дверей в своем элегантном переливчатом плаще и коричневых вельветовых брюках, торопливо набрасывая в блокноте лица входящих и выходящих старушек, нищих, церковных служек.

—Ты сам не знаешь, какие тут сокровища!—азартно шепнул он мне.—На этих лицах вся их жизнь. Ни Рембрандт, ни Гойя не имели такой натуры.

—Откуда ты так хорошо знаешь русский?

—У нас ведь учат в школе, в институте,—удивился он моему вопросу и доверительно сообщил,—Я что-то очень голодный.





Едва мы вышли из стен лавры, как следующий за нами мужичок в ответ на мой вопрос, нет ли где-нибудь поблизости ресторана, объяснил, что неподалеку, должно быть, еще работает предновогодняя ярмарка со своей столовкой в ангаре.

Мы ринулись туда. Звезд уже не было видно. Валил снег.

Ярмарка прекращала работу. Под открытым небом за длинными рядами прилавков кое-где еще стояли бабы в передниках, надетых поверх тулупов, доторговывали солеными огурцами и квашеной капустой из кадок.

Христо сейчас же принялся их рисовать.

А я подошел ко входу в ангар. Несмотря на поздний час, ярмарочная столовая работала. Там тянулись накрытые клеенкой столы, во всю длину уставленные дымящимися котлами, самоварами, мисками моченых яблок и прочей заманчиво пахнущей снедью, бутылками водки.

Я поспешил за своим другом. Еле оторвал от его занятия. Дрожащими от холода руками он запихнул в карман плаща толстый блокнот, угольный карандаш и вдохновенно двинул ся за мной к ангару.

...Только расположились мы среди честного народа на скамье, только, ощущив блаженное тепло, распахнули наши одежды, только подбежал к нам наряженный а ля рюс один из разбитых официантов с перекинутым через руку узорчатым полотенцем, как сзади раздался голос:

—Ваши документы!

Милиционер и тот самый мужичок, который направил нас на ярмарку, стояли за нашими спинами.

У Христо были документы. А вот у меня не оказалось.

—Иностранцы? Пройдемте в отделение.

И нас повели в милицию.





—За что? — спросил я старшего лейтенанта — начальника отделения, после того как мы были обысканы. — Отпустите! И извинитесь перед моим товарищем!

Христо не протестовал. Он с любопытством озирался. Особенno его тянуло заглянуть в соседнее помещение с открытой дверью, где виднелась железная клетка. Там на полу спали вповалку какие-то люди.

Старший лейтенант вдумчиво листал лежащий перед ним на столе блокнот.

— Рисуете советских людей черным цветом... Какие-то убогие старухи... Даже передники у продавщиц испачканы черным. Очерняете! Вырядились в кожаные куртки, бархатные штаны. У одного вообще нет документов. Кто вы такой?

Я продиктовал ему номер телефона родных, назвал номер своего райотдела милиции.

Пока он звонил туда и сюда, Христо неожиданно взял со стола блокнот и тем же угольным карандашом набросал на чистой странице несколько карикатурную, но вполне сходную с оригиналом физиономию старшего лейтенанта. Тот вскочил со стула и взглянул... и засмеялся.

Это решило исход дела. Нас отпустили. Выданный из блокнота набросок остался начальнику отделения на память.

Вышли в метельную круговерть. Было уже без четверти одиннадцать.

— Христо, извини! Ты не представляешь, как нам повезло.

— Не бери в голову, — перебил меня Христо. — Он исполняет свою работу. Но я могу умереть от голода, не доеду до Москвы. Неужели здесь нет ресторана?

Оказалось, есть. Единственный ресторан, помещающийся на нижнем этаже перекошенной набок двухэтажной бревенчатой гостиницы, построенной наискось от лавры, видимо, еще в былинные времена.





Ресторан работал! Мало того, наверху можно было снять номер на ночь. Что мы и сделали. Поднялись в натопленную комнатенку, разделись, умылись. И сошли по скрипучей лестнице в залец ресторана. Уселись за свободный столик.

Посетителей осталось совсем мало. Несколько местных подвыпивших компаний тупо взорвались на нас.

Подошла полная, невысокая официантка в валенках, зато в кружевном кокошнике. Здесь было даже меню с вполне пристойным ассортиментом. Мы заказали графинчик водки, по порции маринованных маслят, гуляша, блинов и сыра к чаю.

Пьяницы продолжали таращиться.

— Какие лица! — восхитился Христо. Он вздумал подняться на верх за своим блокнотом.

— Угу. Таких у Рембрандта точно не было, — остановил я его. — Здесь это может кончиться скандалом.

Официантка принесла на подносе заказанное. На вид ей было под пятьдесят, лицо усталое. Переставляя тарелки на стол, женщина с любопытством поглядывала на моего гиганта, на его непомерно огромные усы. Когда она отошла и мы накинулись на свой ужин, из-за портьеры, прикрывающей вход на кухню, начали выглядывать головы других официанток в кокошниках и даже поварихи в белом колпаке.

Пьяницы, к моему облегчению, стали уходить. Мы остались одни.

Мягко ступая в своих валенках, официантка принесла счет. Расплатились. Но она продолжала переминаться у стола.

— Дяденька, — наконец обратилась она к Христо. — Пожалуйста, покружите меня!

— То есть? — вмешался я. Просьба ее показалась мне непонятной, дикой.

— Ресторан закрывается. Сейчас переоденусь, выйду на улицу, и вы покружите меня в метели. Век помнить буду! — Она





робко улыбнулась, и стало видно, какой красавицей она была в молодости.

Когда мы вышли в метельную ночь, женщина уже ждала у ступенек гостиничного крыльца. В тулунике, в повязанном вокруг головы красном платке с бахромой.

Христо шагнул навстречу, ухватил подмышки, приподнял и стал кружиться с ней в кружящихся вихрях снега. Оба валенка с ее ног полетели в разные стороны.

Я подобрал их.

...Лица кружящихся были так по-озорному радостны, что и мне перепала толика счастья.





Соперница

Она его не любила, но и не отпускала от себя. «Почему они не любят нас, когда мы их любим?—мучительно думал он, ожидая ее у подъезда.—Что за дьявольская сила держит меня? Что-то большее, чем страсть. Нехорошо все это. Пора отвыкать от вечного ожидания ее звонков, этих свиданий. Не отвыкну—совсем пропаду. Просто болезнь. Смертельная. Так доходят до самоубийства....».

Субботним утром, только они встретились под аркой ее двора, как зарядил ледяной дождик, какой бывает в Москве в конце октября.

—Вернусь. Подождешь, милый? Сменю плащ на пальто.—сказала она и, не дожидаясь ответа, быстро пошла обратно к дому. Элегантная, красивая, с высоко поднятыми пепельными волосами под черной широкополой шляпой.

Снова он должен был сопровождать ее на какой-то вернисаж, потом на показ новых моделей женской обуви.

Мотался с ней по бесчисленным выставкам, картинным галереям, концертам, спектаклям. Она была художницей, оформляла театральные постановки. Не столько ее талант, сколько красота была пропуском в этот калейдоскопический пестрый мир. И ей нравилось, что она появляется всюду в сопровождении влюбленного рыцаря—высокого, стройного, с усами и русой бородкой.

Он был режиссером маленького театра пантомимы. Мало кто знал, что этот действительно похожий на рыцаря человек хорошо знаком с античной философией, богословием;





сожалеет о том, что не стал священником. Никогда она почему-то не приглашала его к себе. И он стал подозревать, что она скрывает свое замужество.

Дождь сбивал с тополей последние листья, и те прилипали к асфальту. Она задерживалась. Он сбросил ладонью капли со своей непокрытой головы, прошел под слезящимися ветвями деревьев к огороженной низким штакетником середине двора, где между клумбой с гниющими остатками цветов и деревянным грибком кто-то копошился на песчаном пятаке.

Перешагнув через штакетник, увидел девочку с прутиком. В неуклюжей шубке и бесформенном багровом берете похожем на колпак.

Девочка посмотрела на него, протянула прутик. Сказала:

— Нарисуй мне что-нибудь.

Он послушно нагнулся и начертил на мокром песке большую рыбку.

— Дождь водички накапает, и рыба поплынет?

Девочке было года три, от силы три с половиной.

— Возможно. Ты шла бы домой. Измокнешь.

— Нельзя.—Она шмыгнула носом.—Мамка с папкой ругаются.

Стукнула дверь подъезда. В длинном черном пальто с красным шарфом стремительно вышла его спутница.

— Сам измокнешь,—сказала девочка.—Почему гуляешь без шапки? Простудишься.

— До свидания,—он взял в руку ее холодную ладошку.

Девочка посмотрела на женщину, остановившуюся по ту сторону штакетника. Вздохнула.

— Ладно, иди... А я буду сторожить нашу рыбку, чтобы ее мальчишки не испортили.

Ему показалось невозможным при ней взять свою спутницу под руку. Они выходили из-под арки, когда он обернулся и успел увидеть как над скрючившейся перед рыбкой девочкой, воровато озираясь, летит первый снег.



Последнее выступление в Харькове

—Громче!—выкрикнул кто-то из темноты переполненного зала.—Не слышно!

Это было второе выступление за вечер: в шесть—в клубе ГПУ и вот теперь в девять—в Харьковском драматическом театре.

—Это меня не слышно?!--он напряг голос и почувствовал острую боль в глубине горла.

Сил на то, чтобы читать объявленную в афише поэму «Хорошо!» не было. Он на ходу сменил программу. стал знакомить публику с написанными после недавних зарубежных поездок стихами—американскими, французскими, мексиканскими.

В разгар аплодисментов объявил:

—В связи с болезнью заключительной части—ответов на вопросы не будет!

Стремительно ушел со сцены за кулисы, сорвал с вешалки полушибок и кепку, на ходу надел их, спускаясь по лестнице к служебному выходу.

Нужно было бы дождаться администратора, с которым они вчера приехали из Москвы, а также оказавшихся здесь молодых одесских писателей—Валю Катаева и Юрия Олешу. Уговорились вместе поужинать в ресторане гостиницы «Червоная». Все они были милые люди.

Не хотелось никого видеть.

Февральский снежок закруживался вокруг уличных фонарей. Тени редких прохожих под ними то увеличивались, то сокращались.





Не хотелось оставаться одному в гостиничном номере. Там на тумбочке возле кровати был телефонный аппарат. А это означало, что он позвонил бы в Москву, Лиле. Терзаемый ревностью, стал бы ждать — подойдет она в этот поздний час, или Осип скажет, что уехала с какой-нибудь компанией. А то и одна. К очередному своему увлечению вроде того чекиста Агранова, который зачем-то подарил ему револьвер с единственным патроном. Хорошо хоть эта игрушка лежит сейчас дома, запертая в ящике письменного стола.

Недавно прибыл на железнодорожной платформе купленный в Париже серый «Рено» — автомобилик, как она говорит. Автомобилик. Шоколада. Володик. Интересно, кто ее сейчас возит...

Шагал по Сумской — главной улице Харькова. Давно знакомой, поднадоеvшей. Уже в который раз он приезжал сюда выступать. С дореволюционных времен.

Ничего будто не изменилось. Вон все тот же буржуазный дом с огромными ящерицами-саламандрами, дурацкой лепниной по серому фасаду. При чем тут, в центре промышленной Украины, саламандры?

В одиночку и группками вились возле освещенных окон и дверей немногочисленных ресторанов жалкие проститутки, надеющиеся, что их кто-нибудь угостит ужином... Революции шел двенадцатый год. Ничего не менялось.

Подходя к «Червоной», он подумал о том, что перед сном необходимо выпить горячего чаю, иначе горло совсем сядет. И заставить себя чего-нибудь поесть.

Разделяя в гардеробе гостиничного ресторана. Прошел коридорчиком к туалету, заранее вынимая из кармана носовой платок. Обернулся им захватанную ручку уборной, отворил дверь.

Потом тер обмылком под струей из рукомойника руки. Одновременно пытался, открыв рот, разглядеть в зеркале



опухшие миндалины. Ничего не увидел. Рядом висело грязное полотенце. Кое-как обтер руки тем же носовым платком и вышвырнул его в урну.

Зал ресторана был набит посетителями. У эстрадки с оркестром томно истекали в похоти новомодного танго разодетые парочки.

Его узнали. Пялились, пока старший официант отыскивал свободный столик подальше от танцующих, усаживал, подавал меню.

Только закурил, заказал салат «оливье», порцию масла, хлеб, попросил сразу принести два стакана чая покрепче, поборячее, как увидел — в дверях возникли администратор и Ка-таев с Олешей.

Издали махнул им рукой, мол, подходите, садитесь. Хотя разговаривать не было ни сил, ни желания.

Особенно неприятно сейчас было видеть администратора, этого пожилого, тертого жизнью человека, который уже не первый год организовывал его выступления, ездил с ним по городам Союза.

И пока все трое заказывали салаты, водку, котлеты по-киевски, он опять вспомнил то, что весь день пытался вычеркнуть из памяти, отогнать от себя.

Вчера ночью в поезде, когда не спалось, когда, замученный преследующими чуть не всю жизнь мыслями о Лиле, вышел из купе, чтобы покурить в коридоре вагона, нахлынуло рвущее душу...

Почти год назад. Апрельское утро на набережной Ниццы. Шел под пальмами с пляжа в отель. И вдруг увидел их — мать и девочку, лет трех, тянувшую за бечевку игрушечную бабочку на колесиках.

Словно толкнуло в сердце. Кинулся к ним.

— Твой беби,— сказал женщина по-английски и отвернулась.





Рывком подхватил девочку, поднял, прижал к груди. Да! Его глаза, его плоть и кровь. Дочка!

Девочка испугалась, начала вырываться. Он заставил себя поставить ее на тротуар рядом с игрушкой, вытащил из кармана брюк все деньги, какие были с собой, сунул мексиканке, с которой три года назад провел несколько вечеров в Мехико-сити...

С тех пор эта встреча, эта девочка не шли у него из головы. Мать отказалась сказать, как ребенка зовут, не дала ни адреса, ни телефона.

Пытался представить себе далекую Мексику, как растет там его девочка без отца... Думал о том, что ему уже тридцать шесть лет. Ни семьи, ни собственного угла. Кроме похожей на гроб каморки в Лубянском проезде. Кроме мамы с двумя сестрами на Пресне. Которые ненавидят Лию.

Еще один, терзаемый бессонницей, седой человек со шрамом на щеке вышел из своего купе, попросил прикурить.

И завязался разговор. Сначала в коридоре вагона, потом в сквозящем тамбуре. Вот где простудил горло!

— Вы не танцуете? — статная красотка с надвинутым на лоб красным обручем возникла у столика.

— Не танцую. — он глянул ей вслед. Потом на администратора, на Катаева и Олешу, которые тактично помалкивали, пока он допивал второй стакан чая, орудовали ножами и вилками, пили водку.

— Владимир Владимирович, что вы сейчас пишете? — нарушил молчание заждавшийся Валя Катаев.

— Плохо. Пишу поэму «Плохо». — Расплатился с официантом, поднялся из-за столика. — Счастливо оставаться!

Оделся в гардеробе, поднялся на свой верхний этаж, отпер дверь номера. Зажег свет, озаривший стол, стул, кресло, кровать, тумбочку с телефоном. Теперь снова нужно было раз-





деваться, сдирать покрывало с постели, стелиться, переплыть ночь.

—Это одиночество.—Поймал себя на том, что говорит вслух.

Потянуло к телефону, к Лилиному голосу: «Как ты там, Володик?»

Повесил в шкаф одежду. Подошел к окну. В черном стекле за отражением лица лениво падал на фонари Сумской редкий снежок.

А вчера ночью сумасшедшая метель косо летела за окном тамбура, куда обеспокоенный администратор вышел за ним из купе и застал с попутчиком, как выяснилось, харьковским инженером-металлистом, возвращавшимся из командировки по заводам Урала. Этот бывший участник гражданской войны понятия не имел, с кем он разговаривает.

—То, что сейчас происходит на заводах, шахтах, еще хуже, чем было при царе,— зло говорил инженер, прикуривая одну папиросу от другой.—Раньше хоть зарплату регулярно платили, еда была в магазинах, товары... Видели бы вы, какая грязь, неустроенность. На этом фоне сплошь пьянство, воровство, разврат. В любом совучреждении за взятку сделают что хочешь.

—Владимир Владимирович, четвертый час ночи...

...И теперь он стоял у окна в своем номере. Словно вор, пойманный за руку.

Мысли бежали по кругу, не находя выхода: Лиля, этот инженер с его рассказами, дочка в Ницце, больное горло...

Внезапно, вне всякой связи, откуда-то извне этого круга, краешком вспомнилась мелодия, услышанная несколько лет назад в Нью-Йорке. Из радиоприемника в номере отеля в паузе реклам прорезались звуки джаза: какой-то чудный парень, трубач и певец, что-то пел на английском. Необычайно. Каждое слово выразительно и отдельно. Как ступенька. И при





этом все схвачено абсолютно раскрепощенным ритмом. Это был брат по искусству! Единственный. Потом диктор сказал: «Нью-Орлеан джаз. Луи Армстронг».

Казалось, вспомнишь мелодию — вырвешься за этот круг.

В дверь осторожно постучали.

— Входите!

Вошел обеспокоенный администратор.

— Владимир Владимирович, как ваше горло? Завтра последнее выступление. Может быть, спущусь к портъе? У них должна быть аптечка. Или вызывать врача?

— Вот что. Пожалуйста, вызовите-ка мне ту, с обручем на голове. — И жестко добавил: — Только спросите у кого-нибудь, чтоб без сифилиса.

Хорошо, хоть тут в тумбочке не лежал пистолет с единственным патроном.





Иные измерения

Этот человек трижды появлялся в моей жизни. С огромными перерывами. Неожиданно. И с каждым его появлением вдруг обнаруживалось, что совсем рядом существует еще одно измерение бытия...

Поздний декабрьский вечер. Накрапывает дождик. Я стою в конце длинного деревянного причала, опершись о ржавый поручень. За моей спиной засыпает южный город. Чужой. Там меня ждет конурка без окна, раскладушка, электроплитка на табуретке, висящая на проводе лампочка.

Далеко отсюда, в Москве, родители, нормальное жилище, письменный стол, друзья. Сам виноват. Сознательно вырвал себя из обычного порядка вещей.

Стою в плаще с поднятым воротником. Надо мною со скрипом покачивается фонарь. Последний фонарь между сушей и чернотой молчащего моря.

Где-то напротив, в трехстах что ли милях, Турция. За ней Средиземноморье, дальние страны, Африка...

В жалком кругу света от фонаря видно, как внизу поплескивает вода о замшелые, покрытые водорослями сваи причала, об узкие ступеньки ржавой лесенки. Промозгло, простудно, дождик усиливается. Как всегда жаль расставаться со свежим запахом моря, уходить в свою нору.

Слух улавливает рокот двигателя. Вроде бы приближающийся. Стих. Потом все явственнее заплескали весла.

И вот в круг света вплывает резиновая лодка с мотором. В ней трое — клеенчатые робы, черные пилотки. Снизу смо-





трят на меня. Один остается на веслах, двое взбегают по лесенке.

Почему-то сразу решаю: они с субмарины, шпионы, сейчас захватят, увезут.

Один из этих двоих — большой, улыбчивый — успокоитель-но басит:

— Парень, не бойся. Мы с подлодки. Не знаешь, где сейчас в вашем городе можно купить сигарет?

— И выпивки, Борисыч, — напоминает второй, в косо надвинутой на бровь пилотке.

— Идемте. Доведу до «Гастронома», пока не закрылся.

Потом, ночью, долго не могу заснуть на своей раскладушке. Вспоминаю, как пришельцы из морских глубин купили двадцать пять пачек сигарет «Союз—Аполлон», три бутылки вина и пошли обратно к причалу. К своей лодке, чтобы вернуться на ждущую их где-то в темноте субмарину. Наверное, с откинутой крышкой люка, куда падают пресные капли дождя и вливается свежий воздух, где ждет команда...

Прошло лет двадцать. В Москве отдельной книгой вышло мое первое большое произведение. Почти сразу читатели начали присыпать письма, звонить.

Как-то позвонила женщина. Сказала, что всей семьей прочли мой роман. Очень просит о встрече. Помню, в воскресенье она и явилась со всей семьей. С букетом роз. С дочкой-старшеклассницей, которая с порога вручила мне бутылку отборного армянского коньяка.

Муж-богатырь в синей морской форме имел на плечах погоны с тремя большими звездами капитана первого ранга. В руках он держал продолговатую азиатскую дыню.

Я принял их на кухне, кое-как устроил застолье. Отвечал на расспросы благополучного семейства. И все поглядывал на бравого моряка. Кого-то он мне напоминал...



Наконец после второй или третьей рюмки коньяка я спросил:
—Любите сигареты «Союз—Аполлон»?

—Не курю,—пробасил моряк.—Завязал. С тех пор как дочь родилась. А что?

Я сказал — что.

Каперанг был потрясен не меньше меня. Он вспомнил тот дождливый вечер, когда какой-то парень сопровождал его и сослуживца в «Гастроном» приморского города. Жена и дочь улыбались, слушая нас.

Андрей Борисович, так звали каперанга, рассказал, что он уже давно живет в подмосковном поселке городского типа, расположенному близ большого озера. Руководит Центром управления подводного флота России.

Я изумился:

—И у вас там субмарины по озеру плавают?

—Приедете — увидите, — улыбнулась его жена.—Приезжайте погостить. У нас большая квартира. Вокруг леса. Дочка покажет грибные, ягодные места. Можно половить рыбу. Отдохнете!

Я поблагодарил. Но знал — приглашением не воспользуюсь. Не люблю отыхаться, не умею.

—А вот мой сослуживец Миша Сковородников теперь тоже живет здесь, в Марьиной Роще, — сказал Андрей Борисович, — работает в Министерстве морского флота. Между прочим, в следующее воскресенье у него дома традиционная встреча. Раз в три года собирается наша компания. Все дослужились до высоких чинов. Хотите принять участие? Будут одни мужики.

—Хочу!

Я надписал им книгу. Они оставили мне номер своего телефона.

Вышел из дома проводить гостей. У подъезда стояла черная «Волга». За ее стеклами на заднем сиденье встрепенулась





большая овчарка. Каперанг отпер машину, и собака ринулась навстречу.

—Что ж вы ее не взяли ко мне?

—А это мой сторож. Лучшее противоугонное средство,—сказал Андрей Борисович, пристегивая поводок к ошейнику.— Пяток минут прогуляю Джильду по вашему двору и поедем к себе.

Через неделю под вечер он заехал за мной и повез в Марьину Рощу.

Там в одном из последних оставшихся от дореволюционной Москвы деревянных домов я оказался в компании шести или семи капитанов.

Сначала я, конечно, чувствовал себя чужим на этом празднике мужской дружбы. Тем более, они не виделись несколько лет. Но очень скоро я волшебным образом ощутил себя своим среди этих открытых, мужественных людей.

А к концу вечера дощатый пол стал уходить из-под моих ног, оклеенные обоями стены расплывались в синем морском тумане...

Нет, я не напился допьяна. Я получил приглашение от одного из гостей — капитана крупнотоннажного судна — совершить кругосветное путешествие!

Через три месяца корабль должен был выйти из черноморского порта Ильичевск, направиться через Босфор и Дарданеллы к берегам Греции, потом в Италию — в Неаполь, затем в Испанию — в порт Кадис. Здесь согласно фрахтовому договору судно, окончательно разгрузившись, должно было загрузить в трюмы новый груз и отплыть через Гибралтар к берегам Аргентины. То есть пересечь Атлантику. После чего предстояло обогнуть мыс Горн, выйти в Тихий океан, посетить порт Дарвин в Австралии, Йокогаму в Японии.

Обратный путь пролегал по Индийскому океану с заходом в Бомбей, порты стран Ближнего Востока. Дальше — через



Суэцкий канал выход в Средиземное море к портам Египта и Турции...

— Оформим вас культургом, редактором судовой газеты,— сказал капитан корабля.— Будете получать зарплату.

— До рейса только три месяца,— заметил Андрей Борисович.— Нужно немедленно начать оформление документов.

Голова моя пошла кругом. Все это было слишком сказочным, чтобы сбыться.

Один, никем не связанный, я стал часовым механизмом, в котором начался прощальный отсчет времени. Все прощальное выглядела квартира, Москва, перестроечные страсти по телевизору... Я уже изучал географические атласы. Жаждал и почему-то стеснялся позвонить капитану— спросить, будут ли меня выпускать с корабля прогуляться по портовым городам, их улицам и базарам...

Но тут распался Советский Союз. И одновременно— давно наложенные внешнеторговые связи.

Рейс отменили.

Прощальный отсчет времени остановился. Географические атласы Европы, Южной Америки, Австралии и Азии я убрал с глаз долой. уверенный, что они больше не понадобятся. Никогда. Нужно было возвращаться к действительности.

За несколько лет я написал три новые большие книги. Порой, в утешение себе, подумывал: если бы на самом деле отправился странствовать по морям-океанам, смог ли бы я так упорно работать?

Каперангу я не звонил. Зато он и его жена каждый раз поздравляли меня по телефону с Новым годом.

В 1996 году я женился. Приключение почище кругосветного путешествия! И вскоре время запульсировало, отсчитывая срок приближающегося рождения нашего ребенка.





Стоял душный московский июль. Хотя жена ни на что не жаловалась, не капризничала, я видел, что ей с каждым днем становится все тяжелее переносить духоту. Необходимо было вывезти ее куда-нибудь на природу.

Оказалось, в эту пору дачу снимать поздно. Дальновидные люди договариваются с хозяевами зимой, или, на худой конец, в самом начале весны. Я впал в некоторую панику. И в конце концов объявился — позвонил кaperанту Андрею Борисовичу с просьбой: не могут ли они с женой подыскать нам хотя бы избушку у своего озера рядом с грибными и ягодными местами?

— Зачем?! — радостно перебил он меня. — На днях с женой и дочкой уезжаю в отпуск к родственниками под Астрахань. Квартира останется в полном вашем распоряжении! Бесплатно. Собирайтесь. Послезавтра приеду за вами и перевезу. Единственная просьба — оставим на вас Джильду. Можно?

И действительно, приехал на своей «Волге», перевез. Да еще на прощание познакомил нас с разбитным мичманом Семеном Тарасовичем, препоручил его заботам.

Утром мы проснулись одни в чужой трехкомнатной квартире. С коллекцией тропических раковин на письменном столе, кортиками, висящими поверх настенного ковра, собраниями сочинений чуть не всех классиков на застекленных книжных полках.

Снова жизнь приобрела иное измерение.

После завтрака пошли оглядеть места, где мы так внезапно оказались. Нужно было купить продукты для себя и увязавшейся за нами Джильды.

Поселок, застроенный стандартными восьмиэтажными корпусами с палисадниками у подъездов, с судачащими с утра-пораньше старушками на скамейках. Детская площадка между





двумя рядами корпусов. Два магазина. Примыкающие друг к другу индивидуальные гаражи.

Скучно, как зевота.

Никакого озера видно не было. Не говоря уже о грибных и ягодных местах.

Джильду любили все: и старушки, и продавщицы в магазине, и моряки-подводники, спешащие из подъездов на работу. Мы почувствовали: это отношение к отзывчивой на ласку собаке каким-то образом переходит и на нас. Хоть в этом повезло.

А тут еще к вечеру появился мичман со снаряженными удочками, корзиной для сбора грибов, пластиковым ведерком для ягод.

— Спасибо, что зашли, Семен Тарасович!

— А как же! С завтрашнего дня у меня тоже отпуск. Вот еще банка клубничного варенья от моей жены— вашей. Только не зовите по отчеству. Просто Семен. Ладно?

— Ладно.

Мы сидели за кухонным столом, пили чай с клубничным вареньем. Семен расстегнул верхние пуговицы кителька, откуда проглянул треугольник тельняшки.

— Если не против, завтра заеду утром на своем «Москвиче», отвезу к озеру. Там у нас маленькая база отдыха. Выдам шлюпку. Объясню, что и как.

— Это далеко?— спросила моя жена.

— Близенько! Тысяча пятьсот метров.

— Тогда зачем машина? Сами дойдем. Скажите только, куда идти.— Нет-нет. Нужно переходить трассу. Там большое движение. Опасно в вашем положении. Запросто буду отвозить вас по утрам, забирать обратно. Устанете рыбачить, можно отдохнуть в домике базы.

— А рыба-то в озере есть?— спросил я.





—Полно карася и окуней, обловитесь. Для страховки с утра поставлю сеть. Завтра обмоем улов!—бодро заверил мичман и козырнул на прощанье.—Честь имею!

...Над озером курился утренний туман. Было прохладно. Пока Семен стаскивал с отмели тяжелую шлюпку, отплывал куда-то в залив ставить свою зеленоватую японскую сеть с красными поплавками, мы спустили Джильду с поводка, благо, вокруг не было ни души. Я застегнул на жене молнию куртки с капюшоном, надетой поверх свитерка. Отыскал возле домика лопату, жестянку, принялся копать червей.

Жена сидела у вкопанного у берега стола, поглаживала вилявшую хвостом Джильду.

Умиротворение сошло на мою душу.

Вскоре пригреб Семен. Ловко выскочил, подсадил нас в шлюпку, оттолкнулся от берега. Джильда вспрыгнула на нос нашего суденышка, тоже захотела принять участие в рыбалке.

Жена устроилась на корме. Я взялся за весла.

—Красиво смотритесь!—сказал на прощанье Семен.—А мне еще нужно сгонять на работу, получить отпускные. Жена приглашает к нам на обед. Заеду за вами к трем часам.

—Где ваша работа?—спросила жена.—Далеко?

—Да тут. Под этой местностью, под озером. Отсюда командуем нашими подлодками в мировом океане.

—Семен! То, что вы говорите, разве не военная тайна?—спросил я, видя, как он направляется к своему «Москвичу».

—Американцы давно лучше нас все знают!—обернулся он на последок.

Выгребая к середине озера, я смотрел на жену. Милый мой человек, она сидела кулема-кулемой, вроде бы ничего не поняла.

А я почувствовал, что все под нами словно накренилось.





Опустил якорь на длинной веревке. Глубина оказалась не больше трех метров. Настроил удочку для жены, насадил на крючок верткого червячка. Хотелось, чтобы она поймала хоть одну рыбешку. Это была первая в ее жизни рыбалка.

Она прилежно держала в руках удилище, прилежно смотрела на поплавок.

Туман рассеялся. Над озером проглянуло солнце.

Клева не было.

Пытались ловить со дна, вполводы. Не клевало. Тогда я выбрал якорь, и мы двинулись к заросшему осокой заливчику.

Здесь тоже не было ни поклевки.

— Все-таки, как ты думаешь, кто у нас будет — мальчик или девочка? — спросила жена.

Я не ответил. Потому что думал о том, что под ней с человечком в ее чреве находится Центр управления атомными подводными лодками, рыщущими по Мировому океану. И даже не во время маловероятной сейчас войны, а просто в случае чьего-нибудь головотяпства именно сюда первым делом полетят ракеты с термоядерной начинкой... Я представлял себе глубокие подземные залы, мерцающие огоньками приборов, у которых напряженно сидят сухопутные подводники в своих пилотках...

— Устала? — спросил я. — Давай сматывать удочки.

Мы поплыли назад. И тут Джильда подала голос. Я оглянулся. На мысу сидел старик в мятом картизне с раскинутыми веером удилищами. Рядом стояла четвертинка водки.

— Клюет? — спросил я.

— Хоть бы поплавок дернулся, — ответил он и сплюнул. — Дно озера все в личинках комара — в мотыле. Рыба всегда сытая, обожравшаяся.

— Тогда зачем ловите?

— Для процесса.





Я рванул к берегу, к базе. Издали с облегчением увидел стоящий у домика «Москвич». Семен приехал раньше назначенного времени.

Мы оставили жену с овчаркой на берегу. Поплыли выбирать сеть.

— Будем с рыбой! — утешил Семен.

Красные поплавочки сети пунктиром преграждали вход в широкий залив. Мы выбирали ее, с трудом выдирая одного за другим застрявших в зеленоватых ячейках окуней. Все они были одинакового размера — чуть больше ладони. С растопыренными жабрами и плавниками, уже задохшиеся. Пальцы мои были искалоты до крови.

Ничего. Теперь я хоть был не один, как когда-то на черноморском причале под зимним дожем.



